

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1978

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Б у д а г о в Р. А. (Москва). Система и антисистема в науке о языке	1
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

К л и м о в Г. А. (Москва). Общеиндоевропейский и картвельский	18
Ш е н ф е л ь д Г. (Берлин). Некоторые аспекты и проблемы языковой комму- никации в сфере социалистического промышленного производства	23
Щ е р б а к А. М. (Ленинград). О способах и исторической глубине образова- ния морфологических элементов в тюркских языках	32
А н и ч е н к о В. В. (Гомель). Развитие белорусского литературного языка в XVIII в.	47

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н е р о з н а к В. П. (Москва). Словарь Гесихия как источник для изучения древних реликтовых индоевропейских языков	58
Г р и н б а у м Н. С. (Жишинев). Из истории формирования древнегреческого литературного языка	68
А л п а т о в В. М. (Москва). Об особенностях японской лингвистической традиции	76
Ш а н и д з е А. Г. (Тбилиси). К этимологии слов <i>Kartl-i</i> («Грузия») и <i>kartvel-i</i> («грузин»)	82
П а у л и н и Э. (Братислава). Модель языковой коммуникации и соотношение фонемы и звука	86
В и ш н я к о в а О. В. (Москва). О проблемах паронимии	96
К у з ь м и н В. В. (Брест). Проблема синтаксической соотносительности	107
С м о л и ц к а я Г. П. (Москва). Топонимический ареал и вопросы реконструк- ции лексической системы языка	115

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О б з о р ы

К о д у х о в В. И. (Ленинград). Издание белорусских языковедов	125
---	-----

Р е ц е н з и и

М е л ь н и ч у к А. С. (Киев). В. З. Панфилов. Философские проблемы языко- знания	131
М а к о в с к и й М. М. (Москва). Р. А. Будагов. Что такое развитие и совер- шенствование языка?	138
П р о т ч е н к о И. Ф., Ч е р е м и с и н а Н. В. (Москва). «Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР».	142
П р о т ч е н к о И. Ф., Ч е р е м и с и н а Н. В. (Москва). «Культура рус- ской речи на Украине»	146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	151
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева
--

Адрес редакции: 121019, Москва Г-19, Волхонка 18/2,
Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-65-25

Зав. редакцией И. В. Соболева

БУДАГОВ Р. А.

СИСТЕМА И АНТИСИСТЕМА В НАУКЕ О ЯЗЫКЕ

1

Как известно, о *системе* и о *структуре* языка написано очень много¹. Больше того. Оба эти термина стали знаменем лингвистики нашего века, ее отдельных школ и направлений. В настоящее время едва ли найдется серьезный лингвист, который отрицал бы системный (структурный) характер языка. Стоит, однако, присмотреться к тому, как понимается *система* (*структура*) языка в теоретически разных направлениях лингвистики наших дней, чтобы убедиться в полном и глубоком несходстве подобного понимания. Проблема осложняется еще и тем, что теперь все чаще стали раздаваться голоса, напоминающие лингвистам: в любом живом языке человечества имеются не только системные, но и антисистемные тенденции и категории².

Что же произошло? От атомистического истолкования языка к его системному осмыслению, а затем, уже в наше время, возврат к атомистической концепции? Разумеется, это не так. И проблема не в этом, хотя при поверхностном к ней подходе создается видимость отмеченного круговорота. Нисколько не претендуя на широкое освещение множества возникающих здесь вопросов, в последующих строках хочется лишь 1) обратить внимание лингвистов на некоторые из тем, достойных размышления, 2) привести кое-какие материалы, подтверждающие, что любой естественный язык, сохраняя свой системный характер, вместе с тем по самой своей природе не сводится и не может сводиться к сумме различных схем, будто бы определяющих его сущность и особенности его функционирования³.

¹ Термины *система* и *структура* здесь употребляются как близкие синонимы. На мой взгляд, еще никому не удалось провести убедительное разграничение между этими двумя терминами в лингвистике. В последующих строках *система* применяется по отношению к языку в целом, *структура* — по отношению к его отдельным уровням (ср. *система* языка, но *структура* слова). В той же мере, однако, в какой *структура* связана со *структурализмом* как определенным направлением в науке, сам термин *структура* тоже может получить более широкое значение. Любопытно, что в знаменитом «Курсе» Соссюра говорится только о *системе*, а не о *структуре* (см. об этом рецензию на новое советское издание сочинения Соссюра: ВЯ, 1978, 2). Что же касается термина *антисистема*, то в дальнейшем изложении он употребляется (а не его менее личный синоним — *асистема*) для обозначения таких явлений в языке, которые, хотя и противоречат системе (в этом плане они действительно антисистемны), вместе с тем не разрушают системного строения языка. *Антисистема* и направлена против *системы*, и выступает как производное от *системы* же понятие. Подобное жизненное противоречие глубоко типично для естественных языков человечества.

² См., например, книгу западногерманского лингвиста: M a g i o W a n d r u s z k a, Interlinguistik. Umriss einer neuen Sprachwissenschaft, München, 1971, стр. 72 («наши языки в значительной степени антисистемны»). Аналогичные мысли сейчас высказывают отдельные филологи в разных странах. См., в частности: М. М. М а к о в с к и й, Соотношение свободы и необходимости в лексико-семантических преобразованиях, ВЯ, 1977, 3.

³ Автору уже приходилось писать об этом (см., например, главу вторую в его книге «Язык, история и современность», М., 1971). В последующих строках сделана попытка обосновать тему заново и привести новые материалы.

Хотя в лингвистике оба термина (*система, структура*) обычно свиваются с наукой XX столетия, особенно — со второй его половиной, однако историки грамматических идей в Европе подчеркивают, что термин *система* был одним из «ключевых терминов уже в XVIII веке»⁴. В середине этого столетия французский философ Е. Кондильяк публикует даже специальный «Трактат о системах» (*Traité des systèmes*), который был тесно связан с его главным сочинением — «Трактатом об ощущениях» (1754). «Система грамматики» в ту эпоху понималась как совокупность форм языка, связанных между собой определенными отношениями. Подобное истолкование грамматики, казалось бы, само по себе ясное, вместе с тем оказывалось слишком общим, так как в эту эпоху представление о грамматических формах еще не находило себе опоры в реальных фактах различных языков: тогда никто не умел исследовать формы языка в процессе его функционирования. Вместе с тем общие рассуждения о грамматике вообще, безотносительно к тому или иному конкретному языку, занимали важное место в гносеологических построениях французских энциклопедистов⁵.

Иной оказалась судьба термина *система* в науке о языке XIX столетия. Возникновение и обоснование сравнительно-исторического метода вместе с первой книгой Ф. Боппа 1816 г. способствовали изучению конкретных фактов индоевропейских языков, но временно как бы отвели внимание ученых от того, в каких взаимоотношениях (системах) сами эти факты находятся. И хотя в названии первой книги Ф. Боппа фигурировал термин *система* («*Ueber das Conjugationssystem der Sanskritsprache...*»), все же ученый ставил акцент не на понятии о «системе спряжения», а на понятии об отдельных элементах, образующих индоевропейскую парадигму спряжения. В первой половине минувшего столетия *система* употреблялась еще в нетерминологическом значении.

Больше того. В эту эпоху в связи с развитием исторической точки зрения на природу и общество *система* начинает казаться бранным словом — нечто предвзятое, заранее кому-то или чему-то навязанное, а поэтому и противоречащее «свободному историческому движению». В некрологе на смерть Гердера (1803), помещенном в русском журнале и переведенном с французского языка, отмечалось такое достоинство немецкого философа, как «отсутствие духа *системы*», т. е. чего-то, как тогда считали, предвзятого⁶.

В ту эпоху, по-видимому, только В. Гумбольдт (1767—1835) глубоко понимал, что и сам язык, и его отдельные уровни образуют своеобразное единство, внутри которого часть подчиняется целому, а целое вырастает из частей и на них «опирается»⁷. Во второй половине прошлого века у младограмматиков понятие *система* вновь отошло на задний план, хотя, успешно изучая грамматические формы разных языков, наиболее выдающиеся представители младограмматического направления постоянно

⁴ M. Arrivé, J. Chevalier, *La grammaire. Lectures*, Paris, 1970, стр. 66. В самом общем плане уже античность знала понятие *системы* (см. об этом в сб. «Системные исследования. Ежегодник 1974», М., 1974, стр. 154—156).

⁵ См. об этом: Th. Lücke, Diderot, *Skizze eines encyclopädischen Lebens*, Berlin, 1949, стр. 215.

⁶ Журнал «Патриот», СПб., 1804, т. 2, № 5, стр. 187. В действительности позиция Гердера была сложнее: А. В. Гулыга, Гердер, М., 1975, стр. 30—52.

⁷ В. фон Гумбольдт, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода, русск. перевод П. Билярского, СПб., 1859, стр. 40 и сл.; Р. Гайм, Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика, М., 1898, стр. 422—424.

учитывали взаимодействие этих форм между собой (учитывали *систему* форм). В этом отношении вызывают бесспорный интерес капитальные исследования таких ученых, как, например, К. Бругман, Б. Дельбрюк; Ф. Ф. Фортунатов, Майер-Любке и другие. И все же метод младограмматиков определялся убеждением, согласно которому язык будто бы состоит из простой суммы элементов. Такой метод мешал самим младограмматикам глубже понять специфику языковой *системы*. К тому же сближение языкознания с естественнонаучными дисциплинами, настойчиво проводившееся младограмматиками, тоже мешало понять специфику *системы* в лингвистике, как гуманитарной науке. Когда, например, А. Дармстетер в талантливо написанной книге «Жизнь слов» (1-е изд. — 1887) создал специальную главу о «Взаимодействии слов в процессе их функционирования», то он все же всю проблему свел к «организмам отдельных слов», к их «рождению и смерти»⁸.

Поэтому в 1916 г. в связи с посмертной публикацией «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, где заново была поставлена проблема *системы* языка, споры о системе в языке и в науке о языке разгорелись с новой силой. Представители разных направлений в науке стали предлагать свои, во многом несходные, истолкования *системы*⁹.

Несколько иной оказалась судьба термина и понятия *структура*. По данным различных этимологических словарей *структура* в европейских языках встречается уже в XIV столетии, но по мнению Е. Кассирера, впервые научно обосновал важность этого понятия для науки французский натуралист и биолог Жорж Кювье (1769—1832) в двадцатых годах прошлого столетия. По убеждению немецкого философа, именно Кювье истолковал *структуру* как нечто целостное, части которого целиком подчинены самому этому целому. Кассирер увидел у натуралиста Кювье даже целую «программу современной лингвистики»¹⁰. Исследователю казалось, что принципы структурной лингвистики Луи Ельмслева, изложенные в 1943 г. в книге «Основы лингвистической теории», уже были известны натуралисту Кювье в двадцатых годах минувшего столетия. Это свидетельство Кассирера знаменательно, если учесть, что сам он много занимался историей лингвистических идей на широком фоне истории философии¹¹.

Став широко распространенным «научным термином» в середине нашего столетия, *структура* продолжала сохранять разные значения в разных направлениях науки о языке. Если, как мы видели, *система* имеет и сейчас несколько десятков определений, то примерно то же можно сказать и о *структуре*. Несомненно, однако, другое: оба эти термина, сохраняя многозначность, прочно входят в обиход разных наук, и прежде всего в обиход лингвистики, с 40-х годов текущего столетия.

Терминологические затруднения возникают здесь сразу по двум причинам. Дело не только в том, что оба термина во многом совсем несходно истолковываются в различных направлениях лингвистики, но и в том, что их широкое употребление во многих самых разнообразных науках в свою очередь воздействует на их лингвистическую интерпретацию, расширяя и без того широкую их полисемию. Терминологическая проблема

⁸ А. Д а р м с т е т е r, La vie des mots, Paris, 1887, стр. 121—148.

⁹ В одной из книг (В. Н. С а д о в с к и й, Основания общей теории систем, М., 1974, стр. 93—98) приводится 34 определения понятия *системы* в различных науках нашего времени. См. также: А. Н. А в е р ь я н о в, Система: философская категория и реальность, М., 1976, стр. 188—190.

¹⁰ E. C a s s i r e r, Structuralism in modern linguistics, «Word», 1945, 2, стр. 106—107.

¹¹ См., в частности, первый том его «Philosophie der symbolischen Formen. I, Die Sprache», Berlin, 1923.

осложняется и по другой причине: наряду с необходимостью применить анализируемые термины по существу, по требованию современного состояния той или иной науки, оба термина нередко фигурируют и по «требованию» простого повествования. Стали говорить о *системе (структуре)* одежды, о *системе (структуре)* поведения людей дома или на улице и т. д.¹²

Такой «напор» обоих терминов (*система, структура*) не мог не вызвать и отдельные протесты. Дело в том, что многие лингвисты стали подгонять языковые категории — звуки, морфемы, слова, определенные синтаксические конструкции — под те или иные системы (структуры). Между тем, языковые категории обычно не вменяются в жесткие рамки той или иной системы (структуры). Национальные языки народов мира оказываются гораздо сложнее, их категории полифункциональны, подвижны, многообразны.

Уже в 1945 г. один из скандинавских лингвистов, имея в виду догматичные схемы Л. Ельмслева, писал: «Я предполагаю, что практическое, несистематическое описание фактов языка в действительности более научно, чем подобного рода систематическое описание: первое допускает меньше насилий над самим порядком исследовательского процесса, чем второе, и тем самым дает меньше оснований для неверных толкований»¹³. Здесь, хотя и в робкой форме, сказано, что иные структуры, в которые «втискивается» язык, могут представить этот язык в ложном виде, не таким, каким он является в действительности, а таким, каким хотел бы его видеть — по тем или иным причинам — исследователь. К сожалению, на фоне общего увлечения жесткими структурами в языкознании 40—60-х годов нашего века, подобные голоса протеста были мало слышны в общем хоре восторженных поклонников именно таких жестких структур в науке о языке. Между тем, еще в 1936 г., совсем по другому поводу, замечательный русский лингвист академик Л. В. Щерба предостерегал любителей схем: «Можно все разобрать, можно все разложить по полочкам, но какая цена такой схеме?»¹⁴.

Однако по мере приближения к нашим дням протесты против жестких структур, по существу искажающих живые языки человечества, становятся не только чаще, но и гораздо острее. При этом подобные протесты иногда раздаются из уст бывших защитников прямолинейных структур. Так, например, один из известных американских лингвистов заявляет: «...предположив, что язык — это строго определенная система, мы тем самым оставляем в стороне те свойства реально существующих языков, которые являются для них самыми важными»¹⁵.

Подобного рода признания предстают перед нами во всей своей серьезности. Оказывается, что жесткие структуры в языке и в науке о языке не только мешают понять язык во всей его многогранности, не только проходят мимо каких-то существенных деталей (чаще всего именно так изображают дело защитники жестких структур), но и искажают природу языка, оставляют за пределами осмысления языка самые главные его особенности, самые типичные его черты. Речь идет, следовательно, не о деталях, не о полноте описания, а о самом главном. По мнению Ч. Хоккета, жесткие структуры искажают природу языка.

¹² Ср., в частности: R. Barthes, *Système de la mode*, Paris, 1967. Сб. «Sens et usages du terme *structure* dans les sciences humaines et sociales» éd. par R. Bastide, Paris, 1962.

¹³ C. V o r g s t r ø m, *The technique of linguistic descriptions*, AL, 1945, 1, стр. 14.

¹⁴ Л. В. Щ е р б а, Избр. работы по языкознанию и фонетике, Л., 1958, стр. 102.

¹⁵ Ch. H o c k e t t, *Language, mathematics and linguistics*, The Hague, 1967, стр. 10.

Подобные свидетельства в зарубежной науке стали отнюдь не единичными. Только что речь шла о заявлении американского лингвиста, а вот убеждение не менее известного французского филолога Ж. Мунена. «Структура, — подчеркивает он, — сама по себе ничего не определяет. Весь вопрос сводится к тому, как функционируют в языке те или иные его категории и как «ведут себя структуры» в процессе подобного функционирования. Функции выступают на первый план, оттесняя на задний план структуры»¹⁶.

При всей важности подобного рода критических замечаний, направленных против жестких структур в языке, а, следовательно, и в науке о языке, одними замечаниями, как бы остроумны они ни были, здесь обойтись нельзя. Нужны конкретные разыскания на материале разных национальных языков, которые бы показали, что означает соотношение структурных и антиструктурных категорий и какое значение подобное соотношение имеет для понимания самих этих языков. К сожалению, в мировой лингвистике, насколько я могу судить, таких исследований все еще очень мало.

3

Необходимо, однако, обратить внимание еще на один теоретический вопрос. Защитники жестких структур (жестких систем) обычно утверждают, что подобные структуры, организуя те или иные языковые элементы (фонемы, морфемы, слова, различного рода конструкции), вместе с тем как бы сводят на нет сами эти элементы. Если, например, отдельное слово определенного языка рассматривается изолированно (его значение, его история, степень его употребительности и т. д.), то такой подход сейчас же объявляется нелингвистическим и даже антинаучным¹⁷. Утверждается, что слово само по себе не может быть ни смешным, ни грубым, ни редким, ни новым, ни удачным, ни неудачным, ибо каждое слово существует только в системе и вне системы никак не может быть охарактеризовано. Реальными признаются лишь три вида языковых единиц — фонема, морфема и конструкция, которые рассматриваются только в системе¹⁸.

Совершенно очевидно, что языковая практика опровергает ложную языковую теорию. Разумеется, каждый человек, говоря на родном ему языке, соотносит отдельные слова с другими словами того же языка, как соотносит он и отдельные грамматические формы с другими грамматическими формами. Вместе с тем совершенно очевидно и другое: для всякого русского человека прилагательное, например, *красивый* имеет определенное значение не только потому, что оно соотносится с прилагательным *некрасивый* (это лишь один аспект проблемы), но и «само по себе», как слово русского языка, имеющее определенное значение (иной аспект проблемы). То же следует сказать и о других единицах и категориях любого живого языка, не только о его лексике (чему, например, непосредственно противостоят такие слова, как *дом* или *воздух*?), но и о его фонетике и его грамматике.

XX век показал, какое важное значение имеет категория отношения для всех областей человеческого знания. Вместе с тем стало очевидным и

¹⁶ G. Mounin, Structure, fonction, pertinence, «La linguistique», 1974, 1, стр. 24—32.

¹⁷ См., например: K. G o d d a r, Lexical borrowing in Romance, RLR, 1969, 131—132, стр. 341.

¹⁸ Об этом писал, в частности, Ж. Клиненберг в журнале «Le français moderne», 1970, 1. Критические замечания о подобного рода ошибочных концепциях делались и раньше, см.: О. С. А х м а н о в а, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 57—58.

другое — категория отношения при всей ее важности не может и не должна поглотить категорию значения. Это взаимодействующие категории. Поэтому альтернатива — либо категория значения, либо категория отношения — должна быть признана альтернативой ложной. Вот почему и в лингвистике проблема значения слова и проблема его сочетаемости — это две разные, хотя и связанные между собой проблемы. Об этом автору данных строк приходилось писать еще в 40-е годы¹⁹, хотя в наше время подобные вопросы приобрели особую остроту.

Сказанное относится ко всем уровням языка, а не только к его лексике. Если в фонетике, например, — писал совсем по другому поводу один из фонологов, — «какое-нибудь качество звука вызвано влиянием позиции (т. е. соседних звуков, ударения и т. д.), то это качество второстепенно, не существенно в языке. Им можно пренебречь, составляя алфавит»²⁰. То же необходимо сказать и о слове, о словосочетании, о той или иной синтаксической конструкции и т. д. Все это, разумеется, не означает, что система, в которой находятся самые различные «единицы» языка, не воздействует на подобные «единицы». Воздействие здесь несомненно. Но несомненно и другое: различные «единицы» языка и система, в которой они находятся, предстают не как взаимоисключающие друг друга категории, а как категории взаимозависящие, хотя во многом и различные. К. Маркс был глубоко прав, когда в своем «Капитале» подчеркивал: «...свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении»²¹. Проецируя это положение в лингвистику, следует понимать, что значения отдельных языковых единиц существуют в любом языке объективно, хотя многообразие их свойств обнаруживается в *системе* языка, в его различных уровнях.

Здесь следует обратить внимание и на другой аспект системы. Раньше речь шла о том, что единицы языка всех его уровней обычно не укладываются в систему, причем за пределами системы нередко оказываются как раз важнейшие языковые свойства и явления. Теперь возникает вопрос о взаимодействии единиц языка с процессом их же функционирования в той или иной системе (общей или более частной, относящейся к одному из уровней языка или даже к одному из видов этого уровня). На первый взгляд, эти проблемы кажутся никак между собой не связанными. В действительности они глубоко взаимообусловлены. Дело в том, что когда отдельные единицы языка функционируют в системе, сами эти единицы обычно обнаруживают не все свои свойства, а лишь некоторые из них. Поэтому и в этом случае возникает проблема *системы* и *антисистемы* (*структуры* и *антиструктуры*), как возникла она и в первом случае. Система (структура), выявляя возможности и потенции языка, вместе с тем обычно выявляет их неполностью. Другие возможности одной и той же единицы языка могут обнаруживаться уже с помощью другой системы (структуры) или оказаться вне всякой системы (структуры).

Еще один важный аспект проблемы. Во многих направлениях современной лингвистики обычно высмеивается атомистический подход к тем или иным категориям языка. Между тем, как справедливо заметил известный советский физик, академик М. А. Марков, «атомизм всегда, как правило, находился в арсенале материалистической философии, а для философских схем субъективно идеалистического толка в вопросах ес-

¹⁹ В брошюре «Слово и его значение», Л., 1947, а позднее в статье 1967 года (см. «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов», М., 1967, стр. 10—15).

²⁰ М. В. П а н о в, И все-таки она хороша! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках, М., 1964, стр. 116.

²¹ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 23, стр. 67.

тествознания часто была характерна антиатомистическая направленность»²². Сказанное, разумеется, не сводится к призыву вернуться к атомистической концепции в науке. Но приведенные слова специалиста означают, что современная наука не может не считаться с с у б с т а н ц и о н а л ь н ы м и с в о й с т в а м и тех предметов и явлений, которые она изучает. Системные отношения, организуя эти предметы и явления, должны лишь рельефнее выявлять их субстанциональные свойства. Речь идет, следовательно, не о возврате к старому, а о единстве старого и нового, об умении рассматривать предметы и явления и в их единичности, и в их системных связях и отношениях²³.

Наконец, еще один аспект проблемы. Резко выступая против любой ссылки на историю, против любого исторического истолкования языкового явления, ортодоксальные структуралисты всегда вынуждены замыкать любую систему, любую структуру их собственными границами.

Уже Э. Сепир считал, что историческое истолкование языка — это «предрассудок, просочившийся в социальные науки в середине XIX столетия»²⁴. Еще более решительно против истории и исторических интерпретаций настроены Н. Хомский и его последователи. По убеждению Н. Хомского, история языка ничего объяснить не в состоянии. Он постоянно подчеркивает, что к истории обращаются лишь эмпирики, лишь ученые, не умеющие мыслить теоретически. Структура языка сама себя поясняет самим принципом структурного построения. По мнению Н. Хомского, структура не имеет права ни взаимодействовать с элементами, ее образующими (учет подобного взаимодействия объявляется антиструктурным), ни соприкасаться со своим историческим прошлым (учет подобного соприкосновения называется старым предрассудком)²⁵.

Неудивительно, что подобное догматическое понимание структуры языка не могло не вызвать протестов в недрах самой американской лингвистики. Уже с конца 60-х годов нашего столетия начинают выходить различные сборники, посвященные историческому языкознанию на его современном этапе бытования²⁶. Исследователи стремятся не только описать наличные в языке структуры, но и понять пути их происхождения и формирования.

Чтобы уточнить отношение языка к действительности — одна из важнейших гносеологических проблем лингвистики — Э. Бенвенист недавно предложил различать «два модуса значимостей»: внутренний, семиотический, без рассмотрения отношения языка к действительности, и семантический модус, для которого отношение языка, а, следовательно, и людей, говорящих на данном языке, к действительности приобретает решающее

²² М. А. Марков, О современной форме атомизма, ВФ, 1960, 3, стр. 47.

²³ Математик В. С. Барашенков справедливо подчеркивает: «...все попытки объяснить окружающий нас мир, исходя только из свойств пространства и времени, оказываются безуспешными. Пространство и время не могут существовать без материи и вне ее... Пространство и время без м а т е р и и являются понятиями, лишенными реального физического содержания» (ВФ, 1977, 9, стр. 83).

²⁴ Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 96.

²⁵ См. об этом: L. Renzi, Introduzione alla filologia romanza, Bologna, 1976, стр. 98—99; J. Lyons, Chomsky, London, 1970, стр. 2 и сл.

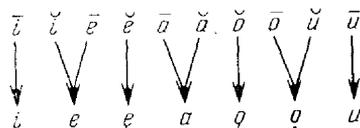
²⁶ См., например: «Directions for historical linguistics. A symposium» ed. by W. Lehmann and Y. Malkiel, University of Texas Press, 1968. Здесь, в частности, демонстрируется беспомощность односторонней структурной лингвистики, во всем противопоставленной историческому языкознанию (стр. 98 и сл.). Голоса в защиту актуальности исторического метода раздаются и среди представителей современного естествознания: Ю. А. Жданов, Исторический метод в химии, ВФ, 1977, 10, стр. 125—141. О «важности принципа историзма» даже в такой науке, как информатика, теперь пишут целые книги. См., например: В. И. Крестьянск и й, Методологические проблемы системного подхода к информатике. М., 1977 («Стержневая идея книги... — последовательно использовать принцип историзма», стр. 3).

значение²⁷. Стремление выйти за пределы замкнутого модуса «внутренних значимостей», стремление осмыслить функции языка в современном обществе, начинает все более и более характеризовать творчество наиболее видных филологов нашего времени.

Что, однако, практически означает критика жестких систем и жестких структур в языке и в науке о языке? Обратимся к анализу материала — здесь по необходимости ограниченному — из истории и теории романских языков.

4

Все романские языки восприняли переход количественного признака гласных в качественный. Хорошо известно, что латинские гласные характеризовались краткостью и долготой, тогда как романские гласные — своей открытостью и закрытостью. И хотя фонологическая роль открытости и закрытости гласных в разных языках стала неодинаковой (наибольшая — во французском, итальянском и португальском), все же именно этот признак гласных оказался для них характерным. Процесс перехода краткости-долготы в открытость-закрытость обычно изображается с помощью строгой структурной схемы (дифтонги здесь опускаются):



(долгота и краткость звуков изображаются обычными знаками, открытость звука — знаком седий, закрытость — точкой под буквой). Сам по себе отмеченный переход в истории романских языков произошел строго и имел важные последствия и для фонетической, и для фонологической их системы. Создается впечатление, что простая *схема-структура* все легко объясняет. В действительности, в реальном развитии звуковой системы романских языков, многое предстает перед нами в гораздо более сложном виде. Прежде всего каждое долгое латинское *ū* действительно сохраняется в виде *u* в большинстве романских языков, кроме французского и окситанского (провансальского). Здесь каждому долговому латинскому *u* всегда соответствует огубленное (лабиализованное) *u*. В результате испанскому *tiro* «стена» с первым *u*, во французском в том же значении соответствует *tir*, где уже нет латинского *u*, но есть сильно лабиализованное *u*.

Только что приведенная структурная схема перехода количества в качество сейчас же подвергается осложнениям, как только мы примем во внимание конкретные материалы тех языков, которые должны быть «подведены» под данную структуру.

Другой вопрос, чем объясняется переход $u > u$ в галло-романских языках — переход, которого не знает большинство других родственных языков. Иногда ссылаются на влияние кельтского субстрата. Для моей цели важно лишь подчеркнуть, что при всем значении общероманского движения гласных одна структурная схема может объяснить немного: слишком велики индивидуальные расхождения между языками, даже близкородственными.

²⁷ E. Benveniste, *Problèmes de linguistique générale*, II, Paris, 1974 стр. 225.

Чтобы не создавалось впечатление, что только субстратные воздействия способны расшатать жесткую структуру звуковых переходов, обратим внимание на совсем другие явления.

Латинское прилагательное *frigidus* «холодный» имеет первый долгий гласный *i*. По уже известной нам схеме, долгое *i* сохраняется в романских языках без изменений. Действительно, испанское и португальское *frígido*, *frio*, казалось бы, подтверждают общее правило. Но как объяснить, что в итальянском наряду с *frígido* бытует и *freddo*, причем второе образование оказывается более употребительным, чем первое? Французское *froid* через ступень *freid* также не сохраняет начального долгого *i*. Между тем, «структура перехода» гласных звуков «требует» сохранения долгого *i* в начальном положении. Исследователи стремятся объяснить нарушение «структуры перехода» в ряде романских языков и обычно ссылаются на слова, близкие по значению и употреблению: в латинском прилагательном *rigidus* «окоченелый; негибкий; твердый» начальное *i* является кратким. По аналогии с *rigidus* краткое *i* могло оказаться и во *frigidus*, где первоначально оно было долгим. В этом случае переход *i* > *e* нам уже знаком. Но почему аналогия проявила свою силу в одних языках и не проявила ее в других языках — этого пока никто объяснить не может.

Итак, общая «структура переходов гласных звуков» в одних случаях сохраняет свою силу, в других — не сохраняет. Сказанное не означает, что подобная структура лишается всякого смысла. Нет, ее значение велико. Но фонетические структуры, в особенности в диахроническом плане, находятся под влиянием множества других тенденций языка, учитывать которые обязан всякий серьезный исследователь. В этом, в частности, обнаруживается социальная природа не только условий функционирования языка, но и самих структур, которыми располагает язык на разных его уровнях. Поэтому и судьба таких структур в каждом языке оказывается во многом различной.

В еще большей степени все сказанное относится к грамматике. В 1936 г. Р. О. Якобсон в интересной статье о теории падежей показал асимметрию падежных противопоставлений в славянских языках. Принцип бинарности падежных противопоставлений весьма относителен. Если винительный падеж сигнализирует, что на данный предмет направлено действие, то никто не может сказать, что именительный падеж имеет противоположное значение. Между тем, в другом ракурсе именительный и винительный могут оказаться соотносительными падежами. Структура падежных противопоставлений предстает перед нами как структура асимметричная²⁸.

То же следует сказать и о падежных отношениях романских языков. Большинство современных романских языков (кроме румынского и молдавского) не знает падежных отношений. Остатки старых падежей сохранились лишь в местоимениях. Между тем, в членных формах румынско-молдавских существительных отчетливо противопоставят именительно-винительный падеж, с одной стороны, и родительно-дательный падеж — с другой (и в единственном, и во множественном числе):

<i>fratele</i> «брат»	<i>frații</i> «братья»
<i>fratelui</i> «брата»	<i>fraților</i> «братьев»
«брату»	«братьям»

Падежи имен существительных и прилагательных не сразу исчезли и в других романских языках. В старофранцузском и в старопровансальском (вплоть до XIV столетия) еще отчетливо противопоставлялись тоже два падежа. Это противопоставление было, однако, совсем иным, чем в ру-

²⁸ R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936, стр. 240 и сл.

мынско-молдавском. В западнороманских языках в основе оказалась структура, опирающаяся на оппозицию прямого и косвенного падежей:

<i>murs</i> «стена»	<i>mur</i> «стены»
<i>mur</i> «стену»	<i>murs</i> «стен»

Позднее, когда после XIV столетия именительный падеж не сохранился (под воздействием дальнейшего развития аналитического строя языка), удержалась одна форма для единственного числа (*mur*) и одна форма для множественного числа (*murs*).

Рассуждая чисто теоретически, можно было бы предположить, что восточнороманские языки (румынский и молдавский), как языки менее аналитические по своему грамматическому строю, чем языки западнороманские (в частности, французский), сохраняют ту систему падежных противопоставлений, которая была некогда характерна для французского и провансальского. Но этого не произошло. Галло-романская падежная структура никогда не была характерной для румынско-молдавской падежной системы. Здесь другие падежи образовали оппозицию, совсем нехарактерную для старой галло-романской падежной оппозиции.

Исторически галло-романские и дако-романские языки здесь соприкасались: и в том и в другом случае падежи были вытеснены не сразу (в румынском и молдавском они живут и в наше время). Этим две названные группы языков отличаются, например, от иберо-романских языков (испанского и португальского), где аналогичное вытеснение совершилось рано, так что в древнейших текстах на этих последних языках можно обнаружить лишь отдельные остатки падежных форм имен существительных. Вместе с тем, как различны оказались пути вытеснения падежей в галло-романских и дако-романских языках! Все попытки подвести этот, казалось бы, аналогичный процесс под одну структуру неизбежно оканчиваются фиаско. Поэтому отнюдь не случайно современные румынский и молдавский языки знают совсем иную структуру противопоставления падежей сравнительно со структурой падежных противопоставлений имен существительных в старофранцузском и старопрованском языках.

Здесь материал оказывается единым, а языковые структуры разные, совсем несходные. Несходство структур обычно не сразу бросается в глаза. Больше того. С первого взгляда создается впечатление полного сходства структур, в действительности, однако, в процессе функционирования языка во многом различных.

Романское прошедшее время, выраженное с помощью причастия и вспомогательного глагола, образует конструкцию, которая кажется одинаковой во всех романских языках. Вульгарнолатинский тип *habeo parlatum* «я сказал» соответствует:

франц. *j'ai parlé*,
исп. *he hablado*,
португ. *tenha falado*,
рум. *am vorbit*.

С абстрактно-грамматической точки зрения перед нами единая структура: вспомогательный глагол в форме соответствующего лица плюс причастие прошедшего времени пассива данного спрягаемого глагола. Только во французском местоимение обязано сопровождать форму спрягаемого глагола, в других, менее аналитических языках, в подобном сопровождении нет нужды, и грамматическая структура кажется во всех остальных языках совершенно одинаковой. В реальной же жизни каждого из перечисленных здесь четырех языков она различна.

Во французском вспомогательный глагол *avoir* (*j'ai*) бытует на фоне другого вспомогательного глагола *être*, и перед говорящими на данном языке людьми существует проблема выбора вспомогательного глагола. Пусть в каждом отдельном случае эта проблема всякий раз определяется характером спрягаемого глагола, проблема выбора вспомогательного глагола здесь все же не снимается. Недаром лица, для которых французский не является родным, часто ошибаются в подыскании служебного глагола. Но этой проблемы нет в испанском языке, в котором в подобной же структуре (*he hablado*), независимо от характера спрягаемого глагола, служебный глагол может быть только одним. Иная картина в португальском, где в функции вспомогательного глагола могут выступать и *haver*, и *ter*, но выбор которых определяется уже совсем не так, как определяется выбор *avoir* и *être* во французском. Еще одно решение вопроса предлагают румынский и молдавский языки, где в этой функции, хотя и употребляется один вспомогательный глагол (*a avea*), но он имеет ряд особых форм спряжения, когда выступает во вспомогательной функции в отличие от форм, характерных для него как для глагола самостоятельного. Ничего подобного нет ни во французском, ни в испанском.

Итак, *структура конструкции* — личная форма вспомогательного глагола плюс причастие прошедшего пассива — для выражения прошедшего времени оказывается в романских языках и одинаковой, и неодинаковой. Эта структура одинакова, так как состоит из одних и тех же элементов. Вместе с тем эта структура и не одинакова, так как один из ее элементов в каждом языке воспринимается на разном фоне, выделяется различно, соотносится с различными грамматическими возможностями языка. В результате следует говорить о *структуре* и *антиструктуре*, о тождестве и нетождестве выражения аналитического прошедшего времени в близкородственных языках.

То же наблюдается и в каждом отдельном языке. Но, если в родственных языках грамматический материал может быть единым, а структуры различные, то почти любая структура в отдельном языке обычно наполняется разным материальным (субстанциональным) содержанием в процессе функционирования языка.

При типологическом изучении проанализированные и им подобные структуры обычно рассматриваются как тождественные. Между тем практически и функционально они во многом различны.

Теперь представим на минуту, что эти и аналогичные им структуры трактуются как тождественные. С их несходством (часто внешне не очень заметным) не считаются говорящие и пишущие люди. Что же получится? Получится, что правильно говорить и писать на этих языках никто из них не сможет. Француз обязан сказать: *j'ai chanté* «я спел» (вспомогательный глагол *avoir*), но *je suis parti* «я ушел» (вспомогательный глагол *être*), между тем как румын и молдаван в обоих случаях обязан употребить здесь один и тот же вспомогательный глагол *a avea*: *am cântat*, *am plecat*. Грамматическая структура оказывается и общей, и в то же самое время не общей. Она выступает и как *структура* и как *антиструктура*, если учитывать не только ее морфологическое построение, но и ее функциональное поведение в языке. Недаром такие выдающиеся филологи, как В. Гумбольдт и А. Потенья, считали, что каждый язык располагает не только явной, но и неявной (скрытой) грамматикой.

К этому же вопросу подойдем теперь с иной стороны.

Сравним два предложения в испанском и французском языках: *Tu opinión y la del autor = Ton opinion et celle de l'auteur* «Твое мнение и мне-

ние автора». В испанском предложении определенный артикль женского рода *la* (он согласован с женским родом существительного *opinión*) выполняет отчетливо детерминативную функцию (букв. «твое мнение и то, автора», артикль указывает на мнение автора, делая тем самым ненужным повторение существительного *mienne*). В это же время во французском в аналогичной функции выступает уже не определенный артикль *la*, а указательное местоимение *celle*. Детерминативная функция французского определенного артикля (*le — la*) оказывается слабее аналогичной функции испанского определенного артикля (*el — la*). Поэтому во французском здесь выступает не артикль, а указательное местоимение (*celui — celle*). Структура предложения в двух близкородственных языках оказывается действительно близкой (в особенности, если сравнить ее с соответствующей, но иной структурой предложения в русском), но отнюдь не тождественной. Обе структуры «чуть-чуть» расходятся. Но это «чуть-чуть» составляет душу предложения в каждом языке. Структуры и похожи, и не похожи друг на друга. То, что выступает как *структура* в одном языке, предстает как своеобразная *антиструктура* в другом, близкородственном языке.

Ср. еще: исп. *Prefero mi libro al (a + el) que tiene tu* = франц. *Je préfère mon livre à celui que tu as* «Я предпочитаю мою книгу твоей» (и здесь в испанском определенный артикль, во французском — указательное местоимение)²⁹.

О чем свидетельствуют подобные примеры? О том, что детерминативная функция испанского и французского определенного артикля различна: в испанском она сильнее, чем во французском, поэтому французскому языку приходится прибегать к указательному местоимению там, где испанский ограничивается определенным артиклем. Но так было не всегда. В старофранцузскую эпоху, в текстах до XV столетия, определенный артикль так же успешно мог выполнять детерминативную функцию, как это он делает в современном испанском языке. Ср., например, в тексте XIII в. «Искания святого Грааля» (строки 9—11): *il abati ton cheval et le Perceval ensemble* «Он поверг твоего коня и коня Персеваля» (определенный артикль *le* здесь выполняет функцию современного указательного местоимения *celui*)³⁰. Так оказывается, что современная испанская грамматическая структура соотносится не с современной французской структурой (в синхронном плане они расходятся), а со структурой языка средних веков. Разные уровни развития языков, в том числе и языков близкородственных, приводят к расхождениям подобного рода.

Образуется новый ракурс соотношений: грамматические *структуры* предстают как *антиструктуры* в синхронном плане и как сходные структуры в диахронном плане. История, над которой обычно посмеиваются лингвисты школы Хомского, обьясняет нам синхронные расхождения между языками. И это понятно: диахрония живет в самой синхронии, напоминая о себе с разной степенью императивности в разных языках и в разных структурах³¹.

Трудность проблемы заключается в том, что заранее, по чисто теоретическим соображениям, без учета практического «поведения» того или иного языка, никто не может предопределить, как соответственно поведет себя определенная структура. В утвердительном предложении глаголы типа *верить* и *думать* в испанском и французском языках сочетаются

²⁹ Другие сопоставительные примеры без их анализа: J. B o u z e t, *Grammaire espagnole*, Paris, 1946, стр. 160—162.

³⁰ L. F o u l e t, *Petite syntaxe de l'ancien français*, 3 ed., Paris, 1958, стр. 53—54.

³¹ Ср. противоположное утверждение, согласно которому синхрония будто бы исключает всякое представление о движении («Semiotica», 1974, 1, стр. 99—100).

с последующим индикативом, а в итальянском — с последующим конъюнктивом. Отсюда и различие структур: франц. *je crois que c'est vrai* «я думаю, что это верно», исп. *creo que es verdad*, но итал. *credo che sia vero*³². Сами по себе глаголы типа *думать*, *верить* в чисто теоретическом плане могут сочетаться и с модальностью более определенной (отсюда тяготение к последующему индикативу) и с модальностью менее определенной, как бы колеблющейся (отсюда тяготение к конъюнктиву). При этом заранее нельзя предвидеть, какой выбор сделает каждый отдельный язык — в пользу индикатива или в пользу конъюнктива. Поэтому и определенная грамматическая структура (глагол типа *думать* с последующим глаголом в форме индикатива или конъюнктива) сразу выступает как *полиструктура*, как структура с такими вариантами, которые позволяют говорить о *структурах* и *антиструктурах* (структуры с конъюнктивом во многом оказываются «противоположными» структурам с индикативом).

Когда говорят о грамматических структурах определенного языка, то обычно не учитывают их функциональное «поведение» в языке. Между тем — это едва ли не самое главное при изучении грамматических структур языка. Современный португальский язык в морфологическом плане отличается от современного испанского языка только одной конструкцией — формами личного инфинитива, между тем это разные языки и их морфологические системы функционируют различно.

6

Здесь необходимо вернуться к проблеме взаимоотношения категории значения и категории отношения — к проблеме центральной для темы настоящей статьи. По моему глубокому убеждению, при изучении системных и структурных отношений в грамматике недопустимо превращать сами эти отношения в абсолютно релятивистические. Наука XX в. справедливо подчеркнула огромную роль категории отношения во всех областях знания, в том числе и в лингвистике. Но сам этот факт может служить основой и для верных, и для ошибочных заключений. В свое время даже такой ученый, как И. А. Бодуэн де Куртене, утверждал, что формы *вода*, *воду*, *воде* и др. в одинаковой степени сосуществуют в русском языке и «...мы с одинаковым правом можем говорить, что форма *вода* переходит в форму *воду*, как и наоборот, форма *воду* — в форму *вода*»³³. Хотя перечисленные формы действительно сосуществуют в языке и они не «переходят» друг в друга в школьном смысле этого слова, все же нельзя считать, что наше сознание, а вслед за ним и наш язык, не различают основных и производных форм каждого отдельного слова. Считать иначе — значит не разграничивать такие принципиально различные категории в лингвистике, как категории *значения* и *отношения*, категории *независимой* и *зависимой* субстанции. При всем значении системных и структурных связей в грамматике, сами эти связи служат для выражения человеческих мыслей и чувств, т. е. в конечном счете для передачи субстанциональных понятий.

Защитники абсолютной релятивности всех грамматических понятий и категорий часто выступают и в наше время. Французские функционалисты, например (так они сами себя называют), резко критикуя генеративную грамматику Хомского и его последователей за «отрыв от реальности и реальных языков человечества», вместе с тем отстаивают принцип

³² O. Neatwale, A comparative practical grammar of French, Spanish and Italian, New York, 1949, стр. 166.

³³ И. А. Бодуэн де Куртене, Рецензия на книгу В. Чернышева «Законы и правила русского произношения», ИОРЯС, т. XII, кн. 2, 1907, стр. 795.

абсолютной релятивности грамматики любого языка. Они, в частности, заявляют, что разграничение таких частей речи, как существительные, прилагательные и глаголы, будто бы «давно устарело», ибо прилагательное, например, *голубой*, может быть выражено предикативной конструкцией «быть голубым» (*être bleu*)³⁴. Здесь нельзя не «развести руками». То, что люди имеют возможность различно выражать свои мысли (одно из великих достоинств любого развитого естественного языка), ни в какой степени не может поколебать разумного для многих языков принципа разграничения частей речи, хотя подобное разграничение исторически сложилось не сразу и в разных языках имеет свои особенности.

Но если системные и структурные отношения в грамматике во многом зависят от способа и характера выражения наших мыслей и чувств, от общего уровня развития данного языка, то в еще большей степени все сказанное относится и к лексике, к ее системным и структурным категориям. Существительное *industrie* «индустрия» известно во французском языке с XIV столетия, но только в прошлом веке оно вступило в ряд таких слов, как *industriel* «индустриальный», *industrialisation* «индустриализация», *industrialiser* «индустриализировать» и других. Условия жизни народа вызвали к жизни этот ряд и определили характер его функционирования в языке³⁵.

Учение о системном и структурном характере языка внесло много принципиально нового в лингвистику нашего столетия. Вместе с тем в отдельных влиятельных направлениях науки о языке нашей эпохи и *система*, и *структура* стали толковаться односторонне, прямолинейно. Ученые начали анализировать не реальные системы и структуры, бытующие в реальных живых языках, а системы и структуры, которые характерны для искусственных кодовых построений. Подобные построения вполне возможны для удовлетворения тех или иных технических целей, но сами они не имеют никакого отношения к национальным языкам. Вместе с тем, речь идет не о том, чтобы заменить жесткие структуры различных уровней структурами менее жесткими, более гибкими, как это предлагают отдельные ученые. Речь идет о понимании сложной природы самих структур, о соотношении *структурных* и *антиструктурных* тенденций в синхронном состоянии любого развитого национального языка³⁶.

При изучении разных национальных языков лингвисты обязаны считаться с взаимодействием системных и антисистемных, структурных и

³⁴ См. специальный номер журнала, посвященный функциональной лингвистике: «Langue française», 1977, 35, стр. 17 и сл.

³⁵ Ср. в этом плане сопоставление староанглийского словаря с английским словарем наших дней в статье Е. Лейзи (сб. «Sprache. Schlüssel zur Welt», Düsseldorf, 1959, стр. 309—319). Между тем, даже в серьезных работах до сих пор утверждается: «Принципом исследования является анализ не изолированных лексем, а групп слов определенных категорий, выделяемых в самом языке... Для нас важнее общие черты слов, составляющих такие группы, чем семантические и стилистические нюансы отдельной лексемы» (Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского языка, М., 1977, стр. 4). Как видим, изучение определенных групп слов противопоставляется, как несовместимое, изучению отдельных слов. При этом в жертву приносятся «семантические и стилистические нюансы» отдельных слов. Невольно получается: либо система, либо элементы этой системы. Такая постановка вопроса представляется мне неправомочной. Ср. попытку иного решения проблемы (и система, и элементы этой системы) в кн.: Ф. П. Филипп, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи, Л., 1949.

³⁶ Любопытно, что в новом интернациональном нидерландско-американском журнале «Лингвистика и философия» («Linguistics and philosophy. An international journal», Dordrecht — Boston, основан в 1977 г.) в обращении редакторов к авторам и читателям подчеркивается, что в журнале публикуются и будут публиковаться те материалы, которые относятся не к искусственным, а только к естественным языкам человечества и тем самым представляют большой интерес и для лингвистики, и для философии.

антиструктурных тенденций во всех языковых сферах и уровнях. Борьба подобных противоборствующих тенденций определяется самой природой естественных языков человечества и служит, как я это стремился показать в другой работе, источником их же дальнейшего развития³⁷. Каждый национальный язык — это средство выражения не только самых разнообразных мыслей, но и самых разнообразных чувств людей, для которых данный язык является родным. Как известно, язык опирается на наш повседневный опыт, на нашу практику, на нашу науку в широком смысле. Он служит и почти всем видам искусства. А, — как заметил по другому поводу один из крупнейших физиков XX столетия, — «причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для системного анализа»³⁸. Сказанное не означает, что здесь следует опустить руки. Но сказанное означает, что следует учитывать и функцию языка, относящуюся к передаче наших мыслей, и функцию языка, относящуюся к выражению наших чувств в самом широком смысле. Эти последние подлежат не менее строгому изучению, чем первые. Вместе с тем именно они требуют в первую очередь понимания сложного соотношения системных и антисистемных, структурных и антиструктурных тенденций в живых языках человечества.

Вместе с Бенвенистом, который здесь уже упоминался, необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что современная лингвистика — «это совокупность разных лингвистик»³⁹. И — прибавлю я от себя — они опираются на различные методологические концепции, в частности в истолковании *системы* и *структуры* языка.

³⁷ Р. А. Б у д а г о в, Сравнительно-семасиологические исследования, М., 1963, главы 1 и 9.

³⁸ Н и л ь с Б о р, Атомная физика и человеческое познание, М., 1971, стр. 111. Тоже по другому поводу и тоже в другой связи один из наших хороших современных прозаиков, знаток русского языка Валентин Распутин недавно заметил: «А языку, известно, чем чудней, тем млей» («Наш современник», 1976, 10, стр. 4). Из контекста следует, что *чудней* автор толкует здесь так: *красочнее, ярче, самобытнее*. Вместе с тем — и здесь нет никакого противоречия — «пошлость мышления начинается с стрыва слова от жизненной первоосновы» (Ю р п ь Н а г и б и н, Литературные раздумья, М., 1977, стр. 23).

³⁹ «Il y a plusieurs linguistiques dans la linguistique» (E. B e n v e n i s t e, Problèmes de linguistique générale, II, стр. 39).

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КЛИМОВ Г. А.

ОБЩЕИНДООЕВРОПЕЙСКИЙ И КАРТВЕЛЬСКИЙ

(к типологии надежных систем)

Как известно, в последнее десятилетие был вскрыт целый ряд интересных структурных параллелизмов, существующих между картвельскими и индоевропейскими языками. Так, Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани были установлены далеко идущие исторические совпадения в области фонологической и морфонологической структуры этих языков¹. Несколько позднее Г. В. Церетели обратил внимание на близость в них древних принципов стихосложения². Параллельно с этим в работах А. Г. Шанидзе, С. Г. Каучишвили, Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова, И. Г. Меликишвили, К.-Х. Шмидта, В. Бёдера и других авторов круг структурных параллелизмов между картвельскими и индоевропейскими языками был существенно расширен за счет обнаружения целой совокупности частных совпадений на различных уровнях их формальной структуры. Судя по результатам некоторых иных исследований, не менее интересные перспективы структурных сопоставлений обоих компонентов сравнения намечаются и в плане контенсивной типологии. В частности, определенная совокупность структурных аналогий может быть проведена между ними в области парадигмы именного склонения, что в какой-то мере уже отмечалось в специальной литературе³.

Одно из весьма заметных ныне направлений в реконструкции древнейшего протоиндоевропейского состояния приводит исследование к постуляции его позднеактивного состояния, обнаруживающего лишь слабую тенденцию к номинативизации. Для этой эпохи в его глагольной системе предполагается распределение глагольных лексем не на транзитивные и интранзитивные, а на глаголы действия и состояния (с соответствующей морфологической спецификой: категория версии вместо залога, способа действия вместо времени и т. п.). Согласно этой точке зрения, центральную роль в парадигме именного склонения здесь должна была играть оппозиция активного и инактивного падежей с характеристиками *-s* и \emptyset соответственно: при этом флексия *-s* оформляла, по всей вероятности, только подлежащее, выраженное именем активного («одушевленного»)

¹ См.: Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры, Тбилиси, 1965 (на груз. и русск. языках).

² См.: Г. В. Церетели, Метр и рифма в поэме Руставели, в кн.: «Метр и рифма в поэме Руставели „Витязь в барсовой шкуре“» (под ред. Г. В. Церетели), Тбилиси, 1973, стр. 52—54 (на груз. яз.).

³ Ср.: К. Н. Schmidt, Transitivity und Intransitivity, «Indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Akten der IV Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft», Wiesbaden, 1973, стр. 113—117.

класса при глаголах действия, в то время как флексия \emptyset была свойственной подлежащему при глаголах состояния, равно как и всем остальным именным членам предложения.

Сравнительной грамматикой индоевропейских языков предполагается, что при последовавшей перестройке падежной парадигмы в соответствии с принципами номинативной типологии оппозиция активного и пассивного падежа постепенно преобразуется в противопоставление номинатива и аккузатива. Первый из них, естественно, наследует алломорфы $-s$ (при именах так называемого «общего» рода, давшего начало мужскому и женскому) и \emptyset (при именах среднего рода), а второй флексию \emptyset , к которой позднее присоединяется и $-t$, первоначально характерное лишь для имен «общего» рода, но затем обнаруживающее явную тенденцию к распространению на все имена. На базе этого процесса здесь должны были формироваться и другие падежные единицы парадигмы склонения номинативной системы — родительный и дательный падежи. Достаточно упомянуть, в частности, широко известное мнение о том, что индоевропейский генитив связан по своему происхождению с номинативом и через него, в конечном счете, с активным падежом. В свою очередь производным от родительного падежа обычно признается индоевропейский аблатив. Наконец, существуют основания для квалификации творительного падежа (инструменталиса) в качестве хронологически еще более позднего образования⁴.

В реальности современных картвельских языков обращает на себя внимание интересная аналогия этой картине, особенно отчетливым образом представленная в синхронном состоянии лазского (чанского) языка (наиболее характерные черты лазской парадигмы склонения в той или иной степени повторяются и в других картвельских языках). Падежный инвентарь последнего в целом весьма близок к тому составу, который налицо в древнейших засвидетельствованных индоевропейских языках. Он насчитывает всего шесть или семь единиц, функциональная сторона которых явно приближается к семантике соответствующих индоевропейских падежей. Здесь представлены номинатив (показатели $-k$ и \emptyset), аккузатив (показатели \emptyset и в некоторых случаях $-s$), генитив ($-\dot{s}$), датив (s), инструменталис ($-te(n)$), аблатив ($-\dot{s}e(n)$) и иногда аллатив ($-\dot{s}a$)⁵.

Подобно бегло охарактеризованной выше поздней общеиндоевропейской парадигме, лазская падежная система знает в настоящее время две

⁴ Ср.: Н. С. U h l e n b e s k, Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen, IF, XII, 1901, стр. 170—171 (русск. пер. в сб. «Эргативная конструкция предложения», М., 1950, стр. 101—102); N. v a n W i j k, Der nominale Genetiv Singular im Indogermanischen, Zwolle, 1902; K. B r u g m a n n, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Berlin, 1904, стр. 626; H. P e d e r s e n, Neues und Nachträgliches, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», XL, 1907, стр. 152—153; е г о ж е, Hittitisch und die anderen Indoeuropäischen Sprachen, København, 1938, стр. 83—85; A. V a i l l a n t, L'ergatif indoeuropéen, BSLP, XXXVII, 2, 1938; H. H e n d r i k s e n, Quelques faits à lumière d'un système casuel indoeuropéen comportant un cas transitif et un cas intransitif, BCLC, 5, 1940; Fr. S p e c h t, Der Umprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947; В я ч. В с. И в а н о в, Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков, сб. «Тохарские языки», М., 1959, стр. 23—29; J. K u r u l o w i c z, The inflectional categories of Indo-European, Heidelberg, 1964, стр. 179—206; И. М. Т р о н с к и й, Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции), Л., 1967, стр. 69—82; А. Н. С а в ч е н к о, Сравнительная грамматика индоевропейских языков, М., 1974, стр. 190—236.

⁵ К падежной системе в лазском см.: Н. М а р р, Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматией и словарем, «Материалы по яфетическому языкознанию», II, СПб., 1910, стр. 9—16; А. С. Ч и к о б а в а, Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта с текстами, Тбилиси, 1936, стр. 43—85 (на груз. яз.); Г. А. К л и м о в, Краткая характеристика склонения в занском языке, «Вопросы грамматики (Сборник статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова)», М.—Л., 1960.

алломорфы именительного падежа, маркированную *-k* и немаркированную \emptyset . Следует подчеркнуть, что они идентифицируются здесь именно как показатели номинатива, и, напротив, вопреки встречающимся в специальной литературе высказываниям функционально не совпадают с экспонентами эргативного и абсолютного падежей, характерных для представителей эргативного строя. В соответствии с принятым в грамматической традиции определением именительного падежа обе флексии оформляют здесь подлежащее как при транзитивном, так и интранзитивном глаголе-сказуемом таким образом, что в их функционировании наблюдается отчетливая дополнительная дистрибуция. Алломорфа *-k* оформляет подлежащее при форме активного залога любого транзитивного глагола (ср. *koči-k ozori kodurs* «человек дом строит»), а также при интранзитивном медиоактивном глаголе (ср. *koči-k izicars* «человек смеется»). В то же время алломорфа \emptyset оформляет подлежащее при форме пассивного залога любого транзитивного глагола (ср. *kuali içkien xami-te* «хлеб режется ножом», *ozori içven* «дом горит»), а также при интранзитивном медиопассивном (ср. *koči dgin* «человек стоит») или так называемом статическом страдательном (ср. *kata obun koči-s* «кинжал висит у человека») глаголе. Сказанное с большей наглядностью может быть отображено следующей схемой:

Им. пад. *-k*: транз. гл. (акт. зал.) + интранз. гл. (медиоактивный)

Им. пад. \emptyset : транз. гл. (пасс. зал.) + интранз. гл. (медиопассивный, статич. страдательный)

Иначе говоря, выбор падежной флексии *-k* или \emptyset подлежащего определяется здесь, как и в позднем общеиндоевропейском, не признаком переходности ~ непереходности глагола-сказуемого, что сразу же исключает возможность их трактовки в качестве показателей эргативного и абсолютного падежей, свойственных падежной парадигме языков эргативного строя (напротив, этот выбор оказывается связанным с одной формальной чертой морфологической структуры лазской глагольной словоформы: глаголы с показателем 3-го субъектного лица презенса *-s* обуславливают при всех своих словоформах алломорфу номинатива подлежащего *-k*, а глаголы с показателем 3-го субъектного лица *-n* обуславливают таким же образом алломорфу номинатива подлежащего \emptyset).

Заслуживает внимания и дальнейший параллелизм именительного падежа обеих сопоставляемых парадигм, касающийся его маркированной алломорфы. Как показало предпринятое статистическое обследование совокупного корпуса лазских текстов, лазская флексия *-k*, подобно тому, как это предполагается для поздней общеиндоевропейской *-s*, характеризует почти исключительно подлежащее, представленное «одушевленным» именем. Так, например, в опубликованных Г. А. Картозия текстах на 2955 случаев употребления маркированного окончания приходится лишь 37 случаев оформления им имен неодушевленных референтов, в текстах Ж. Дюмезиля соответствующие факты составляют соотношение 528 : 1 и 949 : 20, в текстах С. М. Жгенти — 2175 : 24 и т. п.⁶

Системные соображения в подходе к описанию лазской падежной парадигмы заставляют постулировать здесь и наличие винительного падежа (еще И. И. Мещанинов отчетливо показал, что подобно тому, как эргативный и абсолютный падежи образуют позиционную основу парадигмы склонения эргативной системы, именительный и винительный — взаимно

⁶ См.: Г. А. Картозия, Лазские тексты, Тбилиси, 1972; G. Dumézil, Contes Lazes, «Travaux et mémoires de l'Institut d'Ethnologie», XXVII, Paris, 1937; е г о ж е, Récits Lazes (dialecte d'Archavi), «Documents anatoliens sur les langues et traditions du Caucase», IV, Paris, 1967; С. М. Ж г е н т и, Чанские тексты (архавский диалект), Тбилиси, 1938.

необходимые позиционные падежи номинативной системы). Действительно, в лазском существует характерный падежный признак прямого дополнения в виде нулевой флексии: ср. *koči-k oxori kodups* «человек строит дом» (в остальных картвельских языках имеем несколько отличную картину, вследствие чего в них в лучшем случае отмечаем наличие так называемого дательного-винительного падежа). При этом уже само совпадение в лазском языке показателя аккузатива \emptyset с немаркированной алломорфой номинатива образует черту, характерную и для позднего общиндоевропейского состояния, которая была унаследована в его многочисленных современных продолжениях. Однако более глубокую аналогию обеих сопоставляемых величин составляет то обстоятельство, что и в лазском засвидетельствована маркированная форма аккузатива ограниченного употребления. В виду имеется флексия *-s*, встречающаяся подобно тому, как это предполагается и для позднего общиндоевропейского *-m*, почти исключительно в именах одушевленных референтов. Таким способом управления прямого дополнения характеризуются в лазском, в частности, глаголы *o-qorop-u* «любить», *te-čkot-u* «кусать», *o-žund-u / o-xvel-u* «целовать», *o-žoxin-u* «звать», *o-čand-u* «созывать», *o-kičx-u* «спрашивать», *o-xvečin-u* «упрашивать», *ge-kičx-u* «бранить; поносить», *o-kn-u* «схватывать», *te-čiš-u* «догонять», *o-xuš-k-u* «отпускать», *o-čang-u* «царапать» и некоторые другие, передающие действие, обычно направленное на одушевленный объект: ср. *bere-k qorops nana-s* «сын любит мать», *baba-k Axmedi-s dužoxi* «отец позвал Ахмеда», *kaču-k močangu Axmedi-s* «кошка оцарапала Ахмеда» (в специальной литературе уже обращалось внимание на существование аналогичного ряда глаголов в грузинском языке⁷).

Таким образом, проводившееся в позднем индоевропейском состоянии обособление различных алломорф номинатива и аккузатива, употребительных в субстантивах только исторически активного (одушевленного) или инактивного (неодушевленного) классов, полностью воспроизводится в современном лазском языке.

Далее сопоставляемые падежные парадигмы выявляют наличие родительного и дательного падежей, принадлежность которых составу парадигмы склонения языков номинативной типологии уже неоднократно обосновывалась в прошлом⁸ (действительно, с их формированием сталкиваемся лишь в тех эргативных языках, которые прочно встали на путь номинализации). Довольно очевидно и функциональная близость обоих падежей в позднем общиндоевропейском и лазском, которая сводится к тому, что в обоих случаях имеется не только атрибутивный генитив, но и родительный субъекта (*genitivus subjectivus*) и родительный объекта (*genitivus objectivus*). Ср., например, лазские словосочетания *molla-ši oxori* «дом муллы», *gi(r)ini-š kičxe* «нога осла», с одной стороны, *oxorža-š oxtimi* «приход жены» и *pxepere-ši oxirxini* «ржание лошадей», с другой, *da-š ogoru* «поиски сестры» и *duvuni-š oxenu* «устройство свадьбы», с третьей. Нельзя не заметить, таким образом, функционального отличия лазского, равно как и вообще картвельского, генитива от генитива тех очень немногочисленных представителей эргативного строя, в которых засвидетельствовано его становление (в последних налицо ограничение случаев субъектного генитива и обычное отсутствие объектного генитива).

Отчетливая функциональная общность характеризует и дательный па-

⁷ Ср.: G. Deeters, Das kharthwelische Verbum. Vergleichende Darstellung des Verbalbaus der südkaukasischen Sprachen, Leipzig, 1930, стр. 97.

⁸ Ср.: Е. Курлович, Проблема классификации падежей, в кн.: Е. Курлович, Очерки по лингвистике, М., 1962, стр. 195—196; Э. Бенвенист, К анализу падежных функций: латинский генитив, в кн.: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974, стр. 162—164.

деж в лазском и позднем общеиндоевропейском (в обоих случаях это падеж, имеющий не только адвербиальную функцию, но и прежде всего — объектную).

Дальнейшую аналогию обеих сопоставленных здесь парадигм образует то обстоятельство, что подобно общеиндоевропейскому и в лазском в основе образования аблатива (впрочем, как и имеющегося в его хопском диалекте директива) также лежит флексия родительного падежа: ср. его окончание *-še (n)* при генитиве *-š⁹*.

Еще один параллелизм позднего общеиндоевропейского и лазского заключается в том, что функционирующий в них творительный падеж по своей семантике оказывается преимущественно падежом орудия действия, характерным исключительно для субстантивов неодушевленного «класса». Целесообразно подчеркнуть в этой связи, что повейшие исследования выявляют немотивированность подобной падежной единицы в рамках не только активной, но и эргативной системы, поскольку глубинная роль инструмента в последней органически сочетается с ролью субъекта переходного действия. Небезынтересно отметить, наконец, и то обстоятельство, что творительный падеж в обоих случаях, возможно, является относительно поздним образованием, о чем могут свидетельствовать его материально гетерогенные флексии, зафиксированные для разных ареалов как в индоевропейской, так и в картвельской языковых областях: ср. его различные характеристики в индоевропейских языках, с одной стороны, а также окончания **-(i)t* для грузинско-занской ветви и **-s₁w* для сванской, с другой (в недавнее время, впрочем, высказано предположение, согласно которому современная сванская флексия инструмента *-šw* может быть в принципе сведена к историческому показателю **-it¹⁰*).

Отмеченные выше аналогии в деклинационной системе позднего общеиндоевропейского состояния и современного лазского языка имеют чисто типологические основания (взаимная материальная несводимость соответствующих величин не позволяет говорить об их генетической обусловленности; поскольку сопоставленные элементы составляют самую основу морфологического строя языка, нет оснований допускать при этом и действие ареального фактора). По всей вероятности, рассмотренные здесь аналогии обязаны тому обстоятельству, что оба компонента сравнения принадлежат к языкам раннеоминативной типологии, еще не утратившим точек соприкосновения со структурой активного строя¹¹: в этом отношении особенно показательным представляется очевидный компенсаторный характер функционирования в обоих из них алломорф номинатива и аккузатива, взаимно противопоставленных по признаку «одушевленности ~ неодушевленности» соответствующих субстантивов.

Уже одним только фактом своего существования современная лазская парадигма склонения способна удостоверить высокую степень типологической адекватности реконструированной падежной парадигмы позднего общеиндоевропейского состояния. Не приходится также отрицать того, что на базе выявленных к настоящему времени аналогий в дальнейшем, возможно, удастся обнаружить и некоторые другие параллелизмы обеих парадигм, носящие более частный характер.

⁹ См.: В. Топуриа, К генезису некоторых падежей в мегрельско-чанском, «Изв. ИЯИМК», I, Тбилиси, 1937, стр. 179—182 (на груз. яз.).

¹⁰ См.: Г. В. Топуриа, К истории творительного падежа в сванском языке, «Изв. АН ГрузССР», Серия языка и литературы, 3, Тбилиси, 1977 (на груз. яз.).

¹¹ Из последних работ ср. в этой связи: К.-Н. Schmidt, Probleme der Ergativkonstruktion, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», Hf. 36, 1977, стр. 102—111; И. А. Перельмутер, Общеиндоевропейский и греческий глагол, Л., 1977, стр. 200—204 (имеется возможность показать выводимость из активного строя и структуры картвельских языков).

ШЕНФЕЛЬД Г.

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**

Предлагаемая статья основывается на некоторых теоретических посылах и эмпирических данных, полученных в результате наблюдений над языковой коммуникацией в сфере промышленного производства, которые проводились вплоть до 1976 г. Итоги работы предполагается опубликовать в монографии «Язык в сфере социалистического промышленного производства. Исследование словарного инвентаря в рамках социальных групп» в 1978 г. в издательстве Академии наук ГДР (Akademie-Verlag). В данной статье особое внимание уделяется коммуникативным проблемам, которые возникают в сфере социалистического промышленного производства в результате совместной трудовой деятельности различных социальных групп. Целый ряд проблем подобного рода мог бы привлечь внимание социологов не только в сфере индустриального производства, но и в других областях народного хозяйства. Это относится как к содержательным вопросам социологических исследований, так и к формулированию вопросов, например, в анкетах. Особо важен тот факт, что и социологи во многих случаях непосредственно сталкиваются с вопросами коммуникации¹.

Среди множества проблем социологических исследований важными представляются проблемы, относящиеся к сфере руководства и активного участия трудящихся на демократических началах в делах управления и планирования. Настоятельная необходимость обращения к этим вопросам была особо подчеркнута в выдвинутой VIII съездом СЕПГ задаче, которая заключается в постоянном совершенствовании руководства и достижении максимально творческого участия всех трудящихся в производстве. Это положение распространяется на трудящихся самых различных областей народного хозяйства. Первостепенное место в социологических исследованиях в связи с этой проблематикой занимает по целому ряду обстоятельств сфера промышленного производства. При этом не раз указывалось на значение информации в системе руководства и в процессе привлечения трудящихся к участию в управлении и планировании; предметом анализа становилась и сама эта информация. Действенная сила информации определяется множеством факторов. Среди них важную роль играет язык и языковая коммуникация.

Язык выступает важнейшим и ведущим средством коммуникации в системе планирования и организации производственной деятельности трудящихся. Для учеников или для людей, только поступивших на работу, имеющихся на рабочем месте техника, инструменты, сами рабочие операции и т. д. представляются новыми. Овладение всеми частями данного трудового процесса предполагает приобретение соответствующих языковых навы-

¹ Ср., например: Н. B o r c h a r d t, Das gesellschaftliche Wesen der Kommunikation, в кн.: «Fragen der marxistischen Soziologie» (Wissenschaftliche Schriftenreihe der Humboldt-Universität zu Berlin), 1968, § 90—122.

ков. При этом новыми оказываются формы коммуникации, ее предмет и содержание. На рабочих местах часто отмечается своеобразное использование языка, которое проявляется в основном в специализации словарного состава. В сфере промышленного производства это своеобразие выступает более отчетливо, чем, например, в сельском хозяйстве. Жители сельской местности с детства были тесно связаны с сельскохозяйственной работой, в процессе которой они усваивали специфический лексикон. Для сферы промышленного производства это характерно значительно меньше. Рабочий в большинстве случаев овладевает лишь на своем рабочем месте специфическим словарем, определенными формами коммуникации и т. д. и приспособляется к этим особенностям. Однако это недостаточно для потребностей социалистического промышленного производства, поскольку его интересы не ограничиваются только сферой производства. В круг задач, стоящих перед производством, входит также формирование личности в социалистическом обществе, развитие самосознания, производственной культуры и т. д. Достижение этих целей промышленное производство может обеспечить только благодаря широкому развертыванию социалистической демократии. Сознательный и творческий характер деятельности всех трудящихся является важной предпосылкой осуществления этих задач. В пределах промышленного производства эти задачи могут быть решены путем участия в работе многочисленных организаций, относящихся к сфере управления и планирования, развития производства, совершенствования кадров, а также к социальной и культурной сферам и т. д. В то же время перед управлением промышленным производством стоит задача постоянного совершенствования содержания, методов и форм работы по привлечению трудящихся. В социалистическом промышленном производстве в результате научно-технического прогресса и благодаря широкому развертыванию социалистической демократии изменяется характер и содержание труда. Результатом этого процесса является все возрастающее объединение функций в сфере труда и управления, а также возрастающая роль совместной трудовой деятельности рабочих, инженерно-технических работников и ученых. Все это вместе взятое предъявляет новые требования к языку и языковой коммуникации. Перед многочисленными трудящимися открывается новое содержание и новые формы процесса коммуникации не только на самом рабочем месте, но и за его пределами. И этот процесс осознается в результате поступательного развития. Развитие общества сопровождается обогащением и усложнением процессов коммуникации, и это должно стать достоянием рабочего класса.

Все сказанное играет значительную роль в системе управления и прежде всего в деле социалистического руководства трудящимися, в установлении контактов между людьми и социалистических отношений в коллективе, в деле воспитания сознательности, а также в овладении достижениями научно-технического прогресса и в привлечении трудящихся к управлению и планированию. Дифференцированное и соответствующее выполняемым функциям использование языка приобретает особое значение в условиях общения. Понимание, взаимное внимание, откровенность и ясность также находят свое отражение в языковой коммуникации. Атмосфера повседневного общения оказывает влияние на поведение каждого отдельного рабочего на его рабочем месте, на его творческое отношение к совместному труду. Привлечение к активному участию в управлении и планировании должно осуществляться в определенной форме. С этой целью руководители должны эффективно и дифференцированно осуществлять информацию. Эта задача для большинства руководителей представляется более сложной, чем, например, давать ежедневные рабочие задания, в которых уже выработались определенные коммуникативные формы. Руководители

должны сделать задачи управления производственными процессами наглядными, способствуя тем самым тому, чтобы трудящиеся могли компетентно вникать в эти процессы. Оказать сильное воздействие возможно только тогда, когда руководители хорошо представляют себе различия в языковых и коммуникативных навыках трудящихся и учитывают эти различия. С другой стороны, языковые и коммуникативные навыки трудящихся являются важными факторами успеха их трудовой деятельности. Поэтому для выполнения новых задач они должны обладать необходимыми языковыми данными. Необходимо при этом учитывать, что занятые в промышленном производстве люди принадлежат к различным слоям и группам. Они занимают разное положение в трудовом процессе и в обществе. Рабочий класс предстает в определенной степени дифференцированным, причиной чего является современное состояние разделения труда и характер труда. Эта дифференциация проявляется различным образом, например, она может определяться технической оснащенностью предприятия и рабочих мест, соотношением физического и умственного труда, положением на предприятии, уровнем квалификации и т. д. Вследствие этого, существуют также различия в состоянии развития языковых и коммуникативных навыков, а также в языковом поведении.

В последние годы и социологи неоднократно обращались к исследованию условий, обеспечивающих эффективность информации, при этом основой анализа иногда служили разные эмпирические данные². Однако сам язык либо вовсе не выдвигался в качестве непосредственного предмета исследования, либо занимал в анализе периферийное положение. Задача языкознания состоит в том, чтобы выявить проблемы языковой коммуникации и определяющие ее факторы; сформулировать требования, предъявляемые к коммуникативным процессам настоящего и будущего, выработать научно обоснованные прогнозы коммуникативных отношений и найти пригодные формы коммуникативной практики, с тем чтобы получить возможность более эффективно совершенствовать языковую коммуникацию. Предпосылкой этого являются, в одной стороны, теоретическое освоение всего комплекса задач и, с другой стороны, знание реально существующего положения вещей в языковой коммуникации, т. е. знание языковых и коммуникативных навыков трудящихся, факторов, детерминирующих приобретение этих навыков, и факторов, тормозящих или стимулирующих коммуникацию. Далее, необходимо сформулировать требования, предъявляемые к коммуникативным процессам в промышленном производстве, наметить перспективы и тенденции их развития и выявить возможные пути активного влияния на характер коммуникативных процессов.

С целью получения эмпирических данных, группа сотрудников Центрального института языкознания АН ГДР провела исследование в связи с проблемой языковых и коммуникативных навыков, а также языкового поведения различных социальных групп. Работа по некоторым аспектам проводилась совместно с группой социологов секции экономики Берлинского университета им. Гумбольдта при участии сотрудников, осуществлявших практические исследования в рамках проекта исследования конкретных процессов и проблем развития социалистической демократии на промышленных предприятиях и крупных промышленных комбинатах³. До проведения этого исследования не было публикаций по социалистическим проблемам в сфере социалистического промышленного производства. Обращению к анализу наиболее существенных проблем языковой ком-

² Ср., например: W. K l i m e k, *Soziale Informationsstransformation im industriellen Leitungsprozess*, Dissert., Berlin, 1974.

³ Ср.: *Information zur soziologischen Forschung in der DDR*, Jg. 11, 1975, №№ 3, 5.

муникации в данной сфере должны были предшествовать выявление и формулирование этих проблем. Для этого сотрудники присутствовали на многочисленных рабочих собраниях, обсуждениях, дискуссиях, проводили разного рода опросы, наблюдения на месте и анализ документации. В процессе предварительных наблюдений обнаружился целый ряд лингвистических и коммуникативных проблем в сфере промышленного производства. Существенной задачей представляется выявление закономерностей возникновения этих проблем, с тем чтобы наметить возможные пути активного воздействия на языковые и коммуникативные процессы в сфере промышленного производства. Вопросы, связанные с языковой коммуникацией с сфере промышленного производства, можно сгруппировать вокруг следующих основных, правда, не равноценных по своей значимости, проблем:

1. Проблема качественных и количественных характеристик коммуникативных процессов, а именно: а) формы и особенности коммуникативных процессов в сфере производства, например, специфика коммуникативных ситуаций, видов коммуникации и ее содержания с учетом особенностей отдельных частей производства и коллективов; б) количественные характеристики коммуникативных отношений, например, вероятность, частота и продолжительность коммуникации в пределах отдельных коллективов и среди занятых на производстве людей, в) соотношение языковой и неязыковой коммуникации, например, роль неязыковых форм — символов, жестов и т. д., причина и ситуативная обусловленность их использования; г) соотношение устной и письменной форм коммуникации и проблемы ее трансформации.

2. Проблемы, связанные со спецификой группы в плане языкового владения и в плане использования языка, а также проблемы, связанные с выявлением причин возникновения этих специфических черт и с их интерпретацией. Решение вопроса о том, может ли и в каких пределах информация восприниматься, интерпретироваться и использоваться получателем, зависит прежде всего от языковых и коммуникативных возможностей партнера по коммуникации. Необходимо, в частности, выяснить: а) языковые навыки и умения, что проявляется в разнообразии текстов и сложности предложений, во владении словарным инвентарем, в характере стилистических напластований, в степени потери информации и ее сокращении, в степени владения литературной и разговорной формами языка; б) реализацию языковых умений и навыков в условиях коммуникативной ситуации, т. е. оценку того, в какой степени используются имеющиеся в распоряжении говорящего коммуникативные навыки и насколько они соответствуют встречающимся в данном промышленном предприятии коммуникативным ситуациям; в) субъективное отношение, если это находит непосредственно языковое выражение, например, в использовании местоимений: *мы/я мы/те наверху* (коллективность); г) преобразование информации, роль языка в процессе отбора, интерпретации, использования и последующей передачи информации; д) роль мастера в преобразовании информации. Мастер выступает важным связующим и передающим звеном, поэтому анализ всего объема коммуникации на уровне мастера или в пределах определенного звена промышленного производства в течение ограниченного отрезка времени мог бы способствовать раскрытию многих существенных вопросов.

3. Проблемы, связанные с языковым аспектом форм повседневного общения в разных социальных группах (сюда же относятся и разные формы обращения).

В процессе эмпирических исследований невозможно было учесть все указанные лингвистические и коммуникативные проблемы. Поэтому был избран путь выявления первостепенных проблем, которые могли бы быть

исследованы на примере небольшой группы. В своей работе авторы стремились использовать оправдавшие себя методы социологического анализа, как при постановке проблем и выдвижении гипотез, так и при оценке результатов. Данные собирались в письменном виде в соответствии с вопросами трех стандартных анкет, которые были предложены занятым на двух промышленных предприятиях рабочим, руководителям производства и ученикам (количество опрошенных составляло, соответственно, 340, 300 и 100 человек). Особое внимание при составлении анкет уделялось прагматическим и содержательным аспектам коммуникации и отношению к языковой форме информации. Центральным вопросом исследования стала лексика, причем в первую очередь собирались данные, касающиеся языковых потенций различных групп.

Анализ данных, связанных с языковым и коммуникативным проведением и с отношением к языковой форме коммуникации, проводился раздельно⁴. Проведенный опрос показал, что большинство руководителей производства отдают себе отчет в том, что среди социальных групп существуют различия в языковых навыках. Большинство из них учитывают эти различия по своему усмотрению при составлении информационных текстов. Многие руководители назвали среди недостатков поступающих к ним информационных текстов сложное построение предложений, абстрактность и частое использование «трудноопытных слов». У рабочих выработались определенные установки относительно языковой формы информации. Они также считают недостатком прежде всего сложное строение предложений и включение слишком большого числа иностранных слов, что особенно характерно для информации, получаемой от руководящего состава предприятия и от общественных организаций, а также для информации, содержащейся в статьях выходящих на данном предприятии газет. Трудности в процессе языковой коммуникации возникают в лексике в тех случаях, когда занятые в производстве люди сталкиваются с лексическими единицами, которые выходят за рамки словарного инвентаря, используемого ими на рабочих местах. В этой ситуации отчетливо проявляется тесная связь между развитием языковых навыков и характером трудовой деятельности. Вопрос о том, в какой степени использование, например, иностранных слов действительно затрудняет восприятие информации, невозможно раскрыть на основе полученных данных. Однако важно было провести точный анализ имеющихся сведений, чему способствовал опрос.

Та часть анкеты, которая касалась языка, включала следующие группы вопросов: 1) вопросы, связанные со знанием и использованием терминов из области политической экономии или иностранных слов; 2) вопросы, связанные со знанием сокращений; 3) вопросы, связанные со знанием терминологии; 4) вопросы, связанные с наиболее важными терминами из сферы социалистического соревнования, планирования, движения новаторов и т. д.

Исследование проводилось с применением различных видов вопросов и техники их составления. Проведение такого опроса имело целью выявить знание и владение словарным инвентарем, наиболее часто используемым в практике промышленного производства различными группами. Поскольку нет частотного словаря терминологии из области управления социалистическим народным хозяйством, отбор тематических групп и отдельных терминов, включенных в анкеты, проводился на основе словарного инвентаря, зафиксированного в печатных материалах обоих промышленных предприятий.

⁴ H. Schönfeld, Zur Rolle der sprachlichen Existenzformen in der sprachlichen Kommunikation, в кн.: «Normen in der sprachlichen Kommunikation», Berlin, 1977.

Отбору и анализу частотности употребления подлежали прежде всего наиболее часто встречающиеся иностранные слова, термины, а также сокращения в издаваемых на предприятиях газетах, плановой документации и т. д. Кроме того, была сделана попытка включить в анкеты термины, которые оказываются важными в случае участия опрашиваемых в делах управления и планирования и которыми необходимо овладеть, чтобы по-деловому участвовать в обсуждении производственных вопросов. Во внимание принимается также тот факт, что эти понятия могут оказаться предметом изучения других исследовательских групп на других предприятиях и даже в других странах социализма.

В жизни производственных предприятий все чаще употребляются термины из области политики и экономики, термины, использование которых в настоящее время уже больше не ограничивается людьми, занятыми в административной сфере. Благодаря научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в рамках СЭВ этот словарный фонд и в будущем будет пополняться. В анкету было включено 79 терминов из политико-экономической сферы или иностранных слов. Анкета включала следующие графы: 1) «знаю данное слово и могу его объяснить»; 2) «слышал это слово однажды, но не знаю его точного значения»; 3) «ни разу не слышал данного слова». В результате были получены данные, содержащие субъективную оценку владения иностранными словами опрашиваемых, т. е. данные о том, какие слова рабочим, по их собственному признанию, знакомы и какие могут быть объяснены лишь небольшой частью опрошенных рабочих. Полученные результаты были сгруппированы следующим образом: группа 1 (22%) — слова, помеченные большинством опрошенных как знакомые, например, *Export* «экспорт», *Kombinat* «комбинат», *Reserve* «резерв»; группа 2 (44%) — средняя группа, например, *Bilanzierung* «подведение баланса», *Effektivität* «эффективность»; группа 3 (34%) — слова, помеченные как знакомые лишь немногими опрошенными, например, *Stimulierung* «стимулирование», *Profilierung* «профилирование», *Finalproduzent* «конечный производитель».

Многие иностранные слова, которые используются в процессе промышленного производства, оказываются незнакомыми для целого ряда людей, занятых в производстве. Руководителям было предложено отметить в анкете те слова, которых они вынуждены, по возможности, избегать при производственном общении с рабочими, с тем чтобы обеспечить понимание. Сравнение показало, что опрошенные руководители, в большинстве своем мастера, предпочитают избегать при производственном общении с рабочими и учениками те слова, которые большинством рабочих были отмечены как «еще не встречавшиеся». В ряде случаев, однако, многие руководители переоценивают знание иностранных слов рабочими промышленных предприятий, например, таких слов, как *Konzeption* «концепция», *Kontingent* «контингент», *akut* «первоочередной».

Из результатов опроса не следует, однако, с очевидностью, отражают ли и в какой степени оценочные характеристики, данные самими рабочими и учениками, реальное положение вещей. Дать оценку степени владения иностранными словами оказывается не простым делом. Для получения объективных результатов необходимо было бы провести исследование реального языкового и коммуникативного поведения. Длительные наблюдения, магнитофонные записи или анализ текстов не могли быть предусмотрены в процессе исследования по различным причинам. И все же объективная оценка данных анализа возможна, поскольку суждение о знании многих иностранных слов строится не только на основе собственных оценок опрашиваемых, но и путем перепроверки данных с помощью других методов опроса. Например, опрашиваемым давались такие задания: запол-

нить предложение, идентифицировать значение слов, дать толкование того или иного слова. В одном задании предлагалось вставить в незаполненные места пяти предложений одно из пяти даваемых слов. Задание по идентификации значения предполагало определение правильности одного из трех приводимых значений. При толковании слов необходимо было определить значение определяемого слова через другое слово, дать краткое толкование его или употребить его, самостоятельно составив предложение. Сравнение результатов субъективной оценки и результатов выполнения заданий показывает, что в общем и целом субъективная оценка имеет реальную основу. Те из опрошенных, которые положительно оценили свои знания иностранных слов, выполнили указанные задания значительно лучше, чем другие. При этом задания по заполнению предложений были выполнены большим количеством опрошенных; с заданием по идентификации значения справилось меньшее количество опрошенных; еще более трудным оказалось задание на толкование слов. Оказалось также, что знания слов, которые можно часто услышать или прочитать, испытуемыми оцениваются непропорционально высоко. Все же следует учитывать, что во время общения на предприятии ситуация несколько иная, чем при выполнении заданий, предусмотренных анкетой. Исследование конкретного языкового поведения с привлечением такого рода опроса оказывается, таким образом, не излишним, а необходимым.

Данные анкетирования позволяют сделать некоторые выводы относительно факторов, определяющих знание иностранных слов. Среди этих факторов в первую очередь большую важность приобретает уровень образования (школьного, профессионального, общественно-политического), что подтверждается также существенными различиями во владении иностранными словами в пределах таких функциональных групп, как руководители производства, рабочие, ученики.

Другим предметом исследования явились сокращения. Как и в прочих областях жизни, в сфере промышленного производства используются многочисленные сокращения. Некоторые из них встречаются только в данной сфере, другие — и вне ее. С целью получения сведений относительно некоторых наиболее часто встречающихся сокращений из различных предметных сфер были составлены анкеты. В результате были обнаружены отчетливые различия. Для некоторых сокращений опрашиваемые называли точное значение, для других — лишь приблизительное. Причем в последнем случае сокращения не представляли особой трудности для понимания, хотя для творческого участия в общественной жизни необходимо точное представление о предмете или явлении, которое подчас не может быть подчеркнуто из контекста. Далее следует иметь в виду, что не все сокращения, употребительные в сфере промышленного производства, имеют на всех промышленных предприятиях одинаковую распространенность. Проведенное исследование, по данным которого на предприятии А был правильно расшифрован 1% всех сокращений, а на предприятии Б — 15%, подтвердило это положение. Знание употребляемых на данном производстве сокращений в значительной степени определяется необходимостью их употребления в устной и письменной формах, представлением о производственном процессе. Это положение отчетливо подтверждают различия между руководителями производства, рабочими и учениками, которые из 36 возможных очков при расшифровке предложенных сокращений в среднем набрали 30, 25 и 15. Эти различия предопределяются знанием или же незнанием некоторых сокращений: несколько сокращений было знакомо почти всем опрошенным⁵, другие же лишь некоторым из

⁵ Например, BBS = Betriebsberufsschule («профессиональная школа при заводе»), BSG = Betriebssportgemeinschaft («спортивное общество при заводе»).

них⁶. При расшифровке отдельных сокращений отмечались отчетливые различия между руководителями, рабочими и учениками, с одной стороны, и между опрошенными обоими предприятиями, например, среди учеников. На производстве сокращения используются также в процессе коммуникации между людьми, принадлежащими к разным группам. Неверная оценка знаний может в этом случае затруднить или помешать пониманию. Знание сокращений достигается различными путями. Особенно отчетливо это проявляется у опрошенных учеников, у которых наблюдается интенсивное овладение сокращениями из года в год в процессе обучения. При усвоении знаний взаимодействуют различные факторы, а именно: уровень школьного, профессионального образования и общественно-политической подготовки, практическая деятельность, выполнение общественно-полезных функций, интересы к общественной и производственной жизни.

Еще одной сферой лингвистического исследования стали термины. В пределах какого-либо предприятия существуют различные социальные группы, которые формируются на основе одной общей профессии. При этом используется определенный набор специальных и профессиональных слов, который в процессе коммуникации на предприятии играет важную роль. Углубляющийся процесс разделения труда вызывает дальнейшую дифференциацию в характере использования и владения этой лексикой. Многие из этих терминов не ограничиваются в сфере социалистического промышленного производства только производственным уровнем или рамками определенной профессии. Напротив, с этими терминами, которые не используются в повседневном общении непосредственно на рабочем месте, так или иначе соприкасаются занятые в производстве люди — через газеты, благодаря деятельности в общественных организациях и т. д.

Термины, по которым проводился опрос на одном из предприятий, имеют не одинаково широкое распространение. Опрашиваемым предлагалось дать толкование того или иного термина. Ответы обнаружили отчетливое различие в знании или незнании терминологии в разных профессиональных кругах. Среди руководителей производства, рабочих и учеников это явление также наблюдается. Однако чаще отмечается различная степень владения терминологией. Так, некоторым из опрашиваемых предлагавшиеся термины вовсе не были известны. Ряд опрошенных предлагал для этих терминов разговорные соответствия или описывал их, другие, напротив, заменяли их научными соответствиями или даже химическими формулами. Например, слово *Sinter* «агломерат» было либо неизвестно, либо описывалось как «отходы при прокате стали», либо заменялось сочетанием «окись железа» и даже химической формулой Fe_2O_3 . В ряде случаев термин понимался опрашиваемыми не в полном объеме значений, и это не вело к осложнению процесса коммуникации. Для разных групп опрошенных достаточной для понимания является часть содержательного значения. Для современного крупного промышленного производства характерно использование нескольких терминологических слоев, например, научной, технической терминологии, жаргона, распространенного на данном предприятии или в данной социальной группе. Чтобы осуществить без помех коммуникацию, нужно построить ее с учетом этих терминологических слоев, и руководители производства должны знать эти проблемы. Владение специальными терминами зависит от профессии, уровня образования, специальной подготовки, времени работы на предприятии, характера рабочего места (рабочее место закрепленное или непостоянное).

⁶ Например, SAG = Sozialistische Arbeitsgemeinschaft («социалистический кружок»).

Проведенные исследования показали, что в зависимости от состояния развития языковых и коммуникативных навыков можно выделить определенные различия между социальными группами, наличие которых затрудняет процесс коммуникации в сфере промышленного производства. В результате этого стремление к активной деятельности на предприятии не может реализоваться в полной мере. Поэтому необходимо проведение мероприятий, благодаря которым можно было бы языковые и коммуникативные потенции привести в соответствие с выдвигаемыми требованиями. Это можно реализовать, например, в рамках общеобразовательной подготовки и повышения квалификации, путем привлечения к решению вопросов управления и планирования. С другой стороны, руководители производства должны непременно знать и учитывать различия в степени подготовки находящихся в их подчинении трудящихся.

Перевела с немецкого *Бабенко Н. С.*

ЩЕРБАК А. М.

О СПОСОБАХ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

0. Элементарные морфологические единицы, используемые в тюркских языках, несколько отличаются от аналогичных единиц многих других языков: их специфика тесно связана с агглютинацией — особым приемом конструирования словоформ и выражения грамматических значений¹.

0,1. Единое, общепризнанное определение агглютинации отсутствует, хотя прилагалось немало усилий дать подробный перечень ее признаков² и провести четкую границу между ней и флексией. К сожалению, научное решение проблемы было осложнено приводящими обстоятельствами, прежде всего трактовкой агглютинации как примитивного по сравнению с флексией, способа изменения слова. Не только предшественники И. А. Бодуэна де Куртене, но и некоторые его современники воспринимали развитие языковых форм не иначе, как в виде постепенного перехода «от самой несовершенной „изоляции“ через более совершенную „агглютинацию“ к самой совершенной „флексии“»³. «Флексия и агглютинация, как и аморфно-синтетическое состояние, — писал Н. Я. Марр, — три хронологически последующие трансформации, причем среди них флективная трансформация представляет наиболее развитой тип человеческой речи»⁴.

Различие флективных и агглютинативных словоформ в структурном, а отдельных морфем — в семантико-функциональном отношении для многих языковедов прошлого столетия явилось поводом считать, что способы выражения грамматических значений во флективных и агглютинативных языках принципиально различны⁵: преобладающая раздельность агглютинативных морфем и кажущаяся в связи с этим близость словоформ к синтаксическим сочетаниям были восприняты и истолкованы ими как признаки выражения грамматических значений самостоятельными словами или как отсутствие грамматической формы вообще⁶. Еще О. Бётлингк на большом количестве примеров доказал несостоятельность этой точки зрения. Критикуя высказывание Г. Штейнтала о том, что «верхнеазиатцы выражают категорию местного и дательного падежей корнями, означающими понятия „стоять, пребывать“, он справедливо квалифицировал его

¹ См.: А. М. Щербак, Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Имя, Л., 1977, стр. 14—15.

² См., например: А. А. Холодович, Из истории японской лингвистики. Агглютинативная теория и проблема родственных связей японского языка, ИАН ОЛЯ, 1941, 1, стр. 94—96; V. Šk al i ě k a, Ein «typologisches Konstrukt», «Travaux linguistiques de Prague», 2, 1966, стр. 158—159.

³ И. А. Бодуэн де Куртене, Заметки на полях сочинения В. В. Радлова, «Живая старина», II—III, СПб., 1909, стр. 196.

⁴ Н. Я. Марр, Об яфетической теории, «Избр. работы», III, М.—Л., 1934, стр. 10.

⁵ См.: Fr. S ch l e g e l, Über die Sprache und Weisheit der Indier, Heidelberg, 1808, стр. 41—42.

⁶ См.: H. S t e i n t h a l, Die Classification der Sprachen dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee, Berlin, 1850, стр. 72.

как недоразумение, явившееся следствием поверхностного знакомства с соответствующими языками. При этом О. Бётлингк несколько не сомневался в лексических истоках аффиксальных морфем и выступал лишь против той решительности, с которой так называемым приставочным языкам приписывалась способность образовывать форму «материальными словами»⁷.

Своеобразной реакцией на высказывания Ф. Шлегеля, Г. Штейнталя и А. Потта стало стремление преуменьшить размеры различий между формой флективных и агглютинативных языков и, по существу, свести их к нулю. Начало было положено И. А. Бодуэном де Куртене. В дальнейшем это стремление поддерживалось специалистами в области алтайских языков и в наши дни особенно проявилось в трудах А. Н. Кононова, убежденно отстаивающего тезис о том, что «однофонемные аффиксальные морфемы, из которых состоит большинство формантов тюркских (~ алтайских) языков, ничем не отличаются от флексии индоевропейских языков...»⁸ и что способ образования аффиксальных морфем в тюркских языках следует определять как агглютинативную флексию⁹. С другой стороны, реакция на упомянутые выше высказывания выразилась в попытках доказать неправомочность отнесения тюркских языков к агглютинативным путем выбора в качестве основной опоры не морфологических, а синтаксических особенностей. «В лингвистической классификации, исходящей из внешнего типа языка, — пишет А. Дилачар, — термин „агглютинативный“ применительно к тюркским языкам совершенно непригоден. Типичный пример, на который столь часто ссылаются, *sev-iş-tir-il-e-me-mek* показывает морфологию и последовательность инфиксов-суффиксов, но не имеет никакого отношения к синтаксису. Тюркский синтаксис может быть охарактеризован, по-видимому, как комплексивный в отличие от синтаксиса индоевропейских языков, который является линейным»¹⁰. Бесспорно, тюркский синтаксис отличается большой комплексивностью: в рамках элементарных построений, без применения специальных связующих средств, передается содержание, которое в индоевропейских языках принято выражать при помощи сложных синтаксических структур, ср. турецк. *oraya gideceğini bilerek ben de İstanbula gittim* «Зная, что он поедет туда, и я отправился в Стамбул»; узб. *uniñ zat olganidan kejin Toşkentga ketganini hozirgina bildim* «Я только что узнал, что он после того, как получил письмо, уехал в Ташкент». Однако понятие агглютинации всегда ассоциировалось не с синтаксическими, а с морфологическими особенностями¹¹. Не меняет положения и такая интерпретация морфологии, которая включает в нее синтаксис¹². Дело в том, что словоформа и предложение структурно нередко противоплагаются друг другу. Так, преобладающий тип построе-

⁷ О. Бётлингк, О языке якутов. Опыт исследования отдельного языка в связи с современным состоянием всеобщего языкознания, «Уч. зап. АН по Первому и Третьему отделениям», I, 4, 1853, стр. 379—380.

⁸ А. Н. Кононов, О природе тюркской агглютинации, ВЯ, 1976, 4, стр. 7.

⁹ Там же, стр. 17.

¹⁰ А. Дилачар, Заметки о синтаксисе и грамматических функциях в турецком языке, в кн.: «Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова», Л., 1976, стр. 66.

¹¹ Ср. у А. А. Холодовича: «Как правило, при определении понятия агглютинативного строя языков исходным моментом является слово. Именно в слове, в его структуре все исследователи стремятся найти объективные признаки этого особого строя языков» (А. А. Холодович, указ. соч., стр. 94).

¹² Ср. у И. А. Бодуэна де Куртене: «Под „морфологией языка“ следует понимать построение языка в самом обширном смысле этого слова, т. е. не только морфологию в тесном смысле, или построение слов (Wörterbau, Wörtermorphologie), но кроме того синтаксис, или построение предложения (Satzbau, Satzmorphologie)» (указ. соч., стр. 201).

ния словоформы в тюркских языках — линейный, тип же синтаксической структуры — комплексивный, в индоевропейских языках, наоборот, комплексивным является, по преимуществу, тип построения словоформы, тогда как в синтаксисе преобладает линейность.

После сделанных замечаний может показаться, что выделение агглютинации, как особого морфологического типа, недостаточно оправдано и что как раз этим объясняется отсутствие единого, общепризнанного определения ее. В действительности дело обстоит не так.

Если отвлечься от оценок и подходов, не имеющих прочной опоры в языковом материале, или опирающихся на факты, выходящие за пределы морфологии, то нетрудно будет найти почву для сближения по вопросу о сущности агглютинации большинства языковедов. Такую почву создает признание относительно полного соответствия количества морфологических показателей количеству грамматических значений¹³: усложнение формы производится посредством последовательного наращивания элементов, а не путем внутренних преобразований или внешней флексии. Соответствие, о котором идет речь, придает словоформе видимость упорядоченного синтаксического сочетания с установившимся местом, функцией и значением каждого члена. Возьмем, например, киргизскую словоформу *qazlarimdi* «моих гусей». В ней три аффиксальных морфемы: *-lar* (мн. ч.), *-im* (принадлежность, 1-е л. ед. ч.), *-di* (вин. пад.). Столько же аффиксальных морфем в турецкой словоформе *evlerinizden* «из ваших домов»: *-ler* (мн. ч.), *-iniz* (принадлежность, 2-е л. мн. ч.), *-den* (исходн. пад.). Не велика ошибка, если в целях сравнения с флективными языками сочетания аффиксов типа *-lar-im-di*, *-ler-iniz-den* будут названы окончаниями, но было бы большим заблуждением думать, что между ними и окончаниями флективных языков нет никаких различий. При этом необходимо иметь в виду, что сочетания последовательно расположенных морфологических элементов типичны для агглютинативных языков и, хотя пример, приведенный А.-К. Орусбаевым из киргизского языка — *qōpsuzdandirilbayandıqtariñizdardan* (*qōpsuz-dan-dir-il-ba-yan-diq-tar-iñiz-dar-dan*) «из-за того, что вы не обеспокоили себя»¹⁴ — является скорее нарочито созданным курьезом, чем реально существующим фактом, он, тем не менее, допустим с точки зрения действующих правил и хорошо иллюстрирует принципы построения словоформ в агглютинативных языках, в отличие от флективных и изолирующих.

Разумеется, разграничение морфологических типов не должно служить поводом для суждений о превосходстве одного типа над другим, так как нет никаких оснований считать эволюцию грамматических форм односторонне направленной. У языков одного типа могут развиваться черты, свойственные языкам других типов: в изолирующих и флективных языках получают распространение приемы агглютинации, а в агглютинативных — случаи образования форм, напоминающие флексию, внешнюю и внутреннюю¹⁵. Изменяется также степень фузии «материальных» и «формальных» элементов, лежащая в основе традиционной морфологической классификации. Но это не означает, что изолирующие языки непременно становятся агглютинативными, а агглютинативные — флективными.

¹³ См.: N. P o r r e, On some cases on fusion and vowel alternation in the Altaic languages, CAJ, XIX, 4, 1975, стр. 307, 320.

¹⁴ См.: А.-К. О р у с б а е в, Из материалов экспериментального исследования киргизского ударения, СТ, 1972, 4, стр. 118.

¹⁵ Ср. у Л. Тевьера: «Агглютинация — явление всеобщее» (L. T e s n i è r e, Elements de syntaxe structurale, Paris, 1959, стр. 32). См. также: А. К. Б о р о в к о в, Агглютинация и флексия в тюркских языках, в кн.: «Памяти академика Л. В. Щербы», Л., 1951, стр. 122; К. Н. S c h m i d t, Flexion and Agglutination in der Entwicklung indogermanischer Sprachen, «Etudes finno-ougriennes», 8, Budapest, 1971, стр. 255—258.

Суровый приговор, который вынес морфологической классификации языков А. Мейе¹⁶, был отчасти вызван крайностью суждений и выводов, сделанных некоторыми из ее сторонников. Считать его окончательным решением вопроса о научном значении морфологической классификации, по меньшей мере, преждевременно.

О.2. Следствием того, что аффиксальные морфемы тюркских языков имеют ограниченную, строго определенную семантико-функциональную нагрузку, является их относительная автономность и устойчивость. Слабо развиты фузионные процессы, медленно разрушается этимологическая форма аффиксальных морфем: на протяжении более чем тысячелетия они не претерпели существенных изменений и полностью или почти полностью сохранили свой внешний облик, вследствие чего тюркские языки в значительно больших размерах, чем, например, индоевропейские, обнаруживают следы происхождения из самостоятельных слов. Последнее обстоятельство оказывает заметное влияние на характер грамматических исследований. Многие тюркологические работы, посвященные анализу и описанию той или иной формы, включают в себя этимологические экскурсы или являются преимущественно этимологическими. Существует более десяти этимологий аффикса множественного числа *-lar*, несколько этимологий аффиксов дательного, родительного, винительного и исходного падежей, предложены и подробно прокомментированы этимологические объяснения аффиксов, образующих формы неполноты признака прилагательных, временные формы, формы косвенных падежей, залоговые формы и другие.

В ходе этимологических поисков сталкиваются различные взгляды как на частные вопросы звуковых соответствий и происхождения отдельных аффиксов, так и на общие проблемы развития грамматической формы. В основе возникающих в связи с этим теоретических споров лежат разные оценки возможностей и задач этимологического исследования аффиксальных морфем, а также разные определения способов и исторической глубины их образования.

Ранее мы изложили свою точку зрения на целесообразность подобного исследования и на его задачи¹⁷. Суть сделанных нами выводов заключается в том, что этимологические разыскания в области морфологии сопряжены с риском случайных, поверхностных сближений и что они допустимы лишь тогда, когда в распоряжении исследователя имеются промежуточные формы. Сделаем пояснения. Господствующей тенденцией преобразования самостоятельных слов в морфологические элементы является их упрощение, стяжение до одного слога или одного звука. Ограниченность фонемного состава аффиксальных морфем, с одной стороны, и относительная беспредельность их количества, с другой, делают неизбежным возникновение аффиксальной омонимии, внутриязыковой и межъязыковой. Разные по происхождению аффиксы внешне оказываются совпавшими в разных тюркских языках и даже в одном и том же языке, например аффиксы винительного и родительного падежей в карачаево-балкарском, кумыкском языках и в диалектах узбекского языка, аффиксы винительного и дательного падежей в чувашском языке, исходного и творительного (орудного) — в качинском диалекте хакасского языка и т. д. Более того, генетически разные аффиксы могут совпасть или сбли-

¹⁶ A. Meillet, *Linguistique historique et linguistique générale*, Paris, 1921, стр. 76. Откровенно отрицательная оценка морфологической классификации содержится также в кн.: O. Jespersen, *Language, its nature, development and origin*, New York, 1949, стр. 367 и сл.

¹⁷ См.: А. М. Щербак, *Методы и задачи этимологического исследования аффиксальных морфем в тюркских языках*, СТ, 1974, 1, стр. 31 и сл.

зяться и по внешнему облику, и по значению, ср. аффикс множественного числа *-t* (из монгольского) в древнетюркских формах *tegit* «тегины, принцы», *targat* «тарханы»¹⁸, в якутских *tojot* «господа», *zotut* «госпожи» и аффикс множественного числа *-at* (из арабского через персидский) в ст.-узб. *baʔat* «сады», *begāt* «беки», ст.-турск. *aʔawat* «аги»¹⁹.

Задачи этимологического исследования аффиксальных морфем разнообразны. Такое исследование необходимо как вспомогательный источник получения исторической информации, когда применение традиционного сравнительного метода не дает результатов. Кроме того, оно служит целям изучения истории грамматической формы вообще. В тюркских языках и диалектах представлены неодинаковые уровни грамматикализации морфологических элементов, что облегчает этимологическое объяснение их и делает его в отдельных случаях достаточно надежным. Именно это имел в виду Г. Хирт, когда писал, что для выяснения природы индоевропейской флексии было бы полезно обратиться к языкам, которые позволяют наблюдать ее развитие, и ссылаясь на грамматику якутского языка О. Бётлингга²⁰.

Важнейшие условия целесообразности и полезности этимологизации аффиксальных морфем — следование принципам историзма, максимальная доказательность и осторожность. Без строжайшего соблюдения этих условий трудно рассчитывать на успех, ибо, как заметил Э. В. Севортян, «в области этимологизации форм в распоряжении тюрколога пока нет достаточно надежных установок, гарантирующих исследование от субъективизма и произвола»²¹.

1.0. Происхождение морфологических элементов и их развитие не относится к числу проблем, постоянно находящихся в центре внимания лингвистов. И все же к настоящему времени накопилось много работ, посвященных рассмотрению этой проблемы, и окончательно оформились взгляды на пути ее решения. Суммируя все достигнутое в указанной области, можно сказать, что в числе способов образования морфологических элементов обычно упоминаются 1) агглютинация, 2) адаптация, 3) секрестия, 4) фонемная альтернатива, 5) гармония гласных, 6) «фузия». Часть их охарактеризована в статье В. Таули²². Поэтому сделаем лишь общие замечания и рассмотрим подробнее три последних способа, важность которых для тюркских языков подчеркивают представители нынешнего поколения тюркологов.

Концепция агглютинативного происхождения аффиксальных морфем — одна из старейших и, пожалуй, самая распространенная. Согласно этой концепции, самостоятельные лексические единицы сначала использовались как зависимые компоненты в составе грамматикализованных сочетаний, а затем превратились в служебные слова. В дальнейшем из служебных слов развиваются аффиксальные морфемы²³.

Под адаптацией подразумевается переосмысление лексических элементов: вначале существовали только корни; далее, из некоторых корней

¹⁸ См.: П. М. Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-Тегина, ЗВО РАО, XII, 2—3, 1899, стр. 80.

¹⁹ См.: С. В. Гюскельманн, Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens, 1—7, Leiden, 1951—1954, стр. 151.

²⁰ Н. Нирт, Über den Ursprung der Verbalflexion im Indogermanischen, IF, XVII, 1904/1905, стр. 38, 40, 41, 84.

²¹ Э. В. Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования, М., 1962, стр. 5.

²² В. Таули, The origin of affixes, FUF, XXXII, 1—3, 1956, стр. 170 и сл.

²³ См.: Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М.—Л., 1940, стр. 51—53; В. Д. Аракиев, О превращении лексических единиц в аффиксальные морфемы, ФН, 1959, 4, стр. 107—118.

образовались дейктические местоимения, слившиеся с корнями; позднее дейктические компоненты слов трансформировались в суффиксы, а из суффиксов развилась флексия²⁴. Адаптации приписывалась ведущая роль в формировании индоевропейской флексии и таким образом подчеркивалось принципиальное различие между способами образования грамматической формы во флективных и агглютинативных языках.

Секреция — образование аффиксальных морфем и флексии из первоначально недифференцированного континуума путем наделения его отдельных частей грамматическими значениями и присоединения их к другим словам²⁵. Ср. у Л. Н. Харитонов: осознание конечных звуков глагольных основ как формальных элементов²⁶. О. Есперсен назвал разновидностью секреции случай «отторжения» суффиксом одного или нескольких звуков от лексем, к которым он присоединялся²⁷.

О фонемной альтернации принято говорить, когда вопрос стоит о происхождении внутренней флексии. Здесь выделяют два этапа: «присоединяемый гласный формант вызывает ассимиляцию гласного соседнего, корневого слога (обычно неударного), и затем становится излишним, так как соответствующая грамматическая категория уже отражена изменением корневого гласного, и отпадает»²⁸. Понятие фонемной альтернации, как одного из способов образования грамматической формы, включает в себя аблаут.

Гармония гласных получила статус «лексико-фонологической системы», или «своеобразной и специфической внутренней флексии основ»²⁹ в связи с попыткой объяснить наличие в тюркских, монгольских и других языках пар слов, образующих сингармонические параллелизмы. Считая гармонию гласных ранним способом выражения грамматических значений, Г. Д. Санжеев подкрепляет свою точку зрения ссылками на Т. А. Бертагаева, который говорит об «изменении фонем в зависимости от значимости слов»³⁰, и на Б. Я. Владимирцова, утверждавшего, что в монгольском языке «такие параллели, как *axxā*, „старший, старший брат“ // *exxē* „старшая, мать“, сохранились от праязыкового состояния, когда при помощи сингармонизма монгольский язык производил различие по родам»³¹.

Способ образования аффиксов, именуемый «фузией» (использование общеизвестного термина в необычном значении), неоднократно упомянут в работах А. Н. Кононова и определяется им как «слияние в единый формант двух или нескольких однофонемных аффиксов, происхождение которых теряется во мгле тысячелетий»³². «Можно с полным основанием утверждать..., — пишет А. Н. Кононов, — что большинство тюркских формо- и словообразующих аффиксов обязаны своим происхождением не превращению лексической единицы в аффиксальные морфемы, а фузии,

²⁴ См.: A. L u d w i g, *Agglutination oder Adaptation*, Prag, 1873, стр. 27, 28, 109. См. также статью И. Ш м и д т а, опубликованную на венгерском языке в журн. «*Nyelvtudományi*», III (1914) и IV (1912).

²⁵ См.: О. Е с п е р с е н, указ. соч., стр. 384.

²⁶ Л. Н. Х а р и т о н о в, К вопросу о происхождении некоторых глагольных аффиксов в якутском языке, «Уч. зап. ИЯЛИ Якутского филиала АН СССР», 3, 1955, стр. 148—149.

²⁷ О. Е с п е р с е н, указ. соч., стр. 386.

²⁸ См.: И. М. Д ъ я к о н о в, *Языки древней Передней Азии*, М., 1967, стр. 201.

²⁹ См.: Г. Д. С а н ж е е в, *Сравнительная грамматика монгольских языков*, I, М., 1953, стр. 116, 118.

³⁰ Т. А. Б е р т а г а е в, *Флексия основ в агглютинативных языках*, «Труды по филологии», I, Улан-Удэ, 1948, стр. 99.

³¹ Б. Я. В л а д и м и р ц о в, *Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхского наречия. Введение и фонетика*, Л., 1929, стр. 133.

³² А. Н. К о н о н о в, указ. соч., стр. 7—8.

т. е. прочному слиянию (сплавлению) двух или нескольких однофонемных (не считая „соединительного“ гласного) морфем в единое сложное целое»³³.

Не все перечисленные выше способы хорошо прослежены на фактическом материале и нельзя с уверенностью сказать, что все они использовались.

Не вызывает сомнений распространенность агглютинативного способа, так как имеются десятки убедительных примеров образования словоформ из синтаксических сочетаний путем постепенного перехода от отношений самостоятельных лексических единиц (имя + имя, имя + глагол, глагол + глагол³⁴) к отношениям самостоятельных и служебных слов (имя + послелог именного или глагольного происхождения, имя + + вспомогательный глагол, глагол + вспомогательный глагол) и затем к полной грамматикализации. Образованием грамматических форм из синтаксических сочетаний указанного типа объясняется ставшая нормой для тюркских языков последовательность расположения морфем: слева — корневая, справа — аффиксальные (при отсутствии аффиксов расположенных перед корневой морфемой).

Скорее всего агглютинативный способ не был единственным. Вполне допустимо активное использование способа адаптации, самостоятельно или в сочетании с агглютинативным способом. Противопоставление агглютинативной и адаптации как способов, разграничивающих тюркские и индоевропейские языки в плане образования грамматической формы, пока остается гипотезой. Основная трудность принятия ее или доказательства ее несостоятельности — в отсутствии ясного представления о том, какую роль сыграла адаптация в возникновении индоевропейской флексии. Изменения форм, напоминающие флексию, возможны и в рамках агглютинативного способа. Они возникают вследствие наложения одного морфологического элемента на другой, ср. азерб. *jazaram* „буду писать“ и *jazıram* (< *jazıjorum* ~ *jazıjoram* < *jaza jorurum*) „пишу“; турецк. *gidersen* „пойдешь“ и *gidersen* (< *gidersesin*) „если пойдешь“; хакас. *ojnadıj* „ты играл“ и *ojnadar* (< *ojnadıjlar* < *ojnadıjlar*) „вы играли“³⁵.

Поскольку обоснование возможности выделения аффиксов и флексии из первоначально недифференцированного континуума (секреция) пока отсутствует, о подобном способе можно говорить только в плане предположений и догадок.

Фонемная альтернатива — достаточно правдоподобный способ образования системы морфологических противопоставлений. Каковы бы ни были суждения об аблауте, единодушно признается то, что в основе его лежат позиционно обусловленные фонетические чередования.

В тюркских языках ссылок на аблаут объясняют различия в огласовке вопросительного местоимения и падежных форм личных и указательных местоимений³⁶, ср. тув. *qıt*, хакас. *ket*, якут. *kim* „кто“; турецк. *ben* „я“, *mana* „мне“; якут. *bi* „этот“, *manıxa* „этому“, *manı* „этого“, *mantan* „от этого“. Характер и масштабы указанных различий подчеркиваются выделением местоименного типа склонения.

³³ А. Н. К о н о н о в, О фузии в тюркских языках, в кн.: «Структура и история тюркских языков», М., 1971, стр. 116.

³⁴ В данном случае наименование «глагол» является условным: глагольные формы развились из имен действия.

³⁵ См.: «Грамматика хакасского языка», М., 1975, стр. 188.

³⁶ См.: А. G a b a i n, Die Pronomina im Alttürkischen, ZDMG, 100 (NF 45), 1951, стр. 585 и сл.; К. Н. М е n g e s, The Turkic Languages and Peoples. An introduction to Turkic studies, Wiesbaden, 1968, стр. 80, 120—121; G. D o e r f e r, Proto-Turkie: reconstruction problems, «Türk Dili Araştırmaları Vllığı-Belleten 1975—1976'dan ayrı basım», Ankara, 1976, стр. 11.

Не отрицая возможности проявления аблаута на ранних стадиях развития тюркских языков, мы все же должны согласиться с тем, что в них могла быть представлена лишь самая начальная ступень ее, характеризующаяся зачатками фонемной альтернации (*u/a, e/i, e/a*), без функциональной нагрузки. Возьмем, например, чередование гласных *e* и *i* в личных местоимениях 1 и 2-го лица единственного и множественного числа: др.-тюрк. *ben* „я“, *sen* „ты“, *biz* „мы“, *siz* „вы“³⁷. Различие между ними не ограничивается качеством огласовки и, кроме того, нет уверенности в том, что корневыми элементами указанных местоимений являются *bä, sä, bi, si*, а аффиксальными — *n* и *z*. Другой пример — чередование *e* и *a* в формах именительного и дательного падежей личных местоимений 1 и 2-го л. ед. ч., ср. др.-тюрк. *ben* „я“ — *baça* „мне“, *sen* „ты“ — *saça* „тебе“; турецк. *ben* — *bana*, *sen* — *sana*. Это чередование возникло вследствие регрессивной ассимиляции гласных, сопутствовавшей присоединению к местоимениям *ben* и *sen* послелого *qaru* ~ *γaru*: *ben* + *γaru* > *banγaru* > *baγaru* > *baγar* > *baça*, ср. карач.-балк. *bügün*, хакас. *pün* «сегодня» (<*pu kün*). То, что переход местоимений *ben* и *sen* из палатального ряда в велярный происходил только в дательном падеже и показателем дательного падежа является не гласный *a* в основе, а аффикс *-a*, подчеркивает локальность данного явления и неправомерность его квалификации как одного из признаков своеобразия и автономности местоименной парадигмы.

Факты, привлекаемые Л. Базеном из области образной лексики, ср. турецк. *parilda-* „блестеть, сверкать“, *pürilda-* „слабо светить“³⁸, также не относятся к «настоящему» аблауту, так как функция того или иного типа огласовки образных слов, дающих немало примеров чередования гласных, не грамматическая, а естественная, изобразительная («*Naturlaut*»).

Источник сингармонических параллелизмов — вариантность звучания, возникающая в результате перехода слов из одного ряда в другой. Появление вариантов не обязательно ведет к исчезновению исходных форм. Варианты могут выступать параллельно и в конечном итоге получают определенную семантическую нагрузку, ср. татар. *acı* „горький“, *acı* „кислый“³⁹. Доказательством того, что существование сингармонических параллелизмов не связано с использованием в далеком прошлом гармонии гласных как «своеобразной и специфической внутренней флексии основ», служит характер значений, выражаемых вариантными формами: это оттенки лексических значений исходных форм⁴⁰. Мы не знаем ни одного примера регулярного выражения в тюркских языках таким способом какого-либо грамматического значения.

Относительно «фузии» в том толковании, которое дает ей А. Н. Кононов⁴¹, следует заметить, что она получила широкое распространение. Наблюдаются сочетания и однозначных, но разных по происхождению, и совершенно одинаковых аффиксальных морфем, ср. алт. *qıscaγaγ*

³⁷ К. Н. М е н г е с, Ablaut in Altaic?, UAJb, XXXVIII, 1966, стр. 1.

³⁸ L. B a z i n, Y a-t-il en turc des alternances vocaliques?, UAJb, XXXIII, 1—2, 1961, стр. 14—15. Ср.: Э. В. С е в о р т я н, Фонетика турецкого литературного языка, М., 1955, стр. 123; е го же, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, стр. 433.

³⁹ См.: Д. Г. К и е к б а е в, Вариантные слова, или сингармонические параллелизмы, в башкирском языке, «Уч. зап. Башкирского ГИИ», V, Серия филологическая, 1955, 1, стр. 145.

⁴⁰ Ср.: Э. В. С е в о р т я н, Фонетика турецкого литературного языка, стр. 123.

⁴¹ См. выше. Традиционно понимаемая фузия противопоставляется агглютинации как «силлавирующий» тип «сопоставляющему» типу соединения морфем. См.: А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова, в кн.: «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965, стр. 70 и сл.

(*qis-ča-yaş*) „девочка“; башк. (диал.) *altışarđan* (*altı-şar-đan*) „по шести“⁴²; татар. (диал.) *birsisi* (*bir-i-si-si*) „один из них“⁴³; тув. *bisterler* (*bis-ter-ler*) „мы“, *olarlar* (*o-lar-lar*) „они“⁴⁴; якут. *xotuttar* (*xotun — xotut-tar*) «госпожи». Однако «фузия» в указанном толковании не сопоставима с другими способами, так как слияние нескольких аффиксальных морфем в одну, с переразложением и упрощением, происходит независимо от способа образования морфологических показателей.

1.1. Сделанный обзор показывает, что в настоящее время тюркологи придерживаются в основном двух точек зрения на природу форм словоизменения и словообразования в тюркских языках. Первая из них заключается в предпочтительном отношении к способу образования морфологических показателей из самостоятельных слов, в предпочтительном, потому что данная точка зрения допускает ограниченное использование и других способов. Суть второй точки зрения — в утверждении, что большинство аффиксов тюркских языков появилось не путем преобразования лексических единиц, а благодаря прочному слиянию нескольких «однофонемных» морфем в единое сложное целое⁴⁵. Негативная часть этой точки зрения на фоне множества, преимущественно безуспешных, попыток этимологизации тюркских аффиксов кажется убедительной. Иначе выглядит позитивная часть. Она не ясна и фактически отсутствует: ничего не сказано о том, как появились «однофонемные» морфемы. Приведем примеры.

С точки зрения сторонников агглютинативного способа не лишено оснований сопоставление аффикса неполноты признака прилагательных *-raq* со словом-частицей или послелогом *āraq ~ araq ~ arıq*⁴⁶ (реконструируемое лексическое значение — «чуть-чуть; немного; едва, почти»), ср. алт. *sarvarıq*, к.-калп. *sarıraq*, тув. *sarıy āraq*, хакас. *sarıy arax* „желтоватый“. Аффикс направительного падежа в хакасском языке *-sā(r) ~ -zā(r) ~ -sa(r) ~ -za(r)* возводится ими к послелогу *sarı* (<*sarı* „сторона“, ср. хакас. диал. *tigi sarında* „на той стороне“, *sol sarı* „левая сторона“⁴⁷). К послелогам возводятся также общетюркский аффикс дательного падежа *-qa ~ -ya* (<*-qarı ~ -yarı ~ -qārı ~ -yārı* <**qārı* „в сторону, в направлении“ <**qārı* „вытянутая рука“, ср. др.-тюрк. *qarı* „рука от кисти до плеча“, МК III 223; узб. *qarı* — мера длины, 140—145 см.) и аффиксы неполноты признака прилагательных *-sīman ~ -suman, -sīmaq ~ -sumaq* (<**sīman, *sīmaq* „похожий, подобный“, ср. башк. диал. *hīmaq*, кирг. *sīmaq*).

Для тех же, кто в той или иной мере придерживается второй точки зрения, аффикс *-raq* — сочетание двух уменьшительных аффиксов, *-ga* и *-q*⁴⁸, двух показателей собирательной множественности, *-r* и *-q*⁴⁹ или

⁴² См.: Н. Х. Максимова, *Говор айских башкир*. АКД, М., 1964, стр. 17.

⁴³ См.: Н. Б. Бурганова, *Особенности говора татар нагорной стороны ТА ССР*, в кн.: «Материалы по диалектологии», Казань, 1955, стр. 40.

⁴⁴ См.: Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмах, *Грамматика тувинского языка*. Фонетика и морфология, М., 1961, стр. 216.

⁴⁵ См.: А. Н. Кононов, *О фузии в тюркских языках*, стр. 116.

⁴⁶ См.: Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмах, указ. соч., стр. 186.

⁴⁷ См.: Д. Ф. Патачкова, *Категория падежа в качинском диалекте хакасского языка*, в кн.: «Вопросы диалектологии тюркских языков», IV, Баку, 1966, стр. 153.

⁴⁸ См.: А. Н. Кононов, *О фузии в тюркских языках*, стр. 118. Тенденция разлагать «сложные» аффиксы на «простые» идет от В. Банга, его учеников и последователей. Сам В. Банг считал сложными аффикс дательного падежа *-qa* и аффикс множественного числа *-lar*. К. Г. Менгес, Д. Синор и Н. Поппе отнесли к сложным аффиксы *-qa, -lar* и аффикс исходного падежа *-tan ~ -dan*. См.: А. М. Щербак, *Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков*. Имя, стр. 37, 45, 83.

⁴⁹ См.: Н. З. Гаджиева, Б. А. Серебряников, *Происхождение аффиксов с модальным значением в тюркских языках*, СТ, 1974, 1, стр. 10.

«показателя общеалтайского множественного числа» -*r* и аффикса -*q*, предположительно связываемого с древнетюркским аффиксом винительного падежа -*ïy*⁵⁰. Аффикс направительного падежа -*sā(r) ~ zā(r) ~ sa(r) ~ za(r)* также рассматривается как сложный, «возможно» включающий в себя «суффикс директива» -*r*⁵¹. Аффикс дательного падежа -*qa ~ γa* объясняется как сочетание аффикса латива -*a* с аффиксом дательного падежа -*q*⁵² или с аффиксом винительного падежа -*ïy*⁵³, а аффиксы -*siman*, -*simaq* — как состоящие из трех компонентов: уподобительного аффикса -*sī* и двух аффиксов уменьшительности (*sī-ma-n*, -*sī-ma-q*)⁵⁴.

Итак, различия между двумя точками зрения на природу тюркских аффиксальных морфем достаточно очевидны и прозрачны. Чтобы установить, в какой мере оправдано критическое отношение к первой точке зрения и насколько убедительны аргументы, выдвигаемые в пользу второй, необходимо подробнее рассмотреть приведенные примеры.

1,11. Для решения вопроса о происхождении аффикса -*raq*⁵⁵ существенно наличие вариантов с начальным гласным, не подчиняющихся в ряде тюркских языков гармонии гласных, ср. алт. *aγarīq*, кирг. *aγīrāq*, татар. *aqraq*, узб. *oqroq*, уйг. *aqīraq*, шор. *aq āraq* „побелее, беловатый“; тув. *kök āraq* „голубоватый“; хакас. *kičig arax* „маловатый“; шор. *möyüs āraq* „похуже, плоховатый“. Обращает на себя внимание также универсальность аффикса -*raq ~ -araq*... Он присоединяется к прилагательным, существительным, к словам *bar* и *joq*, к причастиям, деепричастиям и даже к падежным формам, ср. татар. *sulγaraq* „немного влево“; турецк. *duraraq* „стоя; находясь“; узб. *borroq* „есть все же“, *qoçibroq* „убегая“⁵⁶, *bilayonroq* „более знающий“; чуваш. *värmanarax* „дальше в лес“, *kuldarax* „ближе сюда“⁵⁷. Все это и, кроме того, семантика аффикса -*raq ~ -araq*... убеждает в правдоподобности этимологии, основывающейся на возведении его к послелогу **āraq* „едва; почти; чуть-чуть“⁵⁸, ср. тув. *xüllümzürej āraq* „чуть-чуть улыбаясь“. Переходя к этимологическому объяснению аффикса -*raq ~ -araq*..., предложенному А. Н. Кононовым, заметим, что сочетание синонимических аффиксов в формах неполноты признака прилагательных — распространенное явление, ср. др.-тюрк. *aqsīraq*, узб. (диал.) *aqçilraq*⁵⁹, уйг. *aqūçīraq* „беловатый“; хакас. *xaramdix arax* „черноватый“⁶⁰. Однако этим и исчерпываются доказательство образования аффикса -*raq ~ -araq*... из двух уменьшительных аффиксов -*ra* и -*q*. Не объяснены варианты с начальным гласным. Обходится молчанием

⁵⁰ См.: В. Ш. П я н ч и н, К истории развития аффиксов сравнительной и уменьшительной степеней прилагательных в башкирском языке, СТ, 1976, 6, стр. 18.

⁵¹ См.: Б. А. С е р е б р е н н и к о в, О некоторых проблемах исторической морфологии тюркских языков, в кн.: «Структура и история тюркских языков», М., 1971, стр. 277.

⁵² Там же, стр. 285.

⁵³ См.: Дж. Г. К и е к б а е в, О происхождении некоторых падежных форм в урало-алтайских языках в свете теории определенности-неопределенности, в кн.: «Вопросы методологии и методики лингвистических исследований», Уфа, 1966, стр. 177.

⁵⁴ См.: А. Н. К о н о н о в, О фузии в тюркских языках, стр. 118.

⁵⁵ Изложение этимологии см. в раб.: Ж. Е с к м а п, Türkçede -raq, -rek ekine dair, «Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten», Ankara, 1953, стр. 51—52.

⁵⁶ См.: А. Ф. Ф у л о м о в, Узбек тилида сифатнинг чоғиштирма даражалари, «Узбек тили ва адабиёти масалалари», 1959, 2, стр. 50, 54.

⁵⁷ См.: Н. А. А н д р е е в, Имя прилагательное, в кн.: «Материалы по грамматике современного чувашского языка», I — Морфология, Чебоксары, 1957, стр. 98.

⁵⁸ См.: Ф. Г. И с х а к о в, А. А. П а л ь м б а х, указ. соч., стр. 186.

⁵⁹ См.: Ю. Д ж у м а н а з а р о в, Морфологические особенности хазарского говора узбекского языка. АКД, Ташкент, 1961, стр. 13.

⁶⁰ См.: Г. Ф. Б а б у ш к и н, Вопросы прилагательных в хакасском языке. АКД, Абакан, 1953, стр. 24.

неподчинение их гармонии гласных и отсутствие в тюркских языках аффикса уменьшительности *-ra*.

1,12. Если происхождение аффикса *-raq ~ -araq...* еще не является окончательно установленным из-за недостаточности доказательств, то о природе показателей другой формы неполноты признака, *-sīman ~ -suman*, *-sīmaq ~ -sumaq* (ср. также: *-sīmal ~ -sumal*, *-sīmār ~ -sumār*, *-sī ~ -su*), можно говорить вполне определенно. Знакомство с общеизвестными фактами делает неизбежным вывод о существовании в древнетюркском языке глагола **sī-* „походить, быть похожим“ (форма возвратного залога — **sīn-* „казаться похожим; считать себя похожим на...; выдавать себя за...“). Имеются глаголы, образованные от имен при помощи аффикса *-sī*, которые выражают уподобительное значение или значения, близкие к нему, например: др.-тюрк. *jaysī-* „иметь в ус масла; быть похожим на масло“ (МК III 306); кирг. *alyansī-* „делать вид, что взял“; ног. *avansī-* „прикидываться протачком“. Известен уподобительный аффикс *-sī(γ) ~ -su(γ)*, представляющий форму глагольного имени (**sī-* „походить, быть подобным“ + *-γ*, **sīγ* „похожий, подобный“): др.-тюрк. *qulsīγ* „похожий на раба“, *oγlansīγ* „похожий на ребенка“ (МК III 128), *begsig* „подобный беку“ (QBN 68_a); тув. *demirzig* „подобный железу“; турецк. *majmunsu* „обезьянообразный“. Примечательны, далее, такие слова, как казах., к.-калп. *sījaq*, кирг. *sījaq* „внешний вид, внешность“, казах. *sījaqtı̄*, кирг. *sījaqtı̄*, к.-калп. *sījaqtı̄* „подобный“⁶¹, в которых нетрудно выделить глагольную основу *sī-*. Последнее, самое убедительное, доказательство — редкий случай употребления искомого глагола: *görklü jüzi kimsäjä heç beγzimäz/täγri qatında beγi birä sīmaz* „его красивое лицо ни на чье не похоже, /ни на одно из тех, что вечно [находятся] пред богом, не похоже“⁶².

Остается выяснить, что соотносится с глаголом *sī-* аффиксы *-sīman ~ -suman*, *-sīmal ~ -sumal*, *-sīmaq ~ -sumaq* и другие, ср. алт. *qizilzimag*, карач.-балк. *qizilsīman*, тув. *qizilzīmār*, шор. *qizilziban* „красноватый“; казах. *kölsīmaq* „подобный озеру“; к.-калп. *tolqinsīmaq*, узб. *tulqinsimon* „волнообразный“; узб. *tuxumsimon* „яйцеобразный“; уйг. *börisimal* „похожий на волка“. Важный шаг в этом направлении был сделан Н. А. Баскаковым, отождествившим второй компонент послелога *sīmaq* в киргизском и каракалпакском языках с аффиксом имени действия *-maq*⁶³. Послелоги *sīmaq*, *sīman*, *sīmal* — промежуточная ступень в переходе от самостоятельных слов к аффиксам⁶⁴, ср. кирг. *kiši sīmaγı joq* „он не похож на человека“, *bar sīmal* „как будто есть; похоже на то, что есть“; к.-калп. *gūmis sīmaq* „подобный серебру“. Их объединяет общая корневая морфема *sī-*, к которой присоединяются разные аффиксы: *sī-maq*, *sī-man* (<*sī-ban*), *sī-mal*, *sī-mār*.

1,13. Доказывать, что аффикс направительного падежа в хакасском языке *-sa(r) ~ -za(r)* восходит к послелогу *sarī* и, следовательно, не является сложным, включающим в себя «суффикс директива» *-r*, нет необходимости. В диалектах хакасского языка прослеживаются варианты данного

⁶¹ См.: С. Кудайбергенов, *-Са мүчөсү*, в кн.: «Тюркологические исследования», Фрунзе, 1970, стр. 164.

⁶² См.: W. R a d l o f f, *Über aettürkische Dialekte, I. Die seldschukischen Verse im Rebāb-Nāmeḥ, «Mélanges Asiatiques», X, 1, 1890, стр. 23₈₀, 55.* См. также: Э. В. Севортян, *Аффиксы глаголообразования...*, стр. 298, примеч.

⁶³ Н. А. Баскаков, *Явления лексикализации аффиксов в тюркских языках*, в кн.: «Лексикографический сб.», IV, М., 1960, стр. 33. Ср.: В. А т а л а у, *Türkçede -satak, -stak eki hakkında, «Türk Dili. Belleten», Seri III, Sayı 1-3, 1946.* К сожалению, с содержанием этой статьи нам пока не удалось познакомиться.

⁶⁴ Н. А. Баскаков привлекает упомянутые послелоги как иллюстративный материал к заключению о якобы происходящем в тюркских языках эпизодическом преобразовании аффиксальных морфем в самостоятельные слова (указ. соч., стр. 29-34).

аффикса, отражающие все этапы его преобразования, ср. хакас. (кызыльск.) *xarpsa* „в мешок“⁶⁵; хакас. (качинск.) *turazār* „к дому“⁶⁶; хакас. (сагайск.) *mīnzeri* „ко мне“⁶⁷, *taŋzarī* „к заре“, *anīŋzarī* „к нему“⁶⁸ (ср. ст.-узб. *anīŋ sarī*). В качинском диалекте и в родственных языках встречаются также слово *sarī* „сторона“ и послелог *sarī* ~ *sāra* „в сторону, в направлении“, ср. ст.-узб. *Kabīl sarī* „в сторону Кабула“; шор. *tajŋā sāra* „по направлению к тайге“.

1,14. Чтобы облегчить задачу максимально полного учета фактов, проливающих свет на происхождение аффикса дательного падежа *-qa* ~ *-ya* и его связь с аффиксом направительного падежа *-qarī* ~ *-yarī* ~ *-qaru* ~ *-yaru*, начнем с констатации того, что в древнетюркских текстах параллельно употребляются без каких-либо семантических различий аффиксы *-qarī* ~ *-yarī* ~ *-qaru* ~ *-yaru*, *-qar* ~ *-yar*, *-qa* ~ *-ya* и *-a*, ср. *baŋa* (*ben-ya*, Тон₃₁), *baŋaru* (*ben-yaru*, Тон₃₄) „мне“; *aŋaru* (*an-yaru*, Тон₂₀), *aŋar* (*an-yar*, КТМ₁₁), *aŋa* (*an-ya*, ХХС₂₀) „ему“; *birgārū* (КР 80₂) и *birgā* (МК I 187) „к одному; вместе“; *ebimārū* (*ebim-ārū* < *ebim-gārū*, МЧ₂₈), *ebimā* (*ebim-ā*, МЧ₄₃) „в мой дом“; *evgā* (*ev-gā*, МК II 156) „в дом“; *ebiyārū* (*ebin-gārū*, ThS₈), *evinjā* (*evin-gā*, КР67₈) „в свой дом“. Те же самые аффиксы встречаются и в современных языках, однако в них аффикс *-qarī* ~ *-yarī* выступает только в наречиях, а аффикс *-qar* ~ *-yar*, преимущественно, в наречиях. Примеры: гаг. *ilerī* „вперед“; кум. *buŋar* „этому“, *ŋuŋar* „тому“; ног. (караног.) *taŋar* „мне“; тофал. *oŋyarī* „направо“; тув. *soŋyār* „назад“; хакас. (качинск.) *časzar* „к весне“, *čajyar* „к лету“⁶⁹. В якутском языке форма на *-yar* входит в парадигму притяжательного склонения имени: *aŋabittīyar* „нашему отцу“, *aŋaŋittīyar* „вашему отцу“.

Таким образом, налицо семантическая близость аффиксов *-qa* ~ *-ya* и *-qarī* ~ *-yarī* ~ *-qaru* ~ *-yaru*, их внешнее сходство, подкрепляемое наличием промежуточной формы (*-qar* ~ *-yar*), и преемственность: опираясь на материалы письменных памятников и современных тюркских языков, можно смело говорить о постепенной замене аффиксом *-qa* ~ *-ya* аффикса *-qarī* ~ *-yarī*... И, конечно, из сопоставления др.-тюрк. *baŋaru*, *baŋa*, крым.-татар. *taŋa*, ног. (караног.) *taŋar*, турецк. *bana* „мне“ следует, что эволюция происходила не от *bana* к *baŋaru*, в виде наложения одного падежного аффикса на другой (*-q* + *-a* + *-ru*), а, наоборот, от *baŋaru* к *bana*, путем упрощения (*-qaru* > *-qar* > *-qa* > *-a*), т. е. так, как развивалась форма направительного падежа в хакасском языке. Стяжение до одного слога или одного звука — основная линия развития аффиксальных морфем и именно в этом причина вариативности, ср. кум. *atīmya* ~ *atīma* „моему коню“; тув. *burunŋār* (диал. *burunŋārī*) „вперед; на юг“, *soŋyār* (диал. *soŋyārī*) „назад; на север“, *časqār* (диал. *časqārī*) „к весне“, *ežimge* (диал. *ežime*) „моему товарищу“⁷⁰; шор. *qojīmya* ~ *qojīma* „моей овце“.

1,15. Первые опыты этимологизации аффикса множественного числа *-lar*, которые сводились к поискам самостоятельного слова, послужившего для него прототипом, не были удачными, что побудило П. Аалто выска-

⁶⁵ См.: Н. Г. Доможаков, Описание кызыльского диалекта хакасского языка. АКД, Абакан, 1949, стр. 9.

⁶⁶ См.: Д. Ф. Патачкова, указ. соч., стр. 157, 159 и сл.

⁶⁷ См.: М. И. Боргояков, Бельгирский говор сагайского диалекта, в кн.: «Диалекты хакасского языка. Очерки и материалы», Абакан, 1973, стр. 94—95.

⁶⁸ См.: Н. Н. Межекова, Шорский диалект, там же, стр. 58—59.

⁶⁹ См.: Д. Ф. Патачкова, указ. соч., стр. 156.

⁷⁰ См.: З. Б. Чадамба, Тоджинский диалект тувинского языка, Кызыл, 1974, стр. 98, 100.

зять предположение о заимствовании *-lar* из китайского языка ⁷¹. По иному пути пошли В. Банг, Н. Поше, К. Г. Менгес и Д. Синор, выразившие твердое убеждение в том, что аффикс *-lar* состоит из двух показателей множественного числа, или собирательности, *-l* и *-r* ⁷². Однако и этот путь не привел к обнадеживающим результатам, так как тюркским языкам ни тот, ни другой аффикс в отдельности не известен. Не случайно Д. Синор считал, что слияние аффиксов *-l* и *-r* произошло не на тюркской почве ⁷³.

Мы намеренно выбрали для разбора падежные аффиксы, аффиксы форм неполноты признака прилагательных и аффикс множественного числа, потому что они чаще других привлекаются в качестве примеров, иллюстрирующих «фузионный» способ образования грамматической формы. Другие аффиксы, в частности показатели предикативности, отдельных временных форм и форм косвенных наклонений, легче поддаются этимологизации, благодаря наличию промежуточных ступеней, и большинством тюркологов квалифицируются как образовавшиеся в рамках применения агглютинативного способа. Достаточно, например, сопоставить лично-предикативные показатели 1 и 2-го лица из нескольких тюркских языков и диалектов, чтобы без колебаний возвести их к личным местоимениям, ср. татар. *baram*, карач.-балк. *barama*, узб. *boraman* „иду“; кар. *baras*, карач.-балк. *barasa*, татар. *barasñ* „идешь“. И если иногда это не удается сделать, то главным образом потому, что «нормальный» ход развития личных глагольных форм нарушается изменениями по аналогии. Сопоставление шор. *parçam*, хакас. *paripçam*, алт. *barip d'adim* и туркм. *jatirñ* „иду“ приводит к выводу, что исходным для формы *parçam* явилось сочетание *paripçata man*, ср. кирг. *bara jatam*, ног. *bara jatirman* „иду“; узб. *kelajarman* (<*kela jotip man*) „прихожу“. Сравнение же турецк. *gelijorum* „прихожу“ с шор. *kele çörüm* делает само собой разумеющимся заключение о развитии этой формы из сочетания *gele jorum* (<*gele jorur man*). Параллельное употребление словоформ с аффиксами отыменного словообразования глагола *-ir ~ -ur*, *-al*, *-at ~ -it* и перифрастических образований с вспомогательными глаголами *ur-*, *bol- ~ ol-*, *et-* — факт, подтверждающий вероятность происхождения ряда словообразовательных форм глагола из глагольно-именных сочетаний. Не исключено, что и все залоговые формы тюркских языков восходят к перифрастическим образованиям.

Подводя итог разбору приведенных примеров, следует отметить, что пока в нашем распоряжении убедительные факты использования в тюркских языках лишь одного способа образования морфологических элементов, способа агглютинации.

1,2. Развитие составляющих словоформу морфем не ограничивается автономными процессами: аффиксальные морфемы тесно взаимодействуют с корневой морфемой, а также между собой. Степень их взаимодействия и достигаемой в конечном итоге спаянности, фузии бывает разной. В целом, в самых общих чертах, она была определена О. Бётлингом как гораздо менее тесная, чем в индоевропейских языках ⁷⁴. Если оставить в стороне крайние случаи взаимопроникновения структурных элементов

⁷¹ P. Aalto, *Altaistica*, II. The suffixes *-lar*, *-nar*, *•lär*, StO, XVII, Helsinki, 1952, стр. 15—16.

⁷² См.: А. М. Щербак, *Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков*. Имя, стр. 83 и сл.

⁷³ D. Sinor, *On some Ural-Altaic plural suffixes*, «Asia Major», NS, II, 2, 1952, стр. 226—228.

⁷⁴ О. Бётлингк, указ. соч., стр. 409. См. также: W. Raddloff, *Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türk Sprachen*, «Зап. АН», VIII серия, 7, 1906, № 7, стр. 20 и сл.

словоформы, вроде тех, которые описаны в статье М. Молловой⁷⁵, то удастся обнаружить сравнительно небольшое число примеров исчезновения границ между отдельными морфемами. Почти все они обязаны своим появлением наличию определенных условий.

«Внедрение» аффиксальных морфем в корневые осуществляется, как правило, при обстоятельствах, благоприятствующих стяжению гласных и выпадению слогов⁷⁶: в дательном падеже, в форме принадлежности 3-го лица имен, оканчивающихся на гласный, в форме родительного падежа личных местоимений и в ряде других форм, ср. кар. *mā* „мне“ (<*maḡa* < *menḡa*, *men* „я“); тув. *čazā* «в степь» (<*čaziḡa*, *čazi* „степь“), *mēḡ* „мой“ (<*meniḡ*, *men* „я“), *sēḡ* „твой“ (<*seniḡ*, *sen* „ты“); туркм. *jarma* „крупе“ (<*jarmaḡa*, *jarma* „крупа“); чуваш. *kimmi* „его лодка“ (*kimē* „лодка“); шор. *terē* „шкуре“ (<*terege*, *tere* „шкура“). В стяженной форме будущего предположительного, упоминаемой в числе примеров фузионных изменений, ср. кар. (крым.-диал.) *alīm* (<*alīrim*) „возьму“⁷⁷, карач.-балк. *barīma* (<*barīrma*) „пойду“⁷⁸, происходит упрощение аффикса, тогда как граница между ним и корневой морфемой остается без изменений.

Одним из основных условий, обеспечивающих слияние двух аффиксальных морфем в одну, является совместимость их категориальных значений. Так, лицо тесно связано с числом: местоимения 1 и 2-го лица сами по себе выражают различия в числе. В тех же формах, где лицо и число обозначены раздельно, может иметь место полное слияние личных показателей и аффикса множественного числа *-lar* в единый показатель лица и числа, ср. алт. *ulār* (<*oḡulīḡar* < *oḡulīḡlar*) „ваш сын“; алт. (диал.) *alarzār* (<*alarziḡar* < *alarziḡlar*) „возьмете“⁷⁹; алт. *aldīḡar*, тув. *aldīḡar*, хакас., шор. *aldār* (<*aldīḡlar*) „вызвали“. «Факты эти, — как отметил А. К. Боровков, — давно известны, они отнюдь не изменяют грамматической структуры тюркских языков в такой степени, чтобы говорить об их „переходе“ в новую стадию»⁸⁰.

2. Вопрос об исторической глубине образования морфологических элементов в тюркских языках имеет несколько аспектов. С одной стороны, интерес вызывает то, как шло развертывание процесса агглютинации, от аморфного состояния или вслед за разрушением ранее функционировавшей «доагглютинативной» системы форм, с другой, в центре внимания может быть временная протяженность процесса. Наиболее же общая постановка данного вопроса предполагает выяснение возраста грамматического строя в целом или относительной хронологии форм.

Фактов, прямо или косвенно указывающих на вторичность агглютинации в тюркских языках, в нашем распоряжении нет.

Возраст грамматического строя в целом устанавливается в сопоставлении тюркских языков с другими языками. В качестве примера можно привести развернутую сопоставительную оценку О. Бётлингка, согласно которой образование грамматических форм в урало-алтайских языках началось значительно позже, чем в индоевропейских. Из урало-алтайских

⁷⁵ М. М о л л о в а, *Traits de fusion dans le dialecte turc du Rhodope de l'est*, «Балканско езикознание», XIV, 2, 1970, стр. 73—78.

⁷⁶ Там же, стр. 60—73 («О фонологических изменениях, обуславливающих фузию»).

⁷⁷ См.: О. Я. П р и к, *Очерк грамматики караимского языка (крымский диалект)*, Махачкала, 1976, стр. 46.

⁷⁸ См.: И. Х. У р у с б и е в, *Спряжение глагола в карачаево-балкарском языке*, Черкесск, 1963, стр. 187.

⁷⁹ См.: Н. П. Д ы р е н к о в а, *Грамматика ойротского языка*, М.—Л., 1940, стр. 178.

⁸⁰ А. К. Б о р о в к о в, *указ. соч.*, стр. 124.

языков О. Бётлингк выделяет финский как приступивший к образованию форм раньше тюркских языков и монгольские, в которых, по его мнению, этот процесс происходил позднее, чем в тюркских. «Сравнение народного языка монголов и калмыков с их литературным языком, — пишет О. Бётлингк, — совершенно ясно показывает, как в недалеком от нас прошедшем образовывались грамматические формы»⁸¹.

Внешняя близость части аффиксальных морфем тюркских языков к самостоятельным словам, или даже совпадение с ними, далеко не всегда является доказательством их позднего происхождения. Превращение самостоятельных слов в служебные слова и, далее, в аффиксальные морфемы часто становится побочной линией их развития, т. е. осуществляется при полном сохранении лексических прототипов. Так, турецкая форма настоящего конкретного *jazijor* „пишет (в данный момент)“ образовалась из сочетания *jaza jorur* или *jaza jörür*. Лежащий в основе аффикса *-jor* глагол *jürü-* выступает в современном турецком языке в значении «двигаться, ходить». Кирг. *kelet* „приходит“ состоит из трех морфем: *kel-*, *-e* и *-t*. Последняя из них является показателем 3-го лица ед. числа настоящего времени. Наряду с аффиксом *-t* в киргизском языке нормально функционируют его лексический прототип глагол *tur-* „стоять“ и причастная форма *turur*, явившаяся исходной ступенью в развитии аффикса *-t*, ср. др.-тюрк. *kelä turur*, ст.-узб. *kelädur*, кирг. *kelet*, чуваш. *kilet*. Примечательные примеры сосуществования с самостоятельными словами-прототипами дают именные и глагольные послелогии, в особенности те из них, которые выражают абстрактные отношения и нередко становятся непосредственным источником пополнения аффиксальных морфем.

Очевидно, образование морфологических элементов в тюркских языках относится к разным периодам, начиная от глубокой древности и кончая настоящим временем. Более определенными могут быть суждения об относительной хронологии форм. Результаты продолжительного изучения грамматического строя тюркских языков показывают, что древнейший пласт его составляют имена действия, из которых развились финитные глагольные формы и формы неполной вербальности, деепричастия. Следующий пласт — формы так называемых грамматических падежей и множественного числа. Относительно новой частью морфологии являются формы дательного, местного и исходного падежей, формы неполноты признака, залоговые формы и другие. Новейшая часть морфологии — региональные падежные формы, формы настоящего конкретного, определенного и неопределенного «имперфектов», прошедшего повествовательного неочевидного, большинство форм отыменного словообразования глагола и т. д.

⁸¹ О. Бётлингк, указ. соч., стр. 410.

АНИЧЕНКО В. В.

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В XVIII в.

Характеризуя положение белорусского языка и его судьбу в плане функциональной истории в славянской лингвистике, Е. Ф. Карский, один из лучших его знатоков и усердных исследователей, особо подчеркивал, что этот язык в свое время «в течение нескольких столетий был органом умственной, нравственной и политической жизни народа в Великом княжестве Литовском»¹. Язык этот употреблялся в деловой письменности, литературно-художественных произведениях, конфессионально-полемиической, научной литературе и других жанрово-стилевых разновидностях, в том числе был языком «всего литовского народонаселения, как православно-го, так и католического»². Он был официально признан и узаконен Литовским статутом 1566 г., где сказано: «а писарь земский поруску маеть литерами и словы рускими вси листы и поэвы писати а не иньшымъ языкомъ и словы»³.

Но развитие белорусского литературного языка было неодинаковым в разные периоды его истории. После Люблинского сейма 1569 г., когда Великое княжество Литовское и Польское королевство были соединены в одно государство — Речь Посполитую, белорусский литературный язык постепенно, но неуклонно вытеснялся из сферы официального употребления польским языком. Это нашло свое отражение в официальном постановлении Варшавского сейма 1696 г., в котором польские власти запрещали писать деловые документы на белорусском языке и употреблять его в делопроизводстве. Действительно это постановление явилось одной из основных причин упадка деловой письменности на белорусском языке XVIII в., хотя деградация ее началась значительно раньше.

В истории белорусского литературного языка период XVIII в. наименее исследован. И, вероятно, не случайно в языкознании он считается белым пятном на фоне предшествующего развития старобелорусской письменности в ее различных жанрово-стилевых разновидностях. На это есть свои причины. Главная из них — специфические исторические условия развития белорусского языка в XVIII в. Общеизвестно, что в этот период в пределах Белоруссии, кроме белорусского, употреблялись также польский, латинский, книжнославянский и русский языки, которые имели неодинаковое территориальное распространение и функционирование. Так, польский и латинский языки по существу бытовали повсеместно на белорусских землях с той только разницей, что первый из них выполнял общественные и культурные функции в письменной форме и являлся средством общения привилегированных и даже средних слоев населения Белоруссии, а второй был только книжным языком научной литературы и вообще просвещения господствующих представителей ка-

¹ Е. Ф. Карский, Труды по белорусскому и другим славянским языкам, М., 1962, стр. 253.

² А. С. Архангельский, Очерки из истории западнорусской литературы XVI—XVII вв., М., 1888, стр. 3.

³ «Хрестаматыя на гісторыі беларускай мовы», ч. 1, Мінск, 1961, стр. 145.

толической веры. Что же касается книжнославянского языка, то он, как и латынь, употреблялся исключительно в письменной форме для создания конфессиональной литературы, использовавшейся представителями православной и униатской церкви. Но это был язык не такого типа, как в Московской Руси, а его местная разновидность, представляющая собой заметное смешение книжнославянизмов и белорусизмов. Рукописные памятники этого типа («Книга сынъ блудный», 1766) и старопечатные («Собрание припадковъ краткое и духовнымъ способомъ потребное», Супрасль, 1722) дают ценный материал для изучения белорусского типа книжнославянского языка, который в Белоруссии начал функционировать с XV в. и продолжал свое развитие в XVIII в.

Сфера употребления русского языка вначале была ограничена восточной территорией Белоруссии, а затем русский язык получил повсеместное распространение в административной практике и как средство общения русского чиновничества. Русский язык, как и белорусский, в XVIII в. был острым оружием в борьбе белорусского народа против колонизации. Особенно возросла его роль во второй половине XVIII в., когда белорусский народ воссоединился с русским в одно государство и на территории Белоруссии стали создаваться книги и канцелярские документы на русском языке. Для некоторых из них характерны белорусские языковые особенности. Примером может служить книга культурно-бытового содержания «Описание Кричевского графства или бывшего староства» Андрея Мейера (1786)⁴, написанная на русском языке с отражением в ней местных профессиональных терминов, бытовавших в Кричевском графстве среди мастеровых людей того времени: *белуха* «пшеница», *кочеть* «поп», *кругалка* «репа», *круглеки* «рубль», *кудрявка* «гречка», *набусаться* «напиться», *солодуха* «морковь», *теплухи* «чулки».

Говоря о проникновении элементов белорусского языка в русские тексты XVIII в., уместно упомянуть также и о некоторых лингвистических переводных источниках, которые появились в начале XVIII в. в Голландии. В России в период царствования Петра I повысился интерес к Западной Европе и западноевропейской жизни вообще. Во время своего пребывания в Голландии (1696) Петр I открыл в Амстердаме типографию для издания разных материалов на русском и иностранном языках с целью ознакомить русский народ с практически полезными знаниями и т. п. Осуществить эту задачу по предложению Петра I взялся И. Ф. Капиевич (Капиевский, 1651—1714), белорус по происхождению, известный просветитель и книгоиздатель, пропагандист светских наук в России конца XVII — начала XVIII в. В 1700 г. в Амстердаме он издал словарь под названием «*Nomenclator in lingua latina, germanica et russica*». При отборе лексического материала в словник И. Ф. Капиевич вместе с русской лексикой параллельно включал также и слова белорусского языка (*кузнецъ* и *коваль*, *петухъ* и *капланъ*, *торгъ* и *кермашъ*) или только белорусизмы (*крычу*, *повеки*, *серце*, *хлопчик*, *шыя*, *яблыка*)⁵. Несмотря на то, что в Белоруссии продолжительное время было распространено пятиязычие (письменное), период XVI — XVII вв. «посторонние стихии не сделали (белорусский язык.— А. В.) до такой степени искусственным, чтобы лишить его всякой индивидуальности»⁶.

⁴ Рукопись книги хранится в библиотеке Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина и опубликована с сокращениями Е. Р. Романовым в «Могилевской старине» (вып. 2, Могилев, 1901, стр. 86—138).

⁵ Об этом см.: «Беларусь», 1960, 11, стр. 31.

⁶ Е. Ф. Карский, Труды по белорусскому и другим славянским языкам, стр. 261.

Исходя из незначительного количества памятников белорусской письменности XVIII в., некоторые лингвисты в свое время утверждали, что в указанный период белорусский язык был языком простого народа, но иногда употреблялся в литературных произведениях, например, в отдельных комедийных текстах, которые чаще всего писались на польском языке, и лишь некоторые действующие лица (преимущественно белорусские крестьяне) говорили по-белорусски. «Но тем же польским авторам интерлюдий,— по справедливому замечанию В. Н. Перетца,— принадлежит невольная историческая заслуга сохранения образцов белорусской речи в темный период ее существования»⁷.

Цель настоящей статьи — обратить внимание читателей на особенности развития белорусского литературного языка в XVIII в. Следует отметить, что в XVIII в. увеличивается число текстов, записанных латинской графикой в польской модификации. Речь идет о некоторых произведениях комедийного жанра, которые в языковом отношении заметно отличаются от письменности предшествующих периодов. С первого взгляда может показаться парадоксальной попытка передавать белорусские тексты латиницей, не имевшей в белорусской письменности постоянной традиции. В латинской графике преобладает фонетический принцип письма. Она не была столь устойчивой в Белоруссии, как кириллица, основанная на этимологически традиционном принципе письма. Для создания комедийного эффекта авторы преднамеренно вводили в комедии персонажи из низших слоев общества и сохраняли в их речи живое местное произношение.

Изучение этой жанрово-стилевой разновидности белорусского языка представляет для лингвистики большой интерес не только в фактическом (количественном) отношении — как систематизация разрозненных и неисследованных памятников, но также с точки зрения принципиальной (методологической): эти литературные образцы являются богатым источником сохранения живого языка той поры, представленного в достаточном объеме и полноте. Методологическое значение комедийных произведений становится особенно очевидным при уточнении такой важной проблемы, как периодизация истории белорусского литературного языка.

В настоящее время белорусское языковедение располагает определенным материалом для того, чтобы судить о языковой специфике комедийных текстов XVIII в., написанных латиницей и кириллицей. Наиболее ранней комедией является «*Intermedia. Vascchanalia*» (1725)⁸, текст которой записан латинской графикой, причем большая часть — на польском языке, и только некоторые действующие лица (крестьяне) разговаривают по-белорусски. Немаловажное значение имеют в этом отношении два драматических произведения, составленные в 1787 г. профессором риторики и поэзии Забельской гимназии на Витебщине К. Морашевским («*Comedy*») и ксендзом М. Цеперским («*Doktor Przymuszony*»)⁹. Комедии написаны на польском языке, в первой из них действующие лица — мужик и еврей, и во второй крестьяне-белорусы говорят на белорусском языке.

В XVIII в. в некоторых православных школах (как и в католических учебных заведениях) писались и разыгрывались комедии на белорусском

⁷ В. Н. П е р е т ц, К истории польского и русского театра, ИОРЯС, XVI, кн. 3, 1911, стр. 274.

⁸ Рукописный список этой комедии хранится в государственном историческом архиве Литовской ССР в Вильнюсе. На белорусском языке текст издан С. Мисько. См.: С. М і с к о. Невадомыя беларускія творы першай паловы XVIII стагоддзя, «Польмя», 1965, 9, стр. 164—170.

⁹ Оригиналы комедий хранятся в государственной библиотеке Академии наук Литовской ССР в Вильнюсе. Первая из них издана В. Н. Перетцем (ИОРЯС, XVI, кн. 3, 1911, стр. 278—319), а вторая — А. Сычевской (РФВ, LXII, 1909, стр. 89).

языке. Одна из таких школьных комедий середины XVIII в. («Выписано из бывших в смоленской семинарии комедий») ставилась в Смоленской семинарии¹⁰. Графической особенностью текста комедии является то, что он записан кириллицей, но язык представителей низших слоев сельского населения здесь по существу такой же, как в католических интермедиях рассматриваемого периода.

Некоторые интермедии XVIII в. создавались в православных украинских духовных школах, где, кроме украинцев, учились и белорусы. Не случайно поэтому в интермедиях встречаются кириллические тексты и на белорусском языке: один из них содержится в аллегорической драме Г. Конисского «Воскресение мертвых»¹¹, второй — в сборнике 1771—1776 гг. под названием «На рождество Христово»¹². Филологическая наука располагает и другими образцами белорусских комедийных текстов XVIII в.¹³

В языковом отношении комедийные произведения рассматриваемого периода нельзя считать равноценными: территориальная неравномерность их возникновения, разные типы письма (кириллица и латиница), филологическая подготовка авторов (писцов) — все это сказалось на их художественном мастерстве и языке. Языковой анализ важнейших комедийных текстов XVIII в. (за исключением «*Intermedia. Bacchanalia*»), проводился в свое время нами и другими исследователями¹⁴; остановимся здесь только на отдельных моментах.

Важнейшей лексической особенностью письменных памятников этого типа является преобладание в них народно-разговорных слов, (не утративших своей продуктивности в белорусском языке до настоящего времени) крестьян-белорусов: *араць*¹⁵, *гаспадар*, *жартаваць*, *злодзей*, *карчма*, *падабацца*, *парабак*, *ратаваць*, *скарга*, *счачываць*, *тузаць* («*Intermedia. Bacchanalia*»); *адкуль*, *але*, *астатні*, *бацька*, *грошы*, *дараваць*, *досыць*, *кавалак*, *клопат*, *мабыць*, *ніколі*, *статак*, *таварыш* («*Comedya*» Морашевского): *каб*, *рабіць*, *хвароба* («*Doktor Przymuszony*»); *дзё*, *дыжь*, *калі*, *куды*, *пакуль*, *скакаць*, *суды*, *ужо*, *што*, *якь*, *яна* (Смоленская комедия): *албо*, *бабка*, *ликкарь*, *циперць* («На рождество Христово»): *дзеткі*, *хата* («*Colonus, Studiosus*»); *госпадар*, *кожны* («*Rusticus et Judaes*»)¹⁶.

Анализируемые тексты насыщены многочисленными фразеологизмами, образными сравнениями, выражениями и пословицами, характерными для народно-разговорной речи: *змель мяне ўнёс на другі свет*; *як світром вярціць в мазгаўні*; *лапці ў чабаты абярнуліся і сэрмяга ў сукно*; *кастур мой перэварнуўся ў шнаблю*; *чэрап мужыцкі добра напіўся сала*; *галаву крэпко прыбій да пасцелі*; *пайду куды вочы занясуць* («*Intermedia. Bacchanalia*»); *каб табе скуляя горло разточыла*; *каб табе ражон у горла ўлез*; *кап ты скрось*

¹⁰ Оригинал этого текста хранится в Государственной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Комедия издана В. Н. Перетцем. См.: В. Н. Петров, К истории польского и русского народного театра, ИОРЯС, X, кн. 1, 1905, стр. 55—57.

¹¹ См.: Н. Петров, Драматические произведения Георгия Конисского, «Древняя и новая Россия», 11, СПб., 1878, стр. 245.

¹² См.: В. Н. Петров, К истории польского и русского народного театра, стр. 63—66.

¹³ См.: Е. Ф. Карский, Белорусы, т. III, вып. 2, Пг., 1924, стр. 223—234; P. Lewin, *Intermedia Wschodniosłowiańskie XVI—XVIII wieku*, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1967, стр. 7.

¹⁴ См.: У. В. Аниченка, Некоторые попытки развития белоруской мовы ў XVIII, стагоддзі, «Весті Акадэміі навук БССР», Серия грамадскіх навук, 1964, 4, стр. 120—122; Л. М. Шакун, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, Мінск, 1963, стр. 171—177; А. І. Жураўскі, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, I, Мінск, 1967, стр. 362—368.

¹⁵ Здесь и ниже латиница для удобства заменена кириллицей.

¹⁶ Здесь и в дальнейшем примеры из последних двух комедий приводятся по следованию Е. Ф. Карского «Белорусы» (т. III, вып. 2, стр. 223—234).

землі пашоў; вот ліхо ўжо іх несець; я шэлег пры душы не маю; цепер зоць ты трэсні; усе хітрые як сабакі; ён іх око на око паставіць («Comedy» Морашевского); *каб яго чорт узяў; як мядзведзь мучыць; язык... колам стаў ці што ў чорта; як нажом па горле* («Doktor Przymuszony»); *вбсь у матку удава; попался у вты кросны; старога зь двора збылі; у мян і сыновыхь сынонь як дубовь* (Смоленская комедия); *галава за галаву ляже* («Воскресение мертвых») *штоб твоя дохна нагле здохла; барада як лес; штоб вашыя Соры папухлі як горы; штоб твоей увесь плод згінуў як тонкі лёд* («Rusticus et Judaes»); *парою ў кулак затрублю; дзеткі ў хаце зубамі згоняць; дзяцей як бобу* («Colonus, Studiosus»).

Весьма характерной особенностью в лексике рассматриваемых комедий является наличие региональных слов и форм, отражающих живые нормы белорусского произношения: *го* «довольно», *кастур* «кастыль», *пок* «пока», *шнабля* «сабля», *браце* («Intermedia. Bacchanalia»); *еох* «ох», *кап* «чтобы», *недзведзь* «медведь», *скрось*, *цяшко* («Comedy» Морашевского); *Апанаска*, *гэташ*, *матуся*, *усё-ткі* («Doktor Przymuszony»); *берацень* «глиняный горшок», *каварзень* «лапоть», *карячокъ* «посудина», *сачень* «блин», *Змитруче*, *Свиридзе*, *Свиридузна* (Смоленская комедия): *асьмінка*, *галубочку*, *мой лебедзю*, *мой салавейку*, *целятко* («Colonus, Studiosus»); *дохна* «дочь», *тата* «отец», *Іване* («Rusticus et Judaes»).

В языке некоторых комедий иногда встречаются слова русского языка, но они, как правило, подчинены местным произносительным нормам: *дзяржаць*, *крэко* («Intermedia. Bacchanalia»); *відзіць*, *дзерава*, *напроціў* («Comedy» Морашевского); *аняць*, *дзелаць*, *дзярэвня*, *нэгды* (*нэгдыт*), *пабядзіцель*, *харашенка* (Смоленская комедия); *пагібнуць* («Colonus, Studiosus»); *рабята* («Rusticus et Judaes»).

Несмотря на то, что комедийные тексты возникали во время вытеснения белорусского языка из сферы официального употребления польским языком, полонизмы не пустили здесь глубоких корней, вероятно, из-за того, что белорусское крестьянское население владело им недостаточно. В устах действующих лиц (белорусов) популярными были лишь некоторые слова польского языка, отраженные далеко не во всех тогдашних комедийных текстах: *вшэлякі* «всякий», *вцале* «совершенно», *нігды* «никогда», *пожуціць* «сбросить», *прэнткі* «быстрый», *пшынамней* «хотя бы», *тылько*, «только», *уробзэне* «рождение», *хлоп* «мужик», *юж* «уже» («Intermedia. Bacchanalia»); *васпане* «вельможный пан», *вашэць* «ваша милость», *загарак* «часы», *отож* «вот, таким образом», *папрафіць* «попасть», *свядэцтво* «свидетельство» («Comedy» Морашевского).

Фонетическая система белорусских комедий XVIII в. заметно отличается от системы, отраженной в старобелорусской письменности предшествующих периодов прежде всего своим совпадением с народно-разговорным произношением. Общей особенностью рассматриваемых текстов является, например, преобладание в них таких явлений, как дзеканья (*адзін*, *дзееца*, *дзень*, *злodgeй*, *ідзі*, *людзі*), цеканья (*быць*, *гутарыць*, *лапці*, *разказываць*, *разуменьць*, *ратуйце*). Вместе с тем в некоторых комедиях отражены фонетические черты, которые нельзя признать специфическими для регионального белорусского произношения из-за несовершенства графики и орфографии, влияния традиционного написания отдельных слов и их форм (*беда*, *земля*, *цепер*, *собака*, *старость*, *тябб*) или переданы в соответствии с белорусским диалектным произношением (*кылы*, *хасціоль*, *пиряп'чка* *чимъ-нибуць*, *прывязався*) и даже еврейским (*знас/ш/оў*, *ц/ч/акаў*, *каз/ж/ес/ш/*, *п/ч/орны*, *ес/ш/ц/ч/о*, *двойс/ч/ы*, *с/ш/укаць*, *с/ш/то*).

Морфологическая система анализируемой группы памятников отражает результаты литературно-диалектного взаимодействия. В большинстве случаев их морфология совпадает с нормами современного белорусского

литературного языка. Это касается прежде всего употребления нового окончания *-ы (-і)* в формах прилагательных и порядковых числительных мужского рода единственного числа именительного (винительного) падежа (*бедны, дурны, хорошы, чорны, други*) и инфинитива на *-ць* в основах с конечной гласной (*варыць, егаць, зваліць, карміць, касіць, купіць, наняць, парубіць, спусціць, узяць*).

Исключение составляют, пожалуй, диалектные (северо-восточные) глагольные формы с окончанием *-ць* в I спряжении 3-го лица единственного числа настоящего (будущего простого) времени (*берэць, ідзець, кідаіць, расцець, будзець, возьмець, ляжэць, сядзець*) и *-уць* во II спряжении 3-го лица множественного числа (*гаворуць, круцюць, робюць, хочуць*).

Этим кратким анализом мы и заканчиваем наблюдения над языком белорусских комедийных текстов XVIII в., точнее — над отражением в них живой народной речи в лексике, фонетике и морфологии. На примерах рассмотренных памятников видно, что некоторые комедийные тексты XVIII в. по своим лексико-грамматическим и стилистическим признакам сближаются с драматическими произведениями белорусской литературы XIX в. Такое сравнение раньше проводилось нами на основе отрывков из комедий «*Colonus, Studiosus*», «*Comedy*» К. Морашевского и комедии-оперы В. Душча-Мартинкевича «*Sielanka*»¹⁷.

Мы подошли к принципиальному выводу о том, что в комедийном жанре белорусской литературы XVIII в. была заложена народно-разговорная основа нового белорусского литературного языка. И, вероятно, комедийными произведениями XVIII в. должна начинаться эпоха формирования белорусского национального языка на народной основе, а не традиционно характеризовать ими язык белорусской народности. Общеизвестно, что социально-экономическим условием формирования белорусской буржуазной нации явилось воссоединение Белоруссии с Россией в результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). В конце XVIII в. белорусский язык и культура начали новый этап в своем развитии под благотворным влиянием языка и культуры русского народа. Но такой свойственный нации признак, как общий язык, формировался в Белоруссии на принципиально новой народной основе раньше — не с конца XVIII в., когда одновременно с развитием капиталистических отношений складывалась белорусская нация, а на протяжении всего этого столетия. Таким образом, рассмотренные образцы комедийного жанра являются важным источником изучения нового белорусского литературного языка.

В белорусском языкознании установилось мнение, что в XVIII в. белорусский язык сохранялся преимущественно в устной народно-разговорной форме, на основе которой создавались фольклорные произведения: сказки, легенды, предания, пословицы, поговорки, стихотворения и песни разного содержания. Но язык фольклора, одного из видов художественного творчества народных масс, не принято отождествлять с литературным языком. Несмотря на наличие в устном народном творчестве наддиалектных элементов, оно, по справедливому замечанию Ф. П. Филина, — «преддверие литературного языка, один из его важнейших источников»¹⁸.

Такое заключение является достоверным применительно к русскому фольклору с его наддиалектными элементами, но диалектной основой, которая не определяла и не определяет русский литературный язык в разные периоды его развития. Этого нельзя сказать относительно нового

¹⁷ См.: У. В. А н і ч е н к а, Некаторыя пытанні развіцця беларускай мовы ў XVIII стагоддзі, стр. 127; А. І. Ж у р а ў с к і, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, I, стр. 368.

¹⁸ Ф. П. Ф и л и н, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 12.

Песня белорусских солдат Заграй, заграй хлопча малы

Помнім добра, што рабілі,
Як нас дзёрлі, як нас білі.
Дакуль будзем так маўчаці?
Гдзе нам сядзець у хаці.
Нашу землю нам забралі?
Пашто ў пути акавалі?
Дачкі, жонкі нам гвалцілі?
Трэ, каб мы ім заплацілі...
Здрада ёсць ужо ў сенаце,
А мы будзем гніць у хаце?
Возьмем косы ды янчаркі,
Пачнем гордыя гнуць каркі!²⁰

Заграй, заграй хлопча малы,
І ў скрыпачкі і ў цымбалы,
А я заграю ў дуду,
Бо ў Каршыне жыць ня буду.
Бо ў Каршыне Пан сярдзіты,
Бацька кіямі забіты,
Маці тужыць, сястра плача,
Гдзе ж ты пойдзеш неборачэ?
Гдзе я пайду мілы Боже!
Пайду ў сьвет, у бездарожэ,
В Ваўкалака абярнуся,
Зшосясьям (з шчасям.— А. В.)
на вас абярнуся²¹.

Учитывая ярко выраженную народную основу многих белорусских песен XVIII в., исследователи белорусской литературы ставят закономерный вопрос: «Не отсюда ли делала свои первые шаги новая белорусская литература, развивавшаяся на принципиально новой разговорной языковой основе?»²² Это достаточно аргументированное замечание можно считать приемлемым не только для литературоведов, но и для лингвистов, поскольку большинство песен рассматриваемого периода служит образцом формирования нового белорусского литературного языка в XVIII в. на народной основе.

Теперь обратимся к не менее интересному жанру белорусской литературы XVIII в. — сатирической прозе, появившейся на белорусском языке в XVII в. («Речь Ивана Мелешко» и «Письмо к Обуховичу») и продолжавшей свое развитие в новых исторических условиях. До нас дошли две оригинальные бурлескно-сатирические речи, написанные в пределах юго-западной Белоруссии в начале XVIII в. — «Concio Ruthenae» и «Alia Concio pro Nativitate Dni (Domini)»²³. Эти тексты как бы продолжают и дополняют традицию политической сатиры старобелорусской письменности XVII в. В жанрово-стилистическом отношении и демократической направленностью своей сатиры они сближаются с аналогичными предшествующими памятниками «Речь Ивана Мелешко» и «Письмо к Обуховичу», но в системе языковых средств есть некоторые различия. Тексты XVII в. вообще свободны от книжнославянского влияния, их язык представляет собой образец литературно-художественных произведений, созданных на народно-образном языке с широким использованием в них народного творчества. В сатирических произведениях XVIII в. одновременно с типично белорусскими языковыми средствами (*просімо, бачыць, робіць, гэтак, досыт, грошы, нехай, праца, прысмакі, спевак, стайня, статак, хіба, хлеў, хутко, очы, ажно*) встречаются книжнославянские и русские наддиалектные элементы, подчиненные фонетическому принципу белорусского письма (*амін, ангел, алілуя, глаголанне, господ, господзі, бог, мір, мысліці, велічаць, подчас, пастыр, спасенне, рожденны*) и изредка полонизмы

²⁰ Оригинал этой песни хранится в Центральной библиотеке Академии наук Литовской ССР в Вильнюсе. Отрывки из нее и других песен опубликованы А. Мальдисом в статьях «Дзве знаходкі» («Літаратура і мастацтва», 19 IX 1969) и «Сярод вілескіх рукапісаў» (там же, 16 VII 1971). См. также: «Запіскі аддзела гуманітарных навук», I, кн. 4, сшытак 1, Мінск, 1926, стр. 186.

²¹ Первые стихотворение было издано в кн.: «Powieść z czasu mojego czyli przygody litewskie», London, 1854.

²² А. М а л ь д з і с, Сляды продкаў.

²³ Оригиналы этих текстов не так давно обнаружены в государственном архиве Литовской ССР в Вильнюсе и изданы С. Мисько (С. М і с ь к о, Невядомыя беларускія творы першай паловы XVIII стагоддзя, стр. 165—166).

(*жолнер «солдат», ваішмоць «ваше превосходительство», науцыцель «учитель», рок «год». пекельный «адский», пан*).

Еще один тип белорусского литературного языка XVIII в. составляла деловая письменность. До недавнего времени нам были известны немногочисленные деловые документы этого периода, написанные на белорусском языке преимущественно в пределах северо-восточной и юго-восточной части Белоруссии: Легендационная запись 1700 г., Духовное завещание могилевского бурмистра Малахия Казкевича 1702 г., выписки из городских книг Речицкого уезда 1746 г., выписки из актовых книг Витебской и Могилевской губерний и др. Со стороны языка они заметно отличаются от комедийных и стихотворных текстов тем, что наследуют традиционную форму изложения с сохранением стандартных штампов деловой письменности предшествующего периода. Вместе с тем эти деловые документы характеризуются и некоторыми особенностями: на фоне живой народной основы здесь нередко встречаются черты русского языка, а не польского, что наблюдалось в таком типе письма особенно в XVII в.²⁴ Это свидетельствует о том, что на территории Белоруссии (прилегающей к России), где продолжала развиваться деловая письменность, белорусские авторы (писцы) свободно владели не только белорусским, но и русским языком. Такие деловые документы сохраняют языковую близость с рассмотренными выше сатирическими произведениями, если не принимать во внимание отсутствие полонизмов в первых из них и наличие во вторых.

Значительный интерес для истории белорусского литературного языка представляет изучение как оригиналов, так и копий отдельных законодательных актов XVIII в. на белорусском языке. Типичным образцом этого вида письменности является недавно обнаруженная нами в библиотеке Польской Академии наук в Кракове рукописная копия «Устав на волоки» — закон о проведении волочной меры, созданный литовским князем Сигизмундом Августом в 1557 г.²⁵ Копия написана заместителем оршанского старосты Георгием Кочановским в 1790 г. латиницей по-белорусски, кроме польского заглавия и приписок в конце рукописи на польском и латинском языках. Сравнение «Устава на волоки» 1557 г. с копией 1790 г. свидетельствует о том, что по языку они заметно отличаются между собой и характеризуются особенностями графической, орфографической, грамматической и лексической систем. Не вдаваясь в подробное рассмотрение всех этих различий²⁶, остановимся лишь на фактическом материале и проанализируем его с учетом наиболее существенных моментов.

Орфографической нормой оригинального текста является переход начального гласного звука *у* в билабиальный сонант *ў* неслоговое, обозначаемый на письме буквой *в*. В копии эта черта не нашла своего отражения: переписчик, вероятно, сознательно нарушал такой орфографический принцип старобелорусской письменности и передавал слова согласно живому произношению: *вбство* — *убство*, *въжывали* — *ужывали*, *вчынить* — *учынит*.

В употреблении согласных букв в копии наблюдаются случаи отклонения от оригинала в соответствии с нормами белорусского языка. Так, вместо твердых здесь употребляются мягкие согласные *л*, *з* (*болшь* — *болши*, *толко* — *только*, *съ пенезми* — *с пенезьми*); африката *ждч* переда-

²⁴ Подробный лингвистический анализ этих документов см.: У. В. А н і ч ь н к а, Некаторыя пытанні развіцця беларускай мовы ў XVIII стагоддзі, стр. 122—123.

²⁵ Оригинал этого памятника опубликован в кн.: «Литовская метрика, отделы первый-второй, часть третья. Книга публичных дел», I, (РИБ, т. XXX, Юрьев, 1914, стлб. 542—599).

²⁶ Об этом см.: У. В. А н і ч ь н к а, Помнікі беларускай дзелавой мовы ў бібліятэках Польскай Народнай Рэспублікі, «Беларуская мова», 6, Мінск, 1978, стр. 3—12.

ется посредством ждз (*доеждѣчалъ — доежджал, прыеждѣчаютъ — прыежджуютъ*); мягкое *д* иногда заменяется аффрикатой *дз* (*въ госпoде — в госпoдзe, дeвoкъ — дзeвoкъ*); на месте мягкого *т* встречается *ц* (*з Ракань-тишокъ — з Раканцѣшoкъ*); удвоенные *нн* и *лл* (*подданыхъ — подданных, з Забеля — з Забелля*); чередование *з — с* (*близкихъ — блискихъ, на козбу — на косьбу*); чередование *ц — ч* (*цынишъ — чыниш*); *ш — с* (*по выштѣю — по выстѣю*). В отношении правописания шипящих *ж, ш* переписчик копии более последовательно (чем писец оригинала) отражал их твердость в соответствии с произношением в белорусском языке: *збожѣя — збожа, гроши — грошы*.

Отдельные грамматические формы копии в большей мере, чем в оригинале, соответствуют живому белорусскому произношению. Некоторые существительные в первом тексте представлены в форме мужского рода, а во втором — женского (*потребѣ — потреба*) и наоборот (*продажа — продаж*). Под влиянием белорусских народных говоров у существительных мужского рода единственного числа родительного падежа бывших основ на *-о*, употреблявшихся в оригинале с окончанием *-а*, переписчик копии иногда заменял это *-а* на *-у* (*артыкула — артыкулу*), в именительном падеже множественного числа формы на *-еве* уступали место формам на *-и* (*бортеве — борти*), а в предложном вместо традиционного окончания *-охъ* использовался современный вариант *-ах* (*о осочѣнкохъ — о осочниках*).

Прилагательные и субстантивированные существительные, а также порядковые числительные и неличные местоимения мужского рода единственного числа именительного падежа вместо характерного для оригинала традиционного окончания *-ый (-ий)* в копии часто получали унифицированное окончание *-ы (-и)*: *безпечѣный — безпечны, дворный — дворны, моцный — моцны, третій — трети, кожѣдый — кожды, которій — которы, який — яки*.

Внутренняя форма некоторых порядковых числительных в рассматриваемых текстах не всегда совпадала: в оригинале их первая часть изменялась и к ней присоединялся неизменяемый количественный показатель *-надцать*. В копии они соответствовали белорусскому произношению в ту пору: первая часть являлась неизменяемым количественным числительным, а вторая изменялась по образцу полных прилагательных: *семогонадцать дня — семнадцатого дня, осмогонадцать дня — осимнадцатого дня, девятогонадцать дня — девятнадцатого дня*.

Встречаются отдельные случаи несовпадения грамматической структуры неличных местоимений. И если, скажем, в оригинале, в некоторых косвенных падежах они сохраняли более древнюю внутреннюю форму, то в копии иногда заменялись народно-разговорными соответствиями: *роказанье наше — роказане наше, пры своемъ — пры своїм, пры немъ — пры нім, въ томъ — в тым*.

В системе наречий выделяются некоторые формы, образованные разными способами. Имеется в виду неодинаковое образование в оригинале и копии простых форм сравнительной и превосходной степеней наречий. В первом тексте сравнительная степень образовывалась от исходной формы при помощи суффикса *-ей*, а во втором ей соответствовали формы на *-ы*: *большей — большы, менъшей — меншы*. Простые формы превосходной степени наречий представляли собой сочетания форм высшей степени и видоизмененного префикса *на-*. Такой словообразовательный тип наречий был известен и некоторым другим памятникам старобелорусской письменности, но более продуктивным являлся словообразовательный тип с префиксом *най-*, распространенный и в копии рассматриваемого документа: *напервей — найпервей, напъростей — найпростей, прынамъней —*

прынаймней. В ряде случаев вместо предлогов *отъ-* (*ото-*), *съ-* (*со-*) и союзов *естъли*, *естълибы*, *ижъбы*, зафиксированных в первом тексте, во втором соответственно представлены варианты *од-* (*одо-*), *з-* (*зо-*), *еслии*, *еслибы*, *ажбы*.

Среди суффиксального способа образования наиболее показательными являются дублетные пары с традиционным суффиксом *-ств* в оригинальном тексте и новой формой *-цтва* в позднейшем списке, соответствовавшей живому белорусскому произношению: *бобровницъства* — *бобровництва*, *городницъства* — *городництва*, *купецъстве* — *купецтве*, *неводницъствъ* — *неводництва*, *шляхецъство* — *шляхецтво*.

Лексическая система обоих текстов в основе своей совпадает, но в последнем чаще встречаются слова живого белорусского языка или формы с региональной огласовкой, образованные путем видоизменения фонетических и морфологических процессов согласно народному произношению. Так, общепотребительное в оригинале слово *лицо* заменено в копии вариантом *яко*, соответственно: *каждый* — *кождый*, *неббалость* — *недбайность*, *отъпочывокъ* — *отпочынок*, *поколь* (*поколя*) — *покуль*, *потоль* — *потуль*, *тыйденъ* — *тыдень*.

Среди разных по времени возникновения и происхождению слов в первом и втором текстах встречается некоторое количество лексических заимствований. Наиболее характерными в этом отношении являются полонизмы, которые в обоих случаях примерно употребляются в одинаковой мере. Разница наблюдается лишь в том, что переписчик копии не только избегал полонизмов, использованных в оригинале, но и вводил их в литературное употребление: *влоствъность* — *улаcность*, *злаца* — *злашца*, *кгда* — *когда*, но: *боронено* — *бронено*, *золотаръ* — *злотар*, *першый* — *первшый* (*первыш*), *подле* — *водле*, *розный* — *рожный*.

Таким образом, рукописная копия «Устав на волоки» в языковом отношении заметно отличается от оригинала. Оригинал написан с учетом традиционных образцов старобелорусской деловой письменности, а копия приближена к живому белорусскому произношению. Это обусловлено тем, что переписчик свободно владел народно-разговорной речью и вводил ее в литературное употребление. Зависело это и от того, что копия написана необычной для белорусских писцов, но модной в то время латинской графикой, которая не имела такой устойчивости в Белоруссии, как кириллица. Не случайно здесь отражены такие специфические черты белорусского языка, неизвестные или малоизвестные предшествующим кириллическим текстам, как *дзекање* и *цекање*. В этом отношении рассматриваемая копия больше сближается с комедийными, некоторыми стихотворными и сатирическо-прозаическими произведениями, чем с известными нам деловыми памятниками той эпохи.

Мы исчерпали, насколько возможно, систематизацию и языковой анализ разнородных памятников белорусской письменности XVIII в., но необходимо настоятельно производить их дальнейшее разыскание для того, чтобы еще убедительнее обосновать тезис об употреблении в этот период белорусского языка не только в устной, но и литературно-письменной форме.

Заканчивая статью, позволим себе выразить уверенность, что фактический материал некоторых проанализированных нами памятников дает основу для признания преемственной связи белорусского литературного языка XVIII в. с белорусским литературным языком XIX в. Исследование письменных свидетельств белорусского языка XVIII в. разных жанров показывает, что уже в XVIII в. была заложена основа нового белорусского литературного языка, и с этого времени следует производить отсчет его развития.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

НЕРОЗНАК В. П.

СЛОВАРЬ ГЕСИХИЯ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ РЕЛИКТОВЫХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ *

Из многочисленных индоевропейских языков, существовавших в древности, целый ряд языков и даже языковых групп исчез из живого употребления. В силу исторических условий они не смогли стать основой для развития новых, функционирующих ныне языков. Одни из них, как хетто-лувийские и тохарские языки, дошли до нас в большом числе памятников — мы располагаем хозяйственными, правовыми, культовыми текстами на этих языках, даже отдельными произведениями художественной литературы. Другие — венетский, фригийский, фракийский, иллирийский, мессапский, — имея самостоятельный языковой статус, не могут быть отнесены ни к одной из известных до сих пор языковых групп. Наконец утрачены отдельные ответвления сохранившихся языковых групп. Так, исчезли скифский и мидийский языки, входившие в состав иранской языковой группы, кельтские языки — кельтиберский и галатский. Сравнительно недавно, в XVII в. перестал существовать прусский язык, представитель балтийской языковой группы, последний носитель далматинского (восточнороманского языка) умер в конце XIX в.

Названные выше венетский, палеобалканские языки, скифский представлены лишь в незначительных фрагментах. Часть этих языков обладает эпиграфической традицией (венетский, фригийский, мессапский), тогда как скифский, иллирийский и др. не имеют текстов. Основным источником сведений об этих, дошедших в остатках языках служат произведения античных авторов — писателей, историков, географов, врачей и путешественников (Гомер, Геродот, Страбон и др.).

Сведения о древних индоевропейских народах и языках негреческого и нелатинского происхождения мы находим не только у античных авторов, но и у позднейших комментаторов их произведений — схолиастов, а также у лексикографов и грамматиков. Ценнейшими хранителями иноязычной лексики являются позднеантичные и византийские словари Гесихия, Фотия, Свиды, «Etymologicum Magnum», Стефания Византийского и другие компилятивные коллекции слов и имен собственных (ономастиконы)¹. Среди названных лексикографических источников самым обширным и ценным является «Лексикон Гесихия Александрийского», вобравший в себя слова классиков греческой литературы, богатую диалектную лексику, иноязычную лексику соседних индоевропейских народов.

* В основу настоящей статьи положен доклад, прочитанный на мемориальной научной сессии в МГПИИЯ им. М. Тореца, посвященной 80-летию со дня рождения проф. И. М. Тронского.

¹ Подробнее об этом см.: В. П. Н е р о з н а к, Принципы исследования палеобалканской ономастики, «Историческая ономастика», М., 1977, стр. 27 и сл.

Характеризуя лексикографические и диалектологические работы античных грамматиков, известные ныне нам в извлечениях византийских писателей и ученых, И. М. Тронский отмечал узость их лингвистического кругозора². Она выражалась в том, что грамматиков эллинистического периода интересовал не живой греческий язык во всем его многообразии диалектов, а лишь язык классиков литературы (*ἑλληνισμός*), т. е. то, что мы сейчас называем литературным языком.

Диалектные данные учитывались лишь в той мере, в какой они были связаны с языком писателей, со словарем того или иного автора. При этом лексика диалектов, на которых отсутствовала литература, отражена достаточно широко именно в силу того, что она черпалась не только из словоупотребления писателей, но в значительной степени и из древних сочинений, посвященных быту, учреждениям, материальной культуре отдельных областей Греции, включая и окраинные территории, находившиеся в контакте с иноязычными народами.

Словарь Гесихия выгодно отличается от подобных ему предшествующих и последующих позднеантичных и византийских словарей тем, что он содержит обширный лексический материал не только тех диалектов, которые имели литературную традицию, но и тех, которые не были литературно обработаны (аркадо-кипрский, памфилийский, северо-западные дорийские диалекты и др.). Именно благодаря широкому охвату диалектной лексики в словарь вошла и лексика других индоевропейских языков, не имевших собственной письменной традиции. Тем самым словарь Гесихия Александрийского представляет большую ценность не только как самый обширный из всех известных нам античных словарей, содержащий важные данные как для истории греческого языка, так и для индоевропеистики в целом, но и как замечательный памятник мировой лексикографии, являющийся одним из первых толковых и одновременно диалектных словарей. Из более поздних словарей с ним можно сравнить по богатству охвата диалектного материала разве только словарь В. Даля.

О «жизни» словаря мы почти ничего не знаем. Известно, что он дошел до нас в одном списке, так называемой Венецианской рукописи (Marcianus Gr. 622), которая, как предполагают, была составлена на юге Италии в XV в. За тысячу лет его существования (словарь был составлен в V в. н. э.) он, по-видимому, неоднократно переписывался. Результатом такой не всегда тщательной переписки и несовершенной текстологической работы первого издателя явилось наличие множества ошибок в рукописи, чтения которой трудно отличить от поправок, внесенных издателем рукописи М. Мусуром³. Эта рукопись включала также выдержки из глоссария византийского лексикографа Кирилла.

Подлинно научное издание словаря Гесихия до недавнего времени отсутствовало, поскольку подготовленное в прошлом веке издание М. Шмидта в 5 томах⁴ во многом устарело. Большой вклад в изучение богатейшего лексикографического наследия Гесихия внес датский ученый К. Латте⁵, подготовивший новое критическое издание словаря. Он провел

² И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 49—50.

³ И. М. Тронский, К вопросу о месте греческого ударения, «Язык и стиль античных писателей», Л., 1966, стр. 175—176.

⁴ «Hesychii Alexandrini Lexicon», recensuit Mauricius Schmidt, I—V, Ienae, 1858—1868. В четвертом томе содержится предисловие к более раннему изданию (editio princeps) М. Мусура (1514), а в пятом — биография Мусура и послесловие. Словарь был недавно переиздан фототипическим способом в Амстердаме («Hesychii Alexandrini Lexicon», I—V, Amsterdam, 1965).

⁵ «Hesychii Alexandrini Lexicon», recensuit et emendavit Kurt Latte, 1 — A — D, Hauniae, 1953; 2 — E — O, Hauniae, 1966.

огромную текстологическую работу, результатом которой явились значительные эмэндации словарных статей, новый критический аппарат, в котором были учтены достижения палеографии и текстологии, диалектологии и лексикографии⁶. В то же время издание М. Шмидта также не потеряло своего значения, с известной степенью критицизма им можно пользоваться и сейчас.

Об авторе словаря мы располагаем скудными сведениями. Сохранилось письмо Гесихия его товарищу Эвлогию. Сам Эвлогий не известен как автор каких-нибудь филологических трудов. Много сделавший для изучения словаря К. Латте приходит к выводу, что и Гесихий и Эвлогий — христиане, поэтому он датирует написание словаря V в. н. э. Ранее «едва ли можно встретить христианина в этой области филологии», отмечает он⁷. Кроме того, более раннее время не допускает соединения обязанностей писца и автора.

По жанру словарь является компиляцией, о чем можно судить по заголовку словаря: «Гесихия Александрийского грамматика, полное собрание слов по алфавиту из сочинений Аристарха, Апиона и Гелиодора». Он составлен на основании труда античного лексикографа Диогениана, который в свою очередь сократил обширный лексикографический труд Памфила, обобщившего собрания предшествующих лексикографов. Гесихий в письме Эвлогию замечает, что он решил переработать «Περὶ ῥωπένητες» («Любопытствующие бедняки») Диогениана с дополнениями гомеровских слов из Аристарха, Апиона и Гелиодора. О том, что это именно так, свидетельствует находка флорентийского папируса, датированного IV в. н. э., довольно точно передающего диогениановы глоссы Гесихия. Есть основания предполагать, что списком слов Диогениана пользовался и схолиаст Эсхин, так как многое в его схолиях совпадает слово в слово с Гесихием.

При изучении лексики словаря Гесихия необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что значительная часть ее относится не ко времени составления словаря, т. е. не отражает греческий язык V в. н. э., а включает в себя слова, заимствованные им из более ранних собраний слов. В словаре представлен значительный список слов раннего и даже архаического периодов греческого языка. Следует со вниманием относиться и к расстановке ударения в глоссах у Гесихия. Оба издателя, М. Шмидт и К. Латте, гиперкритически отнеслись к диакритике у Гесихия и по принципу *orthographia non potantur* подвергли расстановку ударения сплошной конъектуре. Они исходили из тех соображений, что словарь, будучи переработкой предшествующих лексикографических собраний (Диогениана, Памфила), акцентуально оформлен по византийским нормам, где ударение стало уже орфографической условностью. Столь решительное обращение издателей со словарем представляется неоправданным. И. М. Тронский отмечал, что в некоторых случаях Гесихий сохраняет традицию дорийского ударения, а его отклонения от норм Геродиана заслуживают особого изучения⁸. Недавнее изучение древнего наследия в новогреческих диалектах, в особенности в даконском, непосредственном продолжателе до-

⁶ Существует большое число филологических и лингвистических статей и заметок, посвященных отдельным глоссам из Гесихия. Из наиболее существенных работ в этой области можно назвать: A. von Blumenthal, Hesykestudien. Untersuchungen zur Vorgeschichte der griechischen Sprache nebst lexikographischen Beiträgen, Stuttgart, 1930. См. также: W. Schwartz, Marginalien zur Glossenkritik am Hesychelexikon, Würzburg, 1966. На русском языке словарю Гесихия посвящена лишь одна небольшая статья: В. П. Нерознак, Палеобалканские элементы в словаре Гесихия, «Балканская филология» («Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 73), Л., 1970.

⁷ К. L a t t e, указ. соч., стр. VII.

⁸ И. М. Т р о н с к и й, К вопросу о месте греческого ударения, стр. 176.

рийского диалекта, подтверждают во многих случаях оправданность расстановки ударения в словаре Гесихия⁹.

Значение лексикона греческого грамматика Гесихия Александрийского не только для греческой, но и для индоевропейской диалектологии, стало особенно явственным после дешифровки крито-микенских текстов. Многое из того, что ранее считалось у Гесихия «варваризмами», непонятными словами (с подозрением в искажении при небрежной передаче греческих слов), и нередко подвергалось конъектурам, оказалось относящимся к архаическим греческим диалектам, к индоевропейскому наследию, к языкам соседних индоевропейских народов. В последнее время словарь Гесихия становится важным источником и для индоевропейской этимологии. Как показывает анализ, у Гесихия находят параллели не только *ἀπαξ λεγόμενα* греческого языка, в том числе архаического периода, не только реликтовые слова соседствовавших с греческим вымерших индоевропейских языков, но и лексика таких территориально отдаленных языков, как балтийские и кельтские.

Наряду с древнейшими эпиграфическими документами, а также наследием древних авторов, словарь Гесихия служит одним из важнейших источников для изучения истории греческого языка¹⁰. Ценность словаря Гесихия высока еще и потому, что в нем отмечены многочисленные слова, которые отсутствуют у античных авторов и в надписях. Многие языковые явления (наличие дигаммы в начале слова, которая, как правило, опускалась на письме и восстанавливалась лишь этимологически и метрически, появление витацизма и итацизма в живом употреблении, спирантизация звука, обозначаемого ϑ , а также δ) находят свое отражение в этом словаре.

Вот некоторые из примеров для названных нами явлений. В словаре Гесихия знак Γ (дигамма), задолго до его времени вышедший из употребления, нотируется графически сходным Γ «гаммой». Об этом неоспоримо свидетельствуют следующие глоссы у Гесихия: $\gamma\omicron\iota\nu\omicron\varsigma < * \Gamma\omicron\iota\nu\omicron\varsigma$ «вино»; $\gamma\omicron\iota\nu\acute{\alpha}$ [ρ] $\omicron\tau\iota\varsigma = * \Gamma\omicron\iota\nu\acute{\alpha}$ [ρ] $\omicron\tau\iota\varsigma$ (ср. $\omicron\iota\nu\acute{\eta}\rho\omicron\tau\iota\varsigma$) «ковш для разливания вина»; $\gamma\acute{\epsilon}\tau\omicron\rho = * \Gamma\acute{\epsilon}\tau\omicron\rho$ «век»; $\gamma\acute{\epsilon}\tau\omicron\varsigma = * \Gamma\acute{\epsilon}\tau\omicron\varsigma$ «век, год»; $\gamma\iota\sigma\alpha\iota\epsilon\nu\alpha\iota = * \Gamma\iota\delta\alpha\iota\epsilon\nu\alpha\iota$ [$\alpha\iota$] «видеть, созерцать»; $\gamma\iota\pi\omicron\nu < * \Gamma\epsilon\iota\pi\omicron\nu$ (ι здесь отражение итацизма) и т. д.

Витацизм неоднократно засвидетельствован в словаре. Так, в глоссе $\beta\eta\rho\acute{\alpha}\nu\theta\epsilon\mu\omicron\nu \nu\acute{\alpha}\rho\chi\iota\sigma\sigma\omicron\varsigma. \omicron\iota\ \delta\grave{\epsilon}\ \Gamma\eta\rho\acute{\alpha}\nu\theta\epsilon\mu\omicron\nu \lambda\acute{\epsilon}\gamma\omicron\upsilon\sigma\iota$ Гесихий прямо указывает, что β произносилось как ν и приводит форму с вышедшей уже из употребления дигаммой. Интересно в связи с этим отметить двоякую передачу слова, обозначающего название змеи в критском диалекте. В одном случае в соответствующем месте дана глосса в форме $\delta\iota\beta\alpha\nu$. И затем ниже приводится форма $\delta\iota\phi\alpha$.

Современное Гесихию итацистическое произношение отражено в целом ряде глосс: $\iota\rho\alpha\nu\epsilon\varsigma \omicron\iota\ \epsilon\iota\rho\epsilon\nu\epsilon\varsigma$ «архонты, ровесники у лаконцев». Ср. также $\iota\delta\alpha\varsigma \epsilon\iota\delta\omicron\varsigma$ «вид (образ) и все возвышенное». Далее ср. $\iota\theta\nu\nu\omicron\mu\epsilon\nu \epsilon\upsilon\theta\nu\nu\omicron\mu\epsilon\nu$ от $\epsilon\upsilon\theta\acute{\nu}\omega$ «правляю, направляю»; $\iota\theta\acute{\upsilon}\varsigma \epsilon\upsilon\theta\acute{\upsilon}\varsigma$ «прямой». Здесь параллельно с явлением итацизма происходило стяжение $\epsilon\nu > i$. Отчетливо выступает итацизм в глоссах $\iota\chi\epsilon\iota \acute{\eta}\chi\epsilon\iota$ (от $\acute{\eta}\chi\omega$ «прибывать, приходить»); $\iota\nu\acute{\alpha}\rho\epsilon\tau\omicron\varsigma \iota\chi\alpha\nu\acute{\omicron}\varsigma \epsilon\nu\acute{\alpha}\rho\epsilon\tau\omicron\varsigma$ «добродетельный» и т. д. Приведенных примеров из Гесихия достаточно, чтобы можно было сделать вывод об активном действии процесса итацизма в диалектной греческой речи в так называемый

⁹ N. A n d r i o t i s, Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien, 1974. Мую рецензию на этот словарь см.: «Этимология. 1976», М., 1978.

¹⁰ Исключительно важное значение лексикон Гесихия имеет как хранитель диалектной лексики греческого языка, в особенности его маргинальных ареалов. См.: N. A n d r i o t i s, указ. соч.

позднегреческий период (Spätgriechisch). Вопрос о периодизации греческого языка здесь не затрагивается.

В словаре Гесихия отражена также уже наметившаяся в живом произношении тенденция к спирализации глухого придыхательного звука, обозначавшегося в древнегреческом тэтой.

О том, что θ стала произноситься как межзубной спирант, свидетельствуют глоссы из Гесихия: $\phi\lambda\acute{\alpha}\sigma\alpha\varsigma$: $\theta\lambda\acute{\alpha}\sigma\alpha\varsigma$ от $\theta\lambda\acute{\alpha}\omega$ «раздавливать, мять», у него же $\phi\lambda\acute{\alpha}$: $\theta\lambda\acute{\alpha}$, $\phi\lambda\alpha\delta\iota\acute{\alpha}\nu$: $\theta\lambda\alpha\delta\iota\acute{\alpha}\nu$, $\phi\eta\rho\alpha$: $\theta\eta\rho\alpha$, $\phi\lambda\iota\psi\iota\varsigma$: $\theta\lambda\iota\psi\iota\varsigma$. В некоторых случаях Гесихий указывает и на диалект, в котором этот процесс засвидетельствован. Ср. пример из эолийского диалекта $\phi\eta\rho\iota\alpha$: $\theta\eta\rho\iota\alpha$: $\text{A}\iota\omicron\lambda\iota\epsilon\iota\varsigma$.

Весьма значительно число примеров, отражающих альтернативу b/m в начале слова. Явление это было довольно распространенным на древних Балканах, особенно во фракийском, и оно продолжает сохраняться до сих пор в современном албанском языке, на что уже обращали внимание в специальной литературе¹¹. В древнегреческом это чередование, по нашему мнению, вызвано влиянием палеобалканских языков. Приводимые ниже примеры с чередованием b/m у Гесихия, как правило, сопровождаются и другими фонетическими процессами: синкопой, диссимиляцией и ассимиляцией, изменениями в вокализме. Ср. $\beta\acute{\omicron}\rho\mu\alpha\acute{\epsilon}\nu$: $\mu\acute{\omicron}\rho\mu\eta\acute{\xi}$ «муравей»; $\beta\acute{\epsilon}\lambda\lambda\epsilon\iota\nu$: $\mu\acute{\epsilon}\lambda\lambda\epsilon\iota\nu$, $\beta\acute{\epsilon}\beta\lambda\epsilon\iota\nu$: $\mu\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota\nu$ «заботиться, намереваться»; $\beta\lambda\alpha\chi\iota\alpha$: $\mu\alpha\lambda\alpha\chi\iota\alpha$ «вьялость, изнеженность»; $\beta\acute{\rho}\omicron\mu\alpha\tau\alpha$: $\mu\eta\rho\acute{\omicron}\mu\alpha\tau\alpha$ «нити, волокно» и т. д.

Помимо большого количества диалектной лексики греческого языка, в словаре представлен значительный пласт лексики древних исчезнувших индоевропейских языков. Часть этой лексики снабжена этниконами, т. е. указаниями, какому народу или племени принадлежит то или иное слово. Однако большая часть негреческой лексики словаря этнических помет не содержит, что во многом затрудняет возможность языковой идентификации глосс.

Об уникальности словаря Гесихия как источника для изучения исчезнувших индоевропейских языков говорит тот факт, что из 10 сохранившихся скифских апеллятивов следующие семь допес до нас этот словарь: $\sigma\acute{\alpha}\nu\alpha\pi\tau\iota\varsigma$ «винопийца», $\sigma\acute{\alpha}\chi\alpha\iota\alpha$ «скифский праздник», $\sigma\alpha\chi\upsilon\nu\delta\acute{\alpha}\chi\eta$ «скифская одежда», $\kappa\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\delta\eta\varsigma$ — эмендация В. И. Абаева вместо $\sigma\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho\delta\eta\varsigma$ (название рыбы у скифов), $\kappa\acute{\alpha}\nu$ (ν) $\alpha\beta\iota\varsigma$ (название конопли у скифов), $\delta\acute{\rho}\mu\alpha\tau\alpha\iota$ «мужеубийцы» (название амазонок у скифов), $\kappa\alpha\zeta\alpha\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ — эмендация В. И. Абаева вместо $\kappa\alpha\rho\alpha\rho\acute{\epsilon}\varsigma$ «скифские дома»¹². Остальные 190 слов составляют имена собственные, преимущественно антропонимы и этнонимы¹³. Точно так же из двух-трех апеллятивов мидийского языка¹⁴ в качестве глосс мы находим у Гесихия $\epsilon\pi\acute{\alpha}\chi\alpha$ «собака; сфинкс» (впервые отмечена у Геродота) и $\sigma\acute{\rho}\lambda\alpha\chi\alpha\varsigma$: $\kappa\acute{\omicron}\nu\upsilon\varsigma$ «собаки» (принадлежность второго к мидийскому сомнительна).

Глоссы из Гесихия, имеющие этникины ($\Phi\rho\gamma\eta\varsigma$, $\Theta\rho\eta\tilde{\iota}\kappa\epsilon\iota\varsigma$, $\text{M}\alpha\kappa\epsilon\delta\acute{\omicron}\nu\epsilon\varsigma$, $\text{N}\epsilon\tau\epsilon\rho\acute{\omicron}\tau\alpha\iota$, $\text{A}\delta\alpha\mu\acute{\alpha}\nu\epsilon\varsigma$, $\text{P}\alpha\iota\acute{\omicron}\nu\epsilon\varsigma$, $\text{M}\epsilon\sigma\acute{\alpha}\pi\iota\omicron\iota$) в большинстве своем проис-

¹¹ C. P o g h i g s, L'alternance $m/mb/b$ en thrace et en albanais, «Балканско езиковзнание», VI, 1963.

¹² В. И. А б а е в, Осетинский язык и фольклор, М.—Л., 1949, стр. 151—190.

¹³ Языки, не имеющие связанных текстов и в словарном составе которых преобладают имена собственные, я называю «ономастическими». Помимо скифского, таковыми можно назвать фракийский, иллирийский, мидийский, язык синдгов, из индоевропейских языков хазарский. В этой связи большой научный интерес представляет исследование О. Н. Трубочева, который, основываясь только на материале имен собственных, в том числе и некоторых так называемых скифских именах, реконструировал особый индоарийский язык синдгов (см.: О. Н. Т р у б а ч е в, О синдах и их языке, ВЯ, 1976, 4).

¹⁴ Подробнее о нем см.: M. M a u r h o f e r, Die Rekonstruktion des Medischen, «Anzeiger der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse», Jg. 1968, № 1.

ходят из палеобалканского языкового источника. Вклад палеобалканских языков в диалектную лексику греческого языка существен, в особенности он заметен в лексике дорийского диалекта. Неоднократно засвидетельствованные у Гесихия ἀπαξ λεγόμενα, помеченные этниконом Λάκωνες, Δωριεῖς и не имеющие объяснений с помощью данных греческого языка, с большой долей вероятности могут рассматриваться по происхождению как палеобалканские или даже общеиндоевропейские.

Впервые аллогенную лексику в словаре Гесихия подробно исследовал А. фон Блюменталь¹⁵, который выделил в нем несколько иноязычных слоев: иллирийский в дорийском, мессапский, македонский, малоазийский и эгейский. Добавим к этому также фригийские и фракийские глоссы, и в целом палеобалканский вклад в словаре окажется заметным.

Не затрагивая так называемый малоазийский и эгейский слой, более подробно остановимся на палеобалканском лексическом фонде в словаре Гесихия. Многочисленные глоссы из словаря Гесихия являются ἀπαξ λεγόμενα. Одни из них получают объяснения из греческого, другая часть не имеет удовлетворительного разъяснения из-за отсутствия параллелей внутри греческого языка. Между тем существует возможность истолковать ряд глосс как палеобалканские по происхождению, обращаясь к исконной лексике албанского языка, единственного наследника палеобалканских языков, к субстратной лексике новых балканских языков, а также к другим индоевропейским языкам. В этой связи следует указать на то, что сопоставление исконных слов в албанском с рядом глосс из Гесихия приводит к мысли об их принадлежности к общему, в большинстве своем палеобалканскому источнику. Лексические параллели древнейшей поры, объединяющие албанский с греческим, охватывают главным образом дорийскую лексику, а дорийцы, как известно, заселили те места, которые до них занимали иллирийские племена.

Сколько же велико число древнебалканских слов в составе негреческой лексики из глоссария Гесихия? Ответить на этот вопрос и легко, и трудно. Легко подсчитать число нотированных у Гесихия древнебалканскими этниконами глосс. В результате окажется, что лишь одна глосса помечена у него как иллирийская, три как мессапские, девять как фракийские, 11 как фригийские.

Столь незначительное число указаний на принадлежность глосс к палеобалканскому источнику объясняется тем, что во времена Гесихия палеобалканские языки уже не существовали в живом употреблении. Поэтому для палеобалканистики существенное значение имеют данные тех греческих диалектов, которые находились в тесных контактах с палеобалканскими языками. В особенности это касается дорийского диалекта. Как показал А. фон Блюменталь, исследование глосс из дорийского диалекта Тарента позволяет сделать заключение об их иллирийском или мессапском происхождении. Число же глосс, помеченных этниконом Ταραντίνοι, Ἀδριακῶται в словаре, значительно дополняет мессапский слой. Палеобалканскими являются также некоторые глоссы, снабженные пометой «македонское». Число македонских глосс в античных и византийских источниках достигает 153, из них почти половину (68 глосс) сообщает нам словарь Гесихия¹⁶.

Встает, однако, вопрос о том, почему в словаре Гесихия количественно больше представлена фригийская лексика (фригийский язык ко времени Гесихия уже вымер, к тому же он бытовал в историческое время на периферии, в Малой Азии), чем иллирийская. Всего одна глосса нотирована

¹⁵ A. von Blumental, указ. соч.

¹⁶ J. N. Kalléris, Les anciens Macédoniens. Étude linguistique et historique, I, Athènes, 1954, стр. 66. и сл.

как иллирийская. И это при всем том, что иллирийцы вплоть до их ассимиляции были постоянно в поле зрения античных и византийских авторов от Гомера до Иоанна Зонары (XI—XII вв.)¹⁷.

По нашему мнению, это объясняется тем, что понятия «иллирийский язык» во времена Гесихия уже не существовало, так как протоалбанский, вероятно, имел иное название, а другие диалекты иллирийского (либурнийский и мессапский) вымерли. В то же время большая часть негреческой лексики, в том числе и иллирийская, в словаре Гесихия обозначена этниконом Λάκωνες «лаконцы», указывающим на его бытование в лаконском (дорийском) диалекте греческого языка.

О важности свидетельств Гесихия для изучения палеобалканских языков можно судить по замечанию известного балканиста Х. Барича о том, что одной глоссы ἄλιζα (белый тополь у македонцев) достаточно, чтобы высказаться против греческого характера древнемакедонского, так как в ней выступает резкое расхождение с греческим в фонетической трактовке (ἄλιζα < *alisa, тогда как в греческом могло быть только ἄλιζα)¹⁸.

Словарь Гесихия дает существенное дополнение к нашим знаниям о фригийском языке, который засвидетельствован, помимо глосс, в эпиграфических памятниках двух исторических срезов — надписи старофригийского периода относятся к VII (или даже VIII вв.) — V в. до н. э., а надписи новофригийского периода — к II—III вв. н. э.

До недавнего времени имело место произвольное исключение глосс Гесихия и других авторов и лексикографов из состава фригийской лексики на том лишь основании, что это противоречило а priori принятым взглядам о статусе фригийского языка¹⁹. К сожалению, до сих пор отсутствовала этимологически обоснованная сводка²⁰, в которой были бы учтены все фригийские глоссы. Для комплексного исследования палеобалканских языков фригийские глоссы у Гесихия и других авторов дают ценный лингвистический материал, который находит соответствия отчасти в древнебалканском языковом ареале, отчасти в балтийском, славянском, греческом и армянском языках. Тем самым повышается его роль и значение для изучения индоевропейской лексики.

Значение словаря Гесихия состоит не только в том, что он служит важным источником для изучения истории греческого языка, не только для палеобалканистики в целом, но также и для истории албанского языка, продолжателя древнебалканской речи. Остановимся теперь на истолковании целого ряда негреческих глосс из Гесихия, либо не имеющих объяснения, либо объясненных недостаточно корректно. ἄλερον κόπρον «навоз, грязь». Ср. алб. *lerë*, -a с афerezой начального гласного²¹, которое имеет несколько значений: 1) «грязь на теле»; 2) «грязь, слякоть, тина»; 3) «лужа, образовавшаяся в результате таяния снега» и глагол *leros* «пачкать». Уже Г. Мейер (EWAS, 238) сравнил ряд глосс Гесихия ἄλαροναι ῥοπαῖναι «пачкать», ἄλερον «покрытый грязью» с названной глоссой. Ср. также М. Ламберц (KZ, 53, 292) и Г. Хаджидакис (KZ 27, 70), К. Оштир (AASJE II, 287). Ср. алб. топоним *Lera* в округе Мапастир (P. Skok, Glasnik Skopskog učenog društva, 2, 1927, стр. 287). Новогреч. λέρα «грязь», λερώνω «пачкать» заимствованы из албанского (E. Çabej. St. fil. 2, 1964, стр. 22—23).

¹⁷ См. полную сводку исторических упоминаний об иллирийцах в кн.: «Ilirët dhe Iliria te autorët antikë», Tiranë, 1965.

¹⁸ Н. В а г и ć, Ilirske jezične studije, Zagreb, 1948, стр. 5.

¹⁹ Подробно об этом см.: В. П. Н е р о з н а к, К изучению фригийского языка. Проблемы и результаты, «Древний Восток», 2, Ереван, 1976, стр. 172.

²⁰ Такая сводка подготовлена И. М. Дьяконовым и автором этой статьи.

²¹ «Fjalor i gjuhës shqipe», Tiranë, 1954, стр. 265.

ἀσκήρα «вид каштана», ср. также ἄσκρα «неплодоносящее дерево», ср. топоним ὙἈσκρα, ὙἈσκήρη в Беотии ²².

ἀσκήρη — название какого-то растения, ср. у Я. Фриска (GEW, 165) со ссылкой на источники (Гален, Диоскорид) ἀσκήρον «Art Johanniskraut, Nuregisch», ср. возможно алб. *shkurre* «кустарник», *shkorre* «место, поросшее кустарником» (с афрезой начального *a*-). Г. Мейер (EWAS, 410) под знаком вопроса сравнивает алб. *shkurre* с лат. *cornea* от *cornus* «кизил». Иначе Н. Йокль (LKU, 230, 328): *sh-kurre* < **sm-ger-n*, чеш. *keř* «кустарник», польск. *kierz* то же и т. д. и Чабей (St. fil ¹, 1965, 29—30).

ζάριον «мелкий скот», ср. алб. *berr*, собирательно «мелкий скот» (G. Meyer, EWAS, 27, 33). Того же корня и *bëruo* «пастух» у Бузуку < **baron*, ср. совр. *bari*, -и «пастух». См. Е. Çabej (St. Alb. I, 1964, 72). Слово *bari* имеет и форму ж. р. *baria* с собирательным значением «чабанство». Как отмечал уже Камарда, слово *bari*, -а в гегском диалекте имеет и значение «скот» (подробнее об алб. *bari* см. Е. Çabej, BUSH T, 4, 1960, стр. 44).

ζάριον «овцы, бараны, ягнята». Чабей сближает с алб. *vargër, vërgar, vërgâ* «unverschnittener Widder, oder Bock, unverschnittener Hengst» (Е. Çabej, St. Alb. I, 81). Здесь β = F. Ср. также у Гесихия без дигаммы ἀρίνα с тем же значением, далее ср. греч. ἀρίνη-Φαρή «баран», арм. *gañ, -in* «ягненок», др.-инд. *áran-a* «баран, ягненок», новоперс. *barra* «ягненок» и т. д. (Н. Frisk, GEW, 137—138).

γράβαν «яма, ущелье». Слово сохраняется до сих пор в диалектах Пелопоннеса, в Цаконии и Апулии, т. е. в зоне распространения в древности дорийского диалекта. Эту глоссу считают балканоиллирийской ²³ по происхождению. Со своей стороны отметим, что слово *grabë* со значением «ров, вымощна, сделанная рекой» засвидетельствовано и в албанском ²⁴, вероятном продолжателе иллирийского. Ср. также Я. Фриск (Frisk, GEW, 323).

Γοράς, Γοραί — название горы и скал. Исходя из оронимической семантики, можно думать, что слово *γώρας скорее всего значило «гора, скала», ср. алб. *gur, -i* «камень». Иначе Я. Фриск (GEW, 335), который сближает топоним Γοραί с греч. γύβας «круглый», Г. Мейер (EWAS, 135) в своем словаре для алб. *gur* «камень» и производных параллелей в других языках не находит. М. Фасмер сближает алб. *gur* в числе соответствий из других индоевропейских языков со слав. *gora*.

δέπας: «кубок, потир». Встречается уже у Гомера (Δ3) и в микенском *di-ra*, ср. поэтич. *δέπαστρον*. В литературе сравнивают его с алб. *djerp* «люлька, колыбель». Ср. также варианты *djebë*, калабр. *djerpur*. Историю албанского слова прослеживает Э. Чабей (BUSH T, 4, 1960, 64—65). Греч. *δέπας* не имеет надежного объяснения и считается догреческим. Я. Фриск пишет (GEW, 367): «Как и многие другие обозначения сосудов — средиземноморское слово без этимологии». Вяч. Вс. Иванов считает его хетто-лувийским заимствованием в греческом и сравнивает греч. *δέπας, δέπαστρον*, микен. *di-ra* с хет. названием сосуда *tapišana* ²⁵.

Более надежным, однако, представляется палеобалканское происхождение греч. *δέπας*. Примитивная колыбель у албанцев, как указывает

²² По поводу ἀσκήρα см.: Н. Н u b s c h m i d, Sardische Studien, Bern, 1953, стр. 83. Автор сближает с этим словом баск. *azkar* «вид дуба» и долат. *aesculus* «вид дуба». Ср. также: Н. J. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1960, стр. 165. С глоссой ἀσκήρα «каштан» формально можно сближить и алб. *ashër, ashra* «дикий каштан» (группа *sk* в албанском закономерно переходит в *sh*).

²³ G. R o h l f s, Messapisches und Griechisches aus dem Salento, «Sybaris. Festschrift H. Krahe», Wiesbaden, 1958, стр. 121—122.

²⁴ «Fjalor i gjuhës shqipe», стр. 144.

²⁵ Вяч. В. И в а н о в, Древнейшие культурные и языковые связи южнобалканского и малоазийского ареалов, М., 1974, стр. 10.

Э. Чабей, представляет собой кусок дерева, наполовину выдолбленный. Изосемой к алб. *djër* «колыбель» служит др.-исл. *ludr* «выдолбленное дерево, корыто», др.-в.-нем. *ludara* «колыбель». Алб. *djër* < и.-е. **dheub-*, **dheip-* выдолбленный»; греч. *δέπας* из какого-то палеобалканского языка (протоалб.?) **dheip* > *dep-*. *δημιον·λίπος*, зафиксированное у Гесихия, встречается уже у Гомера (Ф 127): '... ὅς γε φάγγυσι Λουχάνος ἀργέτα δῆμιον.

Уже Г. Мейер (EWAS, 86) об алб. *dhjame* писал: «может быть родственно изолированному греч. *δημός* Fett». У Фриска (GEW, 381) греч. *δημός* «Fett von Tieren und Menschen» также сопоставляется с алб. *dhjame* «жир, сало». Однако для него неясна первичная основа алб. слова; его сближения арм. **tam* в *tam-uk'* «влажный, увлажненный» с др.-инд. *dā-ni* «капля, роса», авест. *dā-ni* «река, поток», осет. *don* «вода, река», кельт. *Danuivius* «Дунай» неубедительны.

χάστρον (дерево у афанов). Удовлетворительных объяснений этой глоссы нет. Попытки см. у Фриска (GEW, 799), который склоняется к точке зрения А. фон Блюменталля (Hesychstudien, стр. 18), согласно которой *χάστρον* < *χαροστόν* «нагретый». Можно, однако, сравнить глоссу с алб. *kashë* «солома, стебли кукурузы», которое Г. Мейер (EWAS, 181) сравнивает с глоссами Феофраста *χασταί·χρηδαί* Pl. «ячмень» и у Гесихия *ἀχροστή* (ячмень у киприотов)²⁶. Вероятно, с ними можно сблизить и др.-русск. *кусть*, литов. *kūokštas* «куст, кустарник», *kūokšta* «пучок», *kūkštas* «пучок соломы на длинной жерди как межевой знак», как у Фасмера.

μαῖμα «чрево у птиц», ср. алб. *i majme*, *majmok* «жирный; имеющий на теле жир», *maj* «хорошо кормить животных, с тем чтобы они жирели». В албанском языке это слово не имеет этимологии.

μάλας, *μάλα* — горы, лаконская вершина. Ср. алб. *mal*, *-i* «гора», *majë* «вершина». Алб. *mal*, *-i* уже давно сравнивают с иллир. *Dimallum*, *Malontum*, фрако-дак. *Dacia maluensis* = *Dacia ripensis*, т. е. «горная Дакия»²⁷. *Μάλας* у Гесихия, вероятно, следует считать апеллятивом со значением *ἄρος*, *ἀχροτήριον* «гора, вершина». Ср. в чамерийском диалекте албанского языка *malë* «вершина, пик» (с сохранением старого палатального в интервокальной позиции), в остальных диалектах *majë* «вершина», но *mal*, *-i* «гора», ср. также название горной области на севере Албании *Malësia*, *Malsia*²⁸.

μάσι·μεγάλος «много», *μάσις·μεγας* «большой», алб. *i madhe* «большой», *madhësi* «величина». У Гесихия, вероятно, отражены графические варианты в написании одного и того же слова. Алб. *math*, *madhi* (EWAS, 252) имеет соответствия в других индоевропейских языках: др.-инд. *mahānt*, авест. *mazānt*, алб. *dh* < и.-е. **ǵh*. Графемы *σ* и *τ* в *μάσι*, *μάσις* следует рассматривать как появившиеся в результате поиска адекватной передачи межзубного спиранта, который, по-видимому, уже наличествовал в палеобалканском языке-источнике.

πάλος·πηλός «глина, грязь, слякоть». В. Порциг²⁹ сравнивает его с др.-инд. *palvala-* «пруд, лужа», лат. *palud* (с расширительным суффиксом *-q-* в литов. *pėlkė* «торфяное болото, трясина»³⁰ и в *πάλος* у Гесихия). Литовское слово имеет и другие значения «яма, полная воды, лужа, мокрый луг». Г. Мейер (Alb. Studien I 24; EWAS, 328) сравнил с ними и алб.

²⁶ С этим, вероятно, можно связать также диалектное албанское слово *kash*, *-i* — вид кустарника (J. G j i n a g i, Vëzhgimi mbi të folmen e Krutës, «Studime filologjikë», 4, 1964, стр. 126).

²⁷ N. J o k l, указ. соч., стр. 320; E. Ç a b e j, указ. соч., стр. 73—74.

²⁸ А. В. Д е с н и ц к а я, Албанский язык и его диалекты, М., 1968, стр. 367.

²⁹ В. П о р ц и г, Членение индоевропейской языковой области, М., 1964, стр. 236.

³⁰ Подробно об этом слове см.: Н. И. Т о л с т о й, Об одном балтизме в восточнославянских диалектах — *пелъка*, «Этимология. 1967», М., 1969, стр. 145—156; е г о ж е, Славянская географическая терминология, М., 1969, стр. 168—169.

pellg «большая яма с водой; глубокое место в воде (в реке, поре)», ср. также *pellgacë* «яма с водой», *pellgore* «обширное и глубоководное место», *pellgovinë* «болото» со славянским суффиксом *-ovine* (*Fjalor i gjuhës shqipe*, стр. 387). Однако, как указывает Чабей (*St. fil.*, 1, 1965, 18—19), встречаемая у староалбанского автора Бузуку (XVI в.) форма *pellëgut* лишает это сопоставление силы и возвращает к старому сближению с греч. πέλαγος «море» и названием иллирийского племени Πελαγονέες. Глосса Гесихия πάλλος и литов. *pélkė* является поразительно точным и по форме и по семантике соответствием, указывающим на древние тесные палеобалкано-балтийские языковые связи³¹.

πέλιος «старый человек» < **pel-* и различные варианты аблаута от той же основы, др.-инд. *palitā-*, *palikñī* «седой», греч. πελίτινος, арм. *aliki* «белая борода», греч. πολίος, πελλός < **pelios* «черноватый, серый», алб. *plak*³². Ср. однако, πέλῆος-γέρον; πέλλας-πέλῆος, πρεσβύτες «старейшина». Гипотезу М. Шмидта πέλη [τ]ος и πέλ [λ]η [τ]ος, как следует из замечания Страбона (VIII, 329), нельзя считать оправданной. В указанном месте у Страбона сказано, что «у феспротов и молоссов старух называют πέλιος, а стариков πέλιος (Acc. pl) и у македонцев так же». Г. Мейер (*EWAS*, 344) сравнил алб. *plak*, мн. ч. *pleq* «старик, старики» с другой глоссой у Гесихия πέλιος «жители острова Кос и эпироты стариков и старейшин так называют».

σέρβοι ἔλαφοι «олени». В индоевропейских работах по этимологии эта глосса приводится неоднократно, однако без учета того обстоятельства, что она нуждается в эмэндации. Некритическое отношение к словарям порождает в свою очередь ложные этимологии. Как мы уже отмечали в самом начале, у Гесихия γ часто нотирует уже исчезнувшую из репертуара греческих знаков дигамму F. Следовательно, у Гесихия здесь надо читать σερβοί и тогда можно сопоставить др.-пруск. *sirwis*, слав. *сьрна*, *серна*, но литов. *kārvė* «корова», др.-пруск. *kurwis* «бык», лат. *cervus* «олень» и т. д. Начальное *s* < **k'* — один из случаев непоследовательного отражения заднеязычных в палеобалканском языковом ареале.

σίχα ὄς «свинья», ср. греч. σιάλος «жирная свинья», микен. *si-a₂ro* (*Frisk*, *GEW*, 699). Если ὄς является чисто греческим отображением общеиндоевропейского этимона, то глосса Гесихия относится к палеобалканскому источнику. В связи с этим особый интерес вызывает албанское слово *thi* < **si*, промежуточной ступенью для которого к и.-е. **sūs* можно считать глоссу Гесихия σίχα. Слово явно ареального характера (ср. также фин. *sika* «свицья»). На возможность контактов иллирийцев с угро-финнами указывал Н. Йокль. Распирение *-k-* встречается и в балтийских языках, ср. литов. диалектн. *ciuka*, а также *sukis* «подсвинок», неясное русск. диалектн. *жижка*, *жишка* «поросенок» (*Фасмер*, *ЭСРЯ*, II, 54).

Изучение древних реликтовых индоевропейских языков с опорой на словарь Гесихия, несомненно, должно быть продолжено. Рассмотренные здесь примеры подтверждают, что этот словарь представляет собой уникальное собрание лингвистических данных как самого греческого языка от его древнейшей ступени до времени составления словаря, так и других индоевропейских языков, в особенности древних индоевропейских языков, исчезнувших из живого употребления.

³¹ Об этом можно судить на примере многочисленных франко-балтийских языковых сходств (см.: I. Duridanov, *Thrakisch-dakische Studien*, I — Die thrakisch und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen, Sofia, 1969; C. Poghirc, *Les rapports entre le thraco-dace et le balto-slave*, «Actes du X-e Congrès international des linguistes», IV, Bucarest, 1970, стр. 765—771.

³² В. Порциг, указ. соч., стр. 301.

ГРИНБАУМ Н. С.

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

I. Микенский период (XIV—XII вв. до н. э.). Дешифровка М. Вентрисом в 1952 г. крито-микенских текстов первой половины II тысячелетия до н. э. позволила раздвинуть историю древнегреческого языка почти на пятьсот лет. Это событие оказало и продолжает оказывать значительное влияние на развитие науки об античности и прежде всего на разработку проблем, относящихся к древнейшему периоду истории Греции, ее социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни. Дешифровка дала также новый импульс изучению вопросов, связанных с языковой обстановкой и состоянием письменности в столь отдаленную от нас эпоху. Их пристальное исследование может, нам представляется, пролить определенный свет на проблему формирования древнегреческого литературного языка и жанровых языков древнегреческой литературы.

Во второй половине XV столетия до новой эры в эгейском мире произошел переход лидерства от Крита к Микенам. Период с 1400 по 1200 год, называемый в научной литературе II и III позднемикенским (позднеэлладским) и отражающий эгейскую цивилизацию периода поздней бронзы, признается временем расцвета Микен и их могущества. Вместе с тем это период подъема микенской культуры, отголоски которой нашли яркое отражение в греческой мифологии и литературе. Благодаря прочтению крито-микенских текстов картина микенской эпохи стала намного яснее и зримее для науки. «Очень существенно, — отмечает И. М. Тронский, — что тексты показали рабовладельческий характер греческого общества II тысячелетия до н. э. как на Крите, так и в центрах микенской культуры... Во всяком случае перед нами раннее рабовладельческое общество с многочисленными следами родовой демократии, с большими дворцовыми хозяйствами и наряду с этим с частным землевладением и рабовладением»¹.

Итак, микенское общество — общество рабовладельческое. Рабским трудом пользуются владельцы дворцов, храмовые хозяйства, сельские общины и, по-видимому, частные лица. В определенных областях производства, особенно в текстильном, широко применяется труд женщин-рабынь. Значительная роль в народном хозяйстве отводится ремесленникам. Они объединены в трудовые артели и работают в мастерских различного назначения. Пилосское царство, например, обслуживалось 400 кузнецами. Их специализированные мастерские были расположены в различных поселениях, в их распоряжении находились рабы. Сельское население организовано в общины (*damoi*) и имеет в своем распоряжении землю, которую может обрабатывать или совместно, или разделив ее на участки (*onata*). Видное место занимают в микенском обществе жрицы и жрецы, ведающие храмовым хозяйством и также пользующиеся рабским трудом для его обслуживания. Оборону страны обеспечивают воины, которые могут быть

¹ И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, Л., 1973, стр. 86—87.

подняты по тревоге в любое время года. В кносских табличках упоминается отряд всадников численностью около 550 человек, сражающихся с военных повозок. Возглавляет страну верховный правитель *wanaxs*, вторым лицом после него является *lawagetax*. Пилосское царство состоит из двух провинций, подразделяющихся соответственно на девять и семь районов. Каждый из них обязан доставлять для нужд дворца определенную и разнообразную продукцию. Контроль за выполнением ими обязательств возложен на служащих провинциального (*damokoro*, *duma*) и районного (*korete*, *rogokorete*) ранга. В маленьких местностях административные функции выполняет *basileus*².

Экономика страны основана на системе обязательств и обмене услуг или произведенной продукции. Нет данных об употреблении денег, хотя иногда стоимость предметов находит выражение в соотношении, например, материала к бронзе или зерну. В табличках встречаются сделки частного порядка (покупка раба частным лицом, обмен продукцией между сельским владельцем и производителем ароматных масел). Зато широко представлена дворцовая экономика: распределение продуктов и первичных материалов для переработки, взимание налогов, поставки в натуре, дополнительные обложения в условиях войны. Таблички дают нам представление о хозяйственной жизни микенского общества: продуктах питания (зерновых, мясе, растительном масле, вине, меде), пряностях, мазах и маслах, кожах и их использовании, тканях (шерсти, льне) и одежде, металлах, строительстве домов и вооружении.

При царском дворце существовала отдельная служба учета и регистрации, организованная в специальные «бюро». Ее работники-писцы фиксировали соответствующие данные на глиняных табличках и хранили их в архивах. Писцов готовили, по-видимому, в дворцовых школах, где они не только обучались технике записей, но и усваивали соответствующие языковые навыки. Палеографическое исследование позволило уточнить «почерк» (руку) писцов, работавших в различных микенских центрах. В Кноссе, например, их насчитывалось свыше 60, в Пилосе — примерно 30.

Около пяти тысяч глиняных табличек³, исписанных линейным письмом Б и обнаруженных в микенских архивах, дают основание предполагать, что письменность довольно широко использовалась дворцовой администрацией для хозяйственных нужд. Дж. Чэдвик придерживается мнения, что за пределами «бюрократических кругов» письменность едва ли существовала — ни высшие, ни низшие члены общества читать не умели⁴. В сохранившихся до нас микенских табличках содержатся лишь сведения, относящиеся к данному хозяйственному году. Трудно поверить, что существовавшая при дворцах система учета ограничивалась столь незначительным сроком. Однако вряд ли итоговые данные за более длительное время записывались на глиняных табличках — достаточно грубом и неудобном писчем материале. Анализ микенского письма с его тонкими линиями и небольшими изгибами дает основание думать, что микенцы писали не только на глине; форма знаков свидетельствует о том, что первоначальным инструментом этого письма были перо и чернила. Следует учесть, что в это

² Картина микенского общества воссоздана нами по книгам: M. Lejeune, *Mémoires de philologie mycénienne*, III-e série, Roma, 1972; «Documents in Mycenaean Greek», by M. Ventris and J. Chadwick, 2-nd ed. by J. Chadwick, Cambridge, 1973.

³ В кн.: J. P. Olivier, L. Godart, C. Seydel, C. Sourvinou, *Index généraux du linéaire B*, Roma, 1973; учтены 3372 таблички из Кносса, 1101 — из Пилоса, 74 — из Микен и 136 надписей на вазах, итого 4683 текста.

⁴ Дж. Чэдвик, Дешифровка линейного письма Б, сб. «Тайны древних письмен. Проблемы дешифровки», М., 1976, стр. 227.

время в Египте уже использовался папирус»⁵. Высказывая это предположение, Дж. Чэдуик сомневается, существовали ли в микенскую эпоху книги и читающая публика, хотя и не исключает возможности использования линейного письма Б в письмах.

Язык крито-микенских текстов являет собой, по мнению И. М. Тронского, образец хозяйственно-канцелярской подсистемы греческого языка, относимый к жанру деловой прозы и сравнимый разве что с папирусными документами эллинистического Египта⁶. Несмотря на кажущуюся простоту (таблички содержат данные о состоянии дворцового хозяйства), язык микенских документов нельзя приравнивать к бытовому⁷. В силу выполняемой строго ограниченной функции он отличается рядом специфических черт и, в частности, содержит весьма мало финитных форм (около 60, к тому же засвидетельствованных лишь 3-м лицом ед. числа), редки в нем местоимения, почти нет числительных. Большим материалом представлены, однако, нарицательные существительные и прилагательные, а также имена собственные — личные и географические⁸.

М. Вентрис доказал, что крито-микенские таблички составлены на греческом языке. Что это за язык? Каковы его главные черты? Какой диалект лежит в его основе? Эти вопросы стали предметом пристального изучения в последовавшие за дешифровкой Вентриса годы. Однако ответить на них оказалось нелегко. Исследователи пришли к единому мнению, что диалект табличек, условно названный «микенским», не принадлежит к западногреческой диалектной группе, к которой относится дорийский⁹. Не вызвало сомнений и наличие явной близости «микенского» к южногреческим диалектам — аркадскому и кипрскому¹⁰. Однако не устранили разногласия в определении его связей с другими греческими диалектами. Часть исследователей находит в «микенском» черты ахейской и ионийской, часть — эолийской диалектной группы. В защиту каждой из гипотез приводятся веские доказательства. Не ставя перед собой здесь задачу решить, какая точка зрения представляется более убедительной¹¹, хочется обратить внимание, что в «микенском» обнаружены аркадско-кипрские, ахейско-протоионийские и протоэолийские диалектные элементы. Это обстоятельство не только не противоречит, а, наоборот, подтверждает в целом предполагаемую картину древнейших диалектных отношений, сложившихся на ранней ступени развития на греческом материке. Заслуживают внимания два момента. «Микенский», судя по всему, не был самостоятельным и отдельным греческим диалектом, поскольку в нем нет каких-то особых черт, не известных позднейшим диалектам. В «микенском» отражена диалектно-языковая ситуация, характерная для средней и южной Греции второй половины II тысячелетия до н. э.

В настоящее время преобладает мнение, что «микенский», на котором написаны крито-микенские тексты, представлял собой наддиалект, образовавшийся на базе реальных диалектов микенского языкового ареала¹². В пользу этого предположения говорит ряд обстоятельств. «Микенский»

⁵ Там же, стр. 228. Ср. также: M. H a m m o n d, *The city in the ancient world*, Cambridge (Mass.), 1972, стр. 115.

⁶ И. М. Т р о н с к и й, указ. соч., стр. 87.

⁷ Там же, стр. 99.

⁸ Там же, стр. 87.

⁹ Ср.: M. L e j e u n e, *Phonétique historique du mycénien et du grec ancien*, Paris, 1972, стр. 10.

¹⁰ Ср.: E. R i s c h, *Les traits non-homériques chez Homère. «Mélanges de linguistique et de philologie grecques offerts à Pierre Chantraine»*, Paris, 1972, стр. 191.

¹¹ См. подробнее: Н. С. Г р и н б а у м, *Древнегреческая диалектология и проблема «микенского»*, ВЯ, 1974, 3.

¹² Ср.: A. V a r t o n e k, *Mycenaean koine reconsidered*, «Proceedings of the Cambridge colloquium on Mycenaean studies», Cambridge, 1966, стр. 95—103.

не оставил после себя наследников. Он почти одинаков в кносских, пилосских и микенских текстах. Он неоднороден в диалектном отношении. Высокий уровень развития дворцовых хозяйств на Крите и греческом материке предполагает существование между ними и в целом между различными регионами микенского мира определенных экономических, торговых, политических и культурно-религиозных связей. «Высокая цивилизация на обширном ареале, — справедливо отмечает И. М. Тронский, — не может обойтись без наддиалектных средств общения»¹³.

Итак, у нас есть основание представлять себе микенскую языковую ситуацию следующим образом. Жители центральной и южной Греции говорят на живых диалектах, к которым восходят позднейшие аркадско-кипрский, эолийский и аттико-ионийский. Эти диалекты, претерпев те или иные изменения, пережили микенскую эпоху и продолжили свое существование в постмикенское время. Наряду с живой речью, несомненно отличной в разных и удаленных друг от друга районах микенской Греции, образуется в период их длительного мирного развития деловой наддиалект, служащий целям общения и обеспечивающий широкую и сложную область общественной и хозяйственной жизни страны во II тысячелетии до н. э.

Этот наддиалект, охватывавший северный и южный ареалы греческого материка и островов, существовал, мы полагаем, в двух вариантах. Первый из них, и притом основной, был устным, разговорным. Возможно, что он служил средством общения и для ахейских вождей во время их крупных совместных военных походов, таких как осада Фив и относимая к XIII в. до н. э. троянская война. Второй, образовавшийся на его основе, был письменным, документальным. Последний и представлен частично, в весьма урезанном виде в сохранившейся до нас в табличках хозяйственно-канцелярской подсистеме греческого языка, приспособленной к обеспечению нужд дворцовых хозяйств Кносса, Микен, Пилоса и других центров страны. Эта подсистема исчезает вместе с гибелью микенской культуры.

Вопрос о судьбе документальной разновидности, равно как и устного наддиалекта, в целом остается пока открытым. Можно предположить, что их участь была неодинаковой. Документальный вариант, связанный в южной Греции с микенским силлабическим алфавитом, по-видимому, скоро вышел из употребления. Устный наддиалект, намного шире документального по своему распространению, более богатый лексически и с более развитой структурой, продолжал, несомненно, свое существование, несмотря на резко изменившуюся обстановку. Не следует забывать, что он к тому же сохранял свои прежние позиции в северной части Греции, где его развитие проходило в иных условиях, чем на юге материка. Деловой наддиалект не был единственным в микенской Греции. Предполагается наличие в ней также и сакральных, правовых, фольклорных и других наддиалектов. Особое место среди них занимал, безусловно, поэтический язык, чьи истоки могли восходить к домикенской эпохе¹⁴.

Непосредственных сведений об этом наддиалекте не сохранилось. Тем не менее, как показали наши многолетние разыскания, удается определить некоторые его координаты. Во-первых, складывание древнегреческого поэтического языка связано с северо-восточной частью материковой Греции и прежде всего с Пеласгиотидой и о. Лесбосом, т. е. с теми областями, в которых пока еще не обнаружены крито-микенские тексты. Во-вторых, Пеласгиотида и прилегающие к ней районы относятся по имеющимся у нас данным к местам древнейших поселений греков после их прибытия на Балканский полуостров в III—II тысячелетиях до н. э., и с этим регио-

¹³ И. М. Тронский, указ. соч., стр. 101.

¹⁴ См.: И. М. Тронский, указ. соч., стр. 151.

ном связаны их древнейшие религиозные представления и мифологические предания. В-третьих, можно предполагать, что диалектная основа древнегреческого поэтического языка греков не была однородной и отражала главные архаические диалектные группы: ахейскую, протоионийскую и протоэолийскую.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в рассматриваемый нами микенский период впервые создаются условия, благоприятствующие образованию в Греции отдельных черт будущего литературного языка. На базе местных наречий возникает деловой наддиалект. Появляется письменность. Ее применение ограничивается в основном сферой хозяйственных потребностей микенских дворцов, но, как видно, не сводится только к ней. Имеется определенная группа населения — главным образом, писцы при дворцах, — умеющая пользоваться письмом. Правда, грамотна лишь незначительная часть общества (микенский алфавит насчитывает свыше 80 сложных знаков). Получает дальнейшее развитие имеющее древние традиции поэтическое творчество и фольклор, связанные первоначально с северо-восточным регионом Греции. Хотя их распространенность и нормированность определить крайне сложно, можно предположить, конечно в определенных пределах, наличие того и другого. Найденная в Пилосе фреска с изображением певца с лирой в руках подтверждает, по мнению некоторых исследователей, и предположение об исполнении в царских дворцах песен эпического характера ¹⁵.

Нет оснований сомневаться, что при дальнейшем благоприятном развитии событий уже в конце II тысячелетия до н. э. могли появиться и другие компоненты, необходимые для становления литературного языка.

Действием мощных внешних и внутренних факторов, приведших к катастрофической гибели Микен и их цивилизации, начавшийся процесс формирования древнегреческого литературного языка в южной Греции был резко прерван и приостановлен.

II. Послемикенский период (XI — IX вв. до н. э.). В конце XII в. до н. э. происходит внезапное падение микенского могущества, разрушение микенских дворцов и микенской культуры. Причины этих событий продолжают поныне оставаться невыясненными. До недавнего времени господствовало мнение, что их виновниками были дорийские племена, вторгшиеся в Грецию в этот период ¹⁶. В последние годы раздаются голоса, ставящие под сомнение эту гипотезу ¹⁷. Дж. Чэдвик обращает, в частности, внимание на полное отсутствие археологических данных, подтверждающих причастность дорийцев к гибели Микен ¹⁸. По его мнению, основными причинами катастрофы могли быть войны, эпидемии или голод. Период с XI по IX вв. до н. э. является одним из наименее изученных из-за отсутствия источников и именуется «темным» в греческой истории ¹⁹. Вместе с тем он представляет большой интерес для науки, поскольку именно в это время создаются предпосылки зарождающейся греческой классической государственности и возникают условия для будущего расцвета греческой культуры.

Наиболее характерной чертой послемикенского периода является резкая смена в стране экономического и общественно-политического уклада жизни. Происходит разрушение производительных сил и материальных ценностей. Наступает упадок ремесла и земледелия, сокращение торговли.

¹⁵ См.: J. Chadwick, *The Mycenaean world*, Cambridge, 1976, стр. 183.

¹⁶ Ср.: N. S. L. Hammond, *Studies in Greek History*, Oxford, 1973, стр. 36—38.

¹⁷ J. S. A. R. K. A. d. y., *Outlines of the development of Greek society in the period between the 12-th and 8-th centuries B. C.*, «Acta antiqua», 23, 1975, стр. 113.

¹⁸ J. Chadwick, *The Mycenaean world*, стр. 3.

¹⁹ В последнее время появился ряд исследований об этом периоде: V. R. d'A. Desborough, *The Greek dark ages*, London, 1972; A. M. Snodgrass, *The dark age of Greece*, Edinburgh, 1971; Ю. В. Андриеев, *Раннегреческий полис*, Л., 1976.

Нарушаются прежние связи и сношения между отдельными районами Греции. Исчезает централизованный и опиравшийся на дворцовую администрацию разветвленный государственный аппарат. Не строятся больше монументальные дворцы и гробницы. В керамическом искусстве наблюдается переход к более примитивному по сравнению с микенским протогеометрическому и геометрическому стилям. В археологическом материале почти полностью отсутствуют привозные изделия, что свидетельствует об ослаблении контактов с другими странами.

Передвижение дорийцев с северо-запада на юг и захват ими в конце II тыс. до н. э. значительной части Пелопоннеса является твердо установленным фактом²⁰. Если даже допустить, что не они разрушили микенские дворцы, следует признать, что их вторжение имело для архаической Греции далеко идущие последствия. Произошло вытеснение железом бронзы из широкого употребления, что повлекло за собой создание новых более прочных орудий труда и вооружения²¹. Было нарушено прежнее расположение греческих племен и началось их массовое перемещение за пределы материка. На оккупированных дорийцами землях изменились социально-политические отношения. Часть местного населения была превращена завоевателями в бесправных исполнителей их воли. Сохранившиеся у дорийцев родовая организация и родовая сплоченность обеспечили им превосходство в столкновениях с восстающими против насилия автохтонами. Для закрепления своего господства дорийцы пользовались не только военной силой, но и устанавливали контакты и заключали соглашения с местной земледельческой знатью, действуя нередко с ней заодно. К этому же, в отдельных случаях дорийцы вынуждены были считаться с численным превосходством и более высоким культурным уровнем жителей захваченных ими территорий. Показательно, что коренное население и, в частности, ахейское жречество относилось к дорийцам еще значительно позже с определенной сдержанностью и чувством собственного превосходства. Геродот сообщает, что афинская жрица не разрешила спартанскому царю Клеомену I войти в святилище Афины в Эрехфейоне, ссылаясь на то, что он дориец, а не ахеец²².

Вместе с тем не следует упускать из виду, что дорийцы распространили свою власть лишь на часть Греции. Не были ими захвачены такие области, как Пеласгиотида, Аттика и Аркадия. Здесь продолжали сохраняться старинные устои сельской жизни и древние традиции. Основу экономики составляли, как и прежде, мелкие земледельческие хозяйства и более крупные поселения во главе с местными правителями, получающими все необходимые продукты как с принадлежавших им земель, так и от подвластного населения.

В результате происшедших в конце II и в начале I тысячелетия до н. э. событий на территории Греции складывается в основном та картина распространения греческих диалектов, которая нам известна по описаниям древних авторов и по сохранившемуся эпиграфическому материалу. В северо-восточной части материка и на о. Лесбосе закрепился эолийский диалект, в центральной Греции — аттический, на Пелопоннесе — дорийский и аркадский. В результате начавшейся колонизации греческие диалекты обосновались и на малоазийском побережье: эолийский на севере, ионийский в центре, дорийский на юге. Диалектная ситуация, характерная для предыдущего периода, оказалась в значительной степени нарушенной. Можно предположить, что она не претерпела столь существенных изменений лишь в районах, куда не дошли дорийские завоеватели. Однако в

²⁰ Ср.: N. S. L. Hammond, указ. соч., стр. 36.

²¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 21, стр. 163.

²² Геродот, 5.72.

других областях, как Фессалия, Беотия и особенно большая часть Пелопоннеса, эти изменения были несомненно значительными. Дорийский диалект или вытесняет здесь прежние диалекты, или оказывает определенное влияние на их дальнейшее развитие. В результате происходящего передвижения населения Греции значительно суживается сфера распространения делового наддиалекта микенской эпохи. В отличие от документального, он не исчезает, а продолжает функционировать как на территории, не оккупированной дорийцами, так и (в более ограниченных пределах) на захваченных ими землях, особенно в культовых центрах страны. Следы этого наддиалекта мы находим еще в классическое время в ряде эпиграфических памятников. Однако его дальнейшее самостоятельное развитие было уже приостановлено, и он был обречен на постепенное исчезновение.

Послемикенский период характеризуется и определенным снижением культуры и грамотности общества. Линейное письмо Б выходит из употребления, поскольку отпала необходимость в учете и записях прежних крупных дворцовых хозяйств и в подготовке обслуживавших их писцов. Во всяком случае, следы этого письма пока не обнаружены в послемикенское время. Однако постепенно, на новом этапе общественных отношений, возникла необходимость в фиксации тех или иных явлений и событий частного или более широкого характера. И снова, как это уже было в микенский период, письменность приходит в Грецию извне. Семитический буквенный алфавит²³, заимствованный в IX — VIII вв. до н. э. греками (он насчитывал всего 22 буквы), оказался намного более приспособленным к особенностям их языка и значительно более простым в употреблении, чем силлабический микенский. Создание собственной системы письма в послемикенское время представляет собой одно из наиболее выдающихся явлений в развитии греческой культуры, обусловивших ее расцвет в последующие столетия. Трудно, естественно, определить степень распространения письменности в этот ранний период греческой истории и круг лиц, владеющих искусством письма. По-видимому, они были довольно узкими. В гомеровских поэмах лишь дважды («Илиада») говорится об употреблении то ли письма, то ли каких-то письменных знаков. Упоминается случай, когда ахейские вожди ставят свои знаки на камешках, решая путем жеребьевки вопрос о том, кому предстоит сразиться с Гектором («Илиада», 7.175; 187, 189). Более убедительным свидетельством употребления письма является рассказ Гомера о послании Пройта, переданном Беллерофонтом царю Ликии, с указанием убить его доставителя («Илиада», 6.169). Однако нет ясности, о каком письме идет речь, ликийском или микенском²⁴. Характерно также, что ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» нет намека на то, что ахейские вожди, находившиеся почти десять лет под Троей, обращались с письмами к оставленным в Греции семьям²⁵. К тому же в гомеровских поэмах изображается в основном жизнь ахейских правителей, а не простого народа.

Языковая ситуация послемикенского периода складывается, по нашему мнению, следующим образом. Население Греции продолжает пользоваться в повседневной жизни местными разговорными диалектами. Вторжение дорийского диалекта резко сокращает сферу употребления и вносит изменения в ареал их распространения. Происходит размежевание атти-

²³ Мнение о финикийском происхождении греческого алфавита оспаривается в последнее время рядом исследователей (см.: П. О л и в а, Древний Восток и истоки греческой цивилизации, ВДИ, 1977, 2, стр. 4—5).

²⁴ Ср.: «A companion to Homer», ed. by A. J. B. Wace, F. H. Stubbings, London, 1963, стр. 555.

²⁵ Ср.: R. C a r p e n t e r, Folk tale, fiction and saga in the Homeric epics, Berkeley, 1956, стр. 28.

ческого с ионийским и начинается их дальнейшее самостоятельное развитие. Стабилизируются эолийский диалект на северо-востоке и аркадийский на юго-западе. Наряду с живыми диалектами в некоторых районах и культовых центрах находится в обращении теряющий свои позиции деловой наддиалект предыдущего периода. В то же время созданное на его основе фольклорное и поэтическое творчество получает дальнейшее широкое развитие. Углубляются при этом их жанровые различия. Поэтические песни становятся неотъемлемым атрибутом общественной и частной жизни. Они звучат во время религиозных и культовых торжеств в исполнении хоровых коллективов, сопровождаемые музыкой и пляской. Они украшают большие и малые циршества, а их исполнители — народные певцы окружены почетом и всеобщим уважением. Под аккомпанемент струнного инструмента ими воспеваются былые времена, трудовые и ратные подвиги предков, прославляются величие и добродетели богов и героев.

Итак, период с XI по IX вв. до н. э. характеризуется, с одной стороны, утратой ряда завоеваний микенского времени: нарушением сложившегося диалектного равновесия, резким снижением грамотности, свертыванием делового наддиалекта. Вместе с тем активизируется поэтическое творчество и усиливается его жанровое расслоение, растет лексическое богатство и совершенствуется грамматическая структура языка, возникает и расширяется новый малоазиатский ареал распространения греческих диалектов. Появление к концу этого периода письменности, базирующейся на более доступном, чем микенский, семитическом алфавите²⁶, открывает путь для ускоренного развития общественной жизни, культуры и образованности. Этот процесс происходит неодинаково в отдельных областях Греции и неразрывно связан с их экономическим и социально-политическим положением. В силу определенных исторических условий, причины которых не выяснены окончательно до сих пор, центр тяжести общественной и политической жизни Греции переносится в IX—VIII вв. до н. э. в Малую Азию и здесь раньше, чем где-либо, начинают создаваться предпосылки для появления первой разновидности древнегреческого литературного языка.

Анализ языковой ситуации микенского и послемикенского периодов приводит к заключению, что экономические и общественно-политические условия первого из них были благоприятными для формирования некоторых компонентов литературного языка и привели к созданию, наряду с местными разговорными диалектами, делового, документального и поэтического наддиалектов. Катастрофическая гибель Микен помешала их дальнейшему нормальному развитию.

Послемикенский период начинает свой путь при менее благоприятных условиях, когда идут на убыль микенский деловой и, в еще большей степени, письменный документальный наддиалекты. Однако им унаследован от предыдущего периода поэтический наддиалект, и, главное, продолжают свое существование, а, следовательно, сохраняют потенциальные источники роста живые греческие диалекты. Кроме того, послемикенский период начинает не с нуля, а при наличии в отдельных областях Греции центров, где не была нарушена диалектно-языковая традиция прошлых столетий. И, наконец, возрождение письменности на базе нового алфавита к концу послемикенского периода предвещает скорый подъем духовной культуры бурно развивающегося греческого общества.

²⁶ Ср.: D. M. Jones, *The Greek language*, в кн.: «The classical world», London, 1972, стр. 104.

АЛПАТОВ В. М.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЯПОНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Хорошо известно, насколько различны подходы к языку у представителей разных школ и направлений европейского и американского языкознания. При этом не всегда обращают внимание на другую сторону этой проблемы: на общность многих понятий, содержащихся в работах лингвистов самых, казалось бы, различных взглядов. К таким понятиям относятся, например, «предложение», «слово», «знаменательное слово», «служебное слово», «часть речи», «корень», «аффикс». Конечно, эти понятия могут определяться по-разному, занимать разное место в системе языка. Однако, как правило, за этими понятиями стоит некоторое общее, варьирующееся лишь в некоторых пределах содержание. Поэтому в известном смысле можно говорить о существовании определенной европейской лингвистической традиции, во многом восходящей к античным грамматикам. Несомненно, за всеми указанными понятиями стоит языковая реальность, они отражают существенные свойства языка. Однако надо учитывать, что европейская лингвистическая традиция складывалась на основе наблюдений над ограниченным числом индоевропейских языков. Не выходя за пределы этих языков, вряд ли можно отделить универсальные свойства языка от типологических особенностей, свойственных некоторым языкам. Применение же методов, выработанных европейской традицией, к языкам другого строя связано с опасностью незаметного перенесения на этот язык категорий родного языка исследователя или языка, на основе которого выработывалась европейская традиция (латинского или греческого). Об этом хорошо сказал Л. В. Щерба: «При изучении языков у подавляющего большинства лингвистов получается смешанное двуязычие и изучаемый язык в той или иной степени воспринимается в рамках и категориях родного. В связи с этим особенности структуры изучаемых языков или стираются, или фальсифицируются»¹.

Характерно, что даже описания языков, произведенные европейскими лингвистами — носителями различных языков, часто сильно отличаются друг от друга, причем эти отличия связаны с родным языком исследователя. Приведем два примера из области японистики. Русские и советские исследователи, как правило, находят в японском языке противопоставление по твердости — мягкости, в американской японистике принято трактовать палатализованные фонемы как сочетания с йотом. Для многих русских и советских японистов характерно признание в японском языке падежной аффиксации, американские ученые всегда рассматривают соответствующие показатели как послелогии. Такое различие взглядов вовсе не значит, что все они неправильны, наоборот, родной язык может иногда подсказывать и верное решение. Однако при этом всегда создается опасность исказить реальную картину.

¹ Л. В. Щерба, Очередные проблемы языковедения, в кн.: Л. В. Щерба, Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 41.

Для преодоления указанных трудностей полезно обратиться к тому, как воспринимают свой язык, отличный по строю от индоевропейского, его носители. К сожалению, далеко не всегда мы можем иметь такую информацию, поскольку языковые представления у многих народов или недостаточно развиты или основаны на европейских грамматиках (научных или школьных). Наиболее интересно в этом плане изучение сложившихся национальных лингвистических традиций, полностью или частично независимых от европейской. Можно указать по крайней мере на четыре таких традиции: индийскую, арабскую, китайскую и японскую. По-видимому, не все эти традиции абсолютно независимы друг от друга, а иногда и от европейской, однако каждая из них имеет самостоятельные черты, сложившиеся на основе наблюдений над языками различного строя.

На необходимость изучения национальных традиций для общего языкознания указывали многие крупные ученые², однако по существу их изучение, как в нашей, так и в зарубежной науке, только начинается³. Тем не менее исследования в этой области, особенно по изучению индийской традиции, уже оказывают плодотворное влияние на общее языкознание.

В настоящей статье предпринимается попытка выявить некоторые наиболее явные особенности одной из национальных традиций — японской. На важность ее изучения указывал крупнейший советский японист Н. И. Конрад: «... история языкознания Японии дает интересный материал для суждения, как воспринимался языковым сознанием самого японского народа его язык, принадлежащий по типу к агглютинативным языкам»⁴. В советском японоведении существует ряд работ, исследующих японскую лингвистическую традицию⁵; отметим, что в СССР этому вопросу уделялось больше внимания, чем в других странах (помимо самой Японии); для западной японистики характерно пренебрежительное отношение к японской традиционной лингвистике, на наш взгляд, совершенно неоправданное⁶; одно из немногих исключений — работа группы французских востоковедов под руководством Ю. Маэса, посвященная исследованию лингвистической терминологии в странах Дальнего Востока, включая Японию⁷. Много делается по изучению истории своего национального языкознания в самой Японии⁸.

Тем не менее японская лингвистическая традиция остается почти неизвестной неапонистам и многие ее специфические черты и особенности

² См.: Л. В. Щербачева, указ. соч., стр. 42; Н. И. Конрад, О национальной традиции в китайском языкознании, ВЯ, 1959, 6.

³ Одну из первых попыток выделения и сравнения национальных традиций изучения языка представляет работа: Т. А. Аммирова, В. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский, Очерки по истории лингвистики, М., 1975.

⁴ Н. И. Конрад, указ. соч., стр. 27.

⁵ См.: А. И. Фомин, Из истории японского языкознания (учение о частях речи у токугавацких филологов), «Японский лингвистический сборник», М., 1959; Н. И. Фельдман, Предисловие, в кн.: М. Кэда, Грамматика японского языка, I, М., 1958; С. В. Неверов, Основы культуры речи современной Японии (теория языкового существования). ДД, М., 1975.

⁶ См., например: G. D. Priddy, The syntax of Japanese honorifics, The Hague — London, 1970, стр. 12.

⁷ См.: «Travaux du groupe de linguistique japonaise», I — Problèmes terminologiques, Paris, 1975 (отметим, что в сборнике помещен перевод упомянутой выше статьи А. И. Фомина).

⁸ Из многих работ назовем лишь самые крупные: Ямада Ёсиро, Кокугогакуси, Токио, 1943; Токиэда Мотоки, Кокугогакуси, Токио, 1965; Нагаяма Исаму, Кокугогисикиси-но кэнкю, Токио, 1963; «Кокугогаку», Токио, 1961. О специфике японской лингвистики в сравнении с европейской говорится в работе: Hattori Shirô, Descriptive linguistics in Japan, «Current trends in linguistics», II, The Hague — Paris, 1967.

выяснены недостаточно. Как нам кажется, многие свойства этой традиции представляют интерес и для общего языкознания.

Прежде чем говорить о японской традиции, необходимо кратко остановиться на ее истории. Изучение языка в Японии на первых этапах было связано с двумя задачами: формированием и развитием японской письменности и комментированием древнеяпонских памятников. Основными этапами развития японского письма были: запись японских текстов с помощью китайских иероглифов (отдельные памятники с IV—V вв. н. э., систематическая запись с VIII в.), создание национального слогового письма — каны (VIII—IX вв.)⁹, создание таблицы слогов каны — годзюона, упорядоченной в соответствии с согласными и гласными частями слогов¹⁰ (не позже X в.), создание первых орфографических норм (XII—XIII вв.). Примерно с XIII—XIV вв. на первый план выдвинулась задача понимания и толкования древних памятников, язык которых считался образцовым (поскольку разговорный язык того времени уже сильно отличался от литературного)¹¹. Здесь наметились два направления исследований: изучение написания и произношения памятников и изучение их семантики. Первое направление привело к созданию последовательно исторической орфографии (XVII в.)¹², а позднее — к фонетическим реконструкциям древнеяпонского языка, проводившимся уже учеными конца XVIII в. Второе направление дало сложную методику толкования древних текстов и стимулировало развитие этимологических исследований, широко распространившихся к XVI в.¹³. Позднее (с XVIII в.) начала изучаться и грамматика. К концу XVIII — началу XIX в. окончательно сложилось научное изучение японского языка, во многом оригинальное. Ученые того времени (Мотоори Норинага, Фудзитани Нариакира, Мотоори Харунива, Судзуки Акира, Тодзэ Гимон и др.) создали оригинальную классификацию единиц языка, теорию частей речи, описали систему глагольного спряжения (это описание принято в японской науке и в наши дни); исследовались также фонетика и семантика классического японского языка. В это же время появились первые общезыковые теории (о происхождении языка из звукоподражаний и т. д.).

Новый этап японской лингвистики начался с середины XIX в., когда в Японию широко проникла европейская культура. Начали появляться работы, в которых японский язык описывался по европейским образцам. К концу XIX в. произошел своеобразный синтез традиций, на основе которого сложилась японская традиция на ее современном этапе — начало в этом отношении было положено работами Оцуки Фумихико (1847—1928). Европейское влияние внесло в японскую традицию ряд новых черт, главная из которых — рассмотрение языка в его целостности (ранее японские ученые не стремились охватить всю систему японского языка); стали исследоваться проблемы, ранее не изучавшиеся, например, синтаксис; изменился и предмет исследования: с изучения классического языка центр тяжести переместился на исследование современного языка. Постепенно сложился ряд школ и направлений японского языкознания, которые дали таких видных ученых XX в., как Ямада Ёсиро, Мацусита Дайсабуро, Ха-

⁹ Из многих систем каны две основные — катакана и хирагана — сохранились до настоящего времени, используя наряду с иероглифами.

¹⁰ В формировании годзюона возможно влияние индийской традиции.

¹¹ Эта задача в течение долгого времени была основной и для других традиций, в том числе европейской.

¹² Эта орфография с небольшими изменениями существовала до середины XX в., когда была заменена орфографией, основанной на современном произношении.

¹³ Эти этимологии были произвольными и по сути очень сходны с этимологиями античных ученых. В отличие от европейской, японская традиция сохранила данный подход до последнего времени.

симото Синкити, Токиэда Мотоки, Арисака Хидэё и др. Знакомые с современной им европейской наукой и принявшие некоторые ее идеи (например, понятие фонемы), они тем не менее часто полемизировали с ней с позиций японской традиции (ср. полемику со структурализмом у Токиэда¹⁴). Идеи этих лингвистов в основном господствуют в японской науке и сейчас, хотя ряд японских ученых отошел от японской традиции, работая в рамках структурализма разных типов или генеративизма; этих работ мы здесь касаться не будем. В дальнейшем мы в основном будем говорить о японской традиции в ее современном, «полуевропеизированном» виде, хотя главные ее черты, отличающие ее от европейской, восходят, несомненно, ко времени до середины XIX в.

Японская традиция несколько по-иному определяет рамки науки о языке. Если европейская наука обычно считает основными разделами языковедения фонетику (или фонологию), грамматику и лексикологию (или семантику), а теорию письма чаще всего оставляет в стороне, считая ее чем-то вспомогательным, то японская наука всегда считает теорию письма одним из основных разделов лингвистики и уделяет ей большое внимание¹⁵. Безусловно, такое различие связано с различием характера письменностей. При простом характере европейских письменностей их изучение мало содержательно, и, начиная с этапа, когда в европейской науке о языке начали строго различать звуки и буквы, вопросы, связанные с письмом, стали рассматриваться преимущественно в прикладном плане (орфография, создание новых алфавитов и др.); сложный же характер японского письма вызывает необходимость не только практического, но и научного его изучения.

В отличие от европейской науки, японская на всех этапах своего развития была синхронистической. Старая японская наука о языке изучала лишь классический язык памятников VIII—XII вв., считавшийся эталонным и в эпоху, когда работали сами исследователи (хотя разговорный язык был уже другим). Сама идея о том, что язык изменяется, была осознана японскими исследователями не ранее XVII—XVIII вв. и не до конца¹⁶; в полной мере идеи историзма сформировались в японской лингвистике уже под европейским влиянием. Появление работ по современному языку не изменило синхронного характера исследований; более того, до недавнего времени часто современный и классический языки описывались как один язык с указанием наиболее заметных различий между ними¹⁷. Исследования по истории японского языка, многочисленные с начала XX в., в большинстве представляют собой описания синхронных срезов языка того или иного периода, часто просто описания языка некоторого памятника. Если же какое-то языковое явление прослеживается в своем историческом развитии, это делается так: история языка делится на периоды, обычно не по языковым данным, а в соответствии с традиционной периодизацией японской истории; для каждого из этих периодов дается синхронное описание.

С этой особенностью японской лингвистики связано и то, что при большом влиянии идей европейской лингвистики в Японии в этой стране почти не получили развития сравнительно-исторические исследования. Хотя идея о языковом родстве известна в Японии давно, серьезные компаратив-

¹⁴ См.: Токиэда Мотоки, Кокугогаку-гэнроп, Токио, 1941, стр. 57—84.

¹⁵ Об изучении письма в Японии см.: Yamada Toshio, System of writing, «Current trends in linguistics», II.

¹⁶ Ученые конца XVIII — начала XIX вв. осознавали изменчивость («порчу») лексики, но грамматические показатели считали неизменными и полученными от богов.

¹⁷ См., например: М. Кидэда, Грамматика японского языка, I—II, М., 1958—1959.

ные работы в Японии появились лишь в последние годы¹⁸. Это, конечно, связано и с характером японского языка, родственные связи которого крайне неясны и до сих пор убедительно не выявлены. Однако показательно и то, что сравнительно-исторический метод уже более ста лет с трудом приживается в Японии, тогда как европейские методы синхронного описания проникали в Японию очень легко¹⁹.

Отметим, что филологическое изучение памятников в Японии находится на очень высоком уровне; здесь больше, чем в Европе, сохраняется прямая преемственность традиций изучения памятников. На этой основе хорошо изучен весь язык письменного периода (с VIII в. н. э.), контраст между хорошей изученностью языка этого времени и почти полной неизученностью языка более ранних эпох больше, чем в Европе.

Еще одна особенность японской традиции в том, что она ориентирована на один язык — японский²⁰. В европейской традиции ориентация на один язык (латинский или греческий) была свойственна лишь раннему ее этапу, позднее, наоборот, важной тенденцией европейской традиции стало стремление к сравнению языков. Это, безусловно, связано с тем, что европейская традиция очень быстро стала достоянием многих народов. Японская же традиция в силу ряда причин так и не вышла за пределы Японии (исключая, может быть, лишь Корею), что, видимо, повлияло и на ее замкнутость в плане материала. Даже работы по общему языкознанию основываются исключительно или почти исключительно на японском материале²¹. Некоторые ученые прямо пишут, что лингвист может изучать лишь свой родной язык²². Работы, описывающие другие языки, стали появляться лишь в последнее столетие; в основном они либо имеют чисто практический характер, либо принадлежат ученым, вышедшим за рамки японской традиции. Сопоставительные и типологические исследования также развиваются вне рамок японской традиции (отметим все же, что они распространились в Японии быстрее, чем компаративные исследования).

Еще одна черта японской традиции заключается в том, что в ней большое место занимает семантика. У одних авторов (Токнеда) все исследование основано на семантике, у других (Хасимото) это заметно в меньшей степени, однако тенденция к устранению семантики из описания, свойственная ряду направлений европейской и американской науки в 30—50-е годы XX в., никогда не наблюдалась в Японии.

Наконец, следует сказать о выделении в японской традиции единиц языка. Этот аспект японской традиции, пожалуй, наиболее актуален в связи с проблемами, о которых говорилось в начале статьи. В области фонологии японской традиции, как и китайской, свойственно считать первичной единицей не фонему, а слог. Хотя членимость слога осознавалась уже в период создания гозюэна, японская традиция до XX в. рассматривала слог как нечто целое и элементарное. Это проявилось и в грамматике, где границы значимых единиц никогда не проводятся внутри слога, и в этимологических исследованиях, где пытались определить первичное значение каждого слога, и в самом характере японского письма, которое осталось слоговым (сходным образом возникло и корейское письмо, но там фикси-

¹⁸ См.: Мураяма Ситиро: Нихонго-но гогэн, Токио, 1974; е го же, Гэнгогаку-но хо:хо:, Токио, 1974.

¹⁹ Показательно, что из всех методов установления родства языков в Японии легче всего был освоен метод глоттохронологии, распространившийся там почти сразу после своего появления, см.: Хаттори Сиро: Нихонго-но кэйто:, Токио, 1959.

²⁰ Фактически в разные эпохи она ориентировалась на разные языки, но языки одного народа, связанные исторической преемственностью.

²¹ См., например: Токнеда Мотоки, указ. соч.; Арисака Хидэё, Онгигаку, Токио, 1940.

²² См.: Токнеда Мотоки, указ. соч., стр. 17—21.

руются не только слоги, но и их звуки). Здесь явно чувствуется влияние китайской науки, но, безусловно, играет роль и очень простая слоговая структура в японском языке.

Сильно отличается от привычного для европейцев выделение единиц грамматики. Одной из основных единиц является так называемое го. Го делится на классы, сходные с частями речи, подразделяются на знаменательные и служебные, записываются в словарях. Тем не менее по своим границам го отличается от слова. Простые го (с некоторыми отклонениями) соответствуют морфемам, сложные го представляют собой сочетания корней или сочетания корней с деривационными элементами. Знаменательные го по протяженностям соответствуют основам слов; в число служебных го входят аффиксы словоизменения и служебные слова, которые никак не разграничиваются между собой. Знаменательное го вместе с примыкающими к нему служебными образует единицу следующего уровня, которая Хасимото и другими учеными именовалась «бунсэцу» (бунсэцу характеризуются фонетической самостоятельностью, из бунсэцу формируются предложения)²³.

Таким образом, если европейская традиция обычно исходит из существования одной единицы — слова, имеющей различные аспекты, то японская традиция такую одну единицу не выделяет, а различные аспекты слова относит к разным единицам: слову как единице лексической системы языка соответствует знаменательное го, слову как минимальной составной части предложения и фонетическому слову — бунсэцу, слову как единице, состоящей из корня и аффиксов, в японской традиции вообще ничего не соответствует. Здесь отражается характер японского языка, в основном агглютинативного по своему строю и не обладающего четкими признаками слова. Такой подход, безусловно, заслуживает внимания; его существование показывает необходимость уточнения такого нечеткого понятия, как слово.

В целом для японской лингвистики XX в. характерна четкая дифференциация ярусов языка и последовательное выделение единиц разной протяженности²⁴, эта черта сближает японскую лингвистику с европейской. Такое выделение, в отличие от европейской науки, часто не ограничивается уровнем предложения. Для японских ученых последних десятилетий характерно выделение единиц более протяженных, чем предложение. Исследования связного текста, которые только начинают развиваться в европейской науке (сама идея о целесообразности таких исследований далеко не общепринята), давно имеют права гражданства в японской науке²⁵.

Безусловно, японская традиция обладает и другими особенностями, многие из которых еще предстоит выявить. Однако и того, о чем здесь сказано, как нам кажется, достаточно, чтобы обратить внимание на японскую традицию.

²³ Подробнее об этом см.: V. M. Alpatov, On the European and the Japanese traditions of singling out units of grammar, «XXIX International congress of orientologists. Papers presented by Soviet scientists», Moscow, 1973.

²⁴ См., например: Цурута Цунакити, Нихон-бумпо-гайрон, Токио, 1953.

²⁵ См., например: Токэда Мотоки, Бунсё-кэнкю-дзёсэцу, Токио, 1964.

ШАНИДЗЕ А. Г.

К ЭТИМОЛОГИИ СЛОВ *KARTL-I* («ГРУЗИЯ») И *KARTVEL-I* («ГРУЗИНЬ») *

Как известно, первоначально слово *Kartl-i* означало всю Грузию без Колхиды, в то время как сейчас под ним понимается одна из восточных провинций Грузии. Что же касается слова *kartvel*, то оно всегда было и поныне остается национальным именем грузин. Существуют попытки ряда ученых (Н. Марра, И. Джавахишвили, Н. Адонца, Гр. Капанцяна, Л. Меликсет-бека) объяснить происхождение этих слов, которые, однако, не соответствуют исторической правде. Попытаемся и мы внести ясность в этимологическое объяснение этих слов, родственных между собой, но имеющих разные основы.

Чтобы разобраться в истинном положении дел, надо иметь в виду, что в известных исторических условиях возможен переход этнонима одного народа к другому народу. В истории известно несколько примеров подобного рода, в том числе и случай с болгарами. Достоверно известно, что болгары, жившие некогда на среднем течении Волги, были народом тюркского племени. Одна ветвь болгар, оторвавшись от волжских мест и двигаясь на запад, прошла русские и украинские равнины, достигла Дуная и покорила местное славянское население. Это случилось в V и VI вв. Впоследствии завоеватели смешались с местным населением, утратили свой язык, а свое имя оставили покоренному народу. В результате болгары — славянский народ — носят тюркское имя.

Нечто подобное произошло и в Грузии. Первоначально слово *Kartl-i* означало народ, который завоевал Мцхету и прилегающие страны, но постепенно смешался с местным населением и потерял свой язык, а свое имя передал покоренному народу, который, вероятно, составляли месхи.

Известие об этом народе-завоевателе имеется в «Обращении Грузии», сохранившемся в Шатбердском сборнике X в. Переписал этот сборник около 973 г. Иоанн-Берай, который в этом году переписал в Шатберде четвероглав, пожертвованный им Пархальской церкви. Сам текст «Обращения» более древний и восходит к первой половине VII в. Его текст издал Е. С. Такайшвили дважды (в 1890 и 1912 гг.) и Ф. Жордания в 1892 г.

В «Обращении» дважды читается слово *Kartl-i*, соединенное со словом *Ариан*: *Ариан-Картли*, а именно: «И имел с собой царь Александр Азо, сына царя Ариан-Картли и даровал ему Мцхету для того, чтобы он там восседал, и определил границы (его владений): Эрет-и, Эгрисцхал-и (Энгур-и) и Сомхит-и (Армению) и гору Црол-и и удалился»¹.

Под Александром подразумевается Александр Македонский, упоминание которого здесь является анахронизмом, поскольку хорошо известно, что Александр Македонский в Грузии вовсе не был. Однако события, сообщаемые здесь и протекавшие значительно позже (думаю, во II в. до н. э.), заслуживают некоторого доверия.

* Доклад, прочитанный на объединенном заседании кафедры древнегрузинского языка и филологического факультета Тбилисского университета 17 ноября 1977 г.

¹ Е. Такайшвили, Описание рукописей Общества распространения грамотности среди грузинского населения, II, Тифлис, 1906—1912, стр. 709.

В хронике дальше читается: «А этот Азо отправился в Ариан-Картли к своему отцу и вывел оттуда восемь домов и десять домов сородичей и воссел (на престол) в Старой Мцхете, имея с собой в качестве богов кумиров Гац и Га. Этот был первым царем во Мцхете — Азо, сын царя ариан-кارتвелов, и скончался. А после него (царем) стал Парнаваз»².

Встречается Ариан-Картли и в «Житии св. Нины», непосредственно следуящем в Шатбердском сборнике за «Обращением Грузии». Здесь описаны кумиры, которые были низвергнуты молитвой св. Нины. Сперва описан Армаз, а затем сказано: «а по правую сторону его стоял золотой кумир, и имя его Гац, а по левую сторону (стоял) серебряный кумир и имя его Га, которые были богами у ваших предков из Ариан-Картли»³. Значит, выражение *Ариан-Картли* встречается в древнегрузинских текстах три раза, а в четвертый раз первый царь Грузии Азо назван сыном царя ариан-картвелов. Вместе с тем видно, что для автора «Обращения» область Ариан-Картли находится где-то далеко, за пределами Грузии, на что обратил свое внимание и С. Джанашиа.

Что же может означать Ариан-Картли? Представляется, что это название двух рядом находившихся стран, из которых *Arian* — это Ариана, которая по Страбону заключала в себе Персию, часть Мидии, Бактрию и часть Согдианы, а *Kartl-i* — это *part-n-i*, т. е. парфяне и их страна (т. е. Парфия).

Первоначально Парфией назывался современный Хорасан и прилегающие страны. Под названием Партава (*Parthava*) страна входила в государство Ахеменидов, которое было завоевано Александром Македонским в 330 г. до н. э. В середине III в. до н. э. парфяне добились независимости и постепенно расширили границы своих владений настолько, что на юго-востоке они достигали Индии, а на северо-западе — Кавказа. Парфяне (*part-n-i*) добрались до слияния Куры с Арагвой и завоевали Мцхету с окрестностями. Так мы должны понимать воцарение Азо, первого царя во Мцхете. Этот Азо был человек из Ариан-Картли, т. е. из Арианы (Арийских земель) с Парфией. Воцарившись в Мцхете, он вскоре отправился к своему отцу и переселил оттуда десять домов сородичей и восемь домов других парфян. Если считать, что каждый дом в среднем заключал не менее ста душ, то переселенцев было 1800 человек. Это была вторая волна колонизации, за которой следовали, по всей вероятности, и другие.

Надо полагать, что те цари, которые поименно перечислены в «Обращении Грузии» (Азо, Парнаваз, Саурмаг, Мирван, Парнаджоб и др.), были лицами парфянского происхождения. Парфяне — народ иранского племени, и их язык близко стоял к персидскому. «С лингвистической точки зрения, парфянский представляет собой диалект северо-западной группы и, судя по существующим документам, он является таким языком, который прошел значительный путь развития и находится на среднеиранской стадии»⁴.

Из вышесказанного явствует, что слово *Kartl-i* является видоизменением слова *part-n-i* («парфяне»). Нетрудно объяснить переход звука *n* в звук *l* (*part-n-i* > *partl-i* > *Kartl-i*). Труднее объяснить переход начального *p* в *k*: надо полагать, что *part-n-i* сначала дало *kart-n-i*, а впоследствии начальный звук *k* под влиянием последующего *t* превратился в *k* (частичная ассимиляция). А это в свою очередь дало *Kartl-i*⁵.

² Там же.

³ Там же, стр. 752.

⁴ М. А н д р о н и к а ш в и л и, Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям, I, Тбилиси, 1966, стр. 152 (на груз. яз.).

⁵ Переход *p* в *k* дан в имени *Ekvime*, полученном из *Eptvime* (Евфимий), а переход *p* в *k* имеется в диалектном имени *Korpile*, полученном из *Porpile* (Порфирий).

Военные действия парфян простирались и на Армению, где они оставили след своего влияния, что видно из того, что некоторые армянские деятели называются парфянами. Так, например, просветитель армян Григорий считается парфянином. У Моисея Хоренского читаем: «Св. Григорий, как то известно всем, был родом парфянин, из области Пахлавской»⁶. «Житие» Григория Просветителя, переведенное на грузинский язык, этого святителя называет парфянином: «Месяца сентября 30-го. Житие и подвижничество, а после этого мученичество священно-мученика Григория Парфянского» (*Partelisa*). В самом Житии парфяне названы *part-n-i*⁷.

Если этимология *Kartl-i* («Грузия») выяснена, то легко объяснить и происхождение имени *kartvel-i* («грузин»). Слово *kartvel-i* происходит от названия страны парфян, которая называлась *Пармава* (*Parthava*). Вследствие наращения грузинского суффикса происхождения *el* эта основа стянулась и вместо *partav-el-i* получился *partv-el-i*, отсюда впоследствии *kartvel-i* («грузин»).

Что же касается прилагательного *kartul-i* («грузинский»), то оно произведено от той же основы *partava*: *partavul-i* > *partvul-i* > *partul-i* > *kartul-i*. Таким образом, *Kartl-i* («Грузия») имеет одну основу, а *kartvel-i* («грузин») и *kartul-i* («грузинский») — другую.

Из вышеприведенного видно, что этимологические разыскания слов *Kartl-i* и *kartvel-i* раскрывают перед нами исторические события, разыгравшиеся в Грузии, как я полагаю, во II в. до н. э.

Г. А. Меликишвили в своем исследовании по вопросам истории древней Грузии пишет: «Начиная, во всяком случае, со второй половины II в. (до н. э.), когда могущество парфян очень возросло и парфяне нанесли Селевкидам целый ряд уничтожающих поражений, расширив свое политическое влияние на Армению, надо полагать, что взаимоотношения Грузии и Парфии стали довольно интенсивными. Тогда, исходя из политических условий, грузинские владетели, как видно, в Парфии искали союзника против своего противника — Армении»⁸.

М. Андроникашвили в своем исследовании приводит список грузинских слов, которые выявляют свое парфянское происхождение⁹. Здесь приводится 66 слов, которые, по мысли автора, являются заимствованными (непосредственно или опосредствованно) из парфянского. С другой стороны, в той же книге читаем: «Какое-либо прямое осязаемое указание или историческое сведение об отношении Грузии к парфянскому государству не сохранилось. Грузинская историческая традиция не знает названия *part-i* („парфянин“), или его среднеперсидского эквивалента *pahlav*, *pahlavanik* в качестве племени или географического имени, которое исходило бы от иранского; оно в грузинских исторических источниках не сохраниено»¹⁰.

Наше исследование показало, что *Kartl-i* («Грузия») есть фонетически измененное слово *Partn-i*, что значит «парфяне». Следовательно, слово *partn-i* встречается не только в исторических источниках, но, преобразовавшись в *Kartl-i*, и сегодня является общеупотребительным словом.

Что касается народа, который покорили парфяне, затем смешавшиеся с ним и растворившиеся, то это были, как мельком отмечено выше, месхи. Говоря это, я имею в виду то обстоятельство, что главным городом поко-

⁶ Моисей Хоренский, История Армении, II, М., 1893, § 91.

⁷ Ф. Жордания, Хроники, I, Тифлис, 1892, стр. 22.

⁸ Г. А. Меликишвили, Вопросы истории древней Грузии, Тбилиси, 1959, стр. 313 (на груз. яз.).

⁹ М. Андроникашвили, указ. соч., стр. 216—278.

¹⁰ Там же, стр. 144.

ренного народа была Мцхета. Я полагаю, что Мцхета анализируется так: *Мсх-et-a*, где основа — *Мсх*- получена из *месх* вследствие наращивания суффикса географических имен *-et* с окончанием *a*, являющимся уменьшительным суффиксом. Аналогичным образованием является *Самцхе* (одна из южных провинций Грузии): *sa-mesx-e* > *samsxe* > *samcxe*. Слово *Мцхета* обязано своим происхождением жившим там месхам.

Таким образом, слово *kartvel-i*, имеющее парфянское происхождение, приобрело значение общенационального имени грузин, тогда как раннее название грузина *mesx-i* приняло значение представителя говора из южной провинции Самцхе.

ПАУЛИНИ Э.

МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ ФОНЕМЫ И ЗВУКА

В своей статье о различительных свойствах консонантных фонем в словацком литературном языке я исходил из положения о том, что, рассматривая эти свойства, следует соотносить их с соответствующими коррелятами в акустических и артикуляционных характеристиках фонетических сегментов речевого сигнала¹. В данной статье мне хотелось бы развить эту мысль и продемонстрировать ее не только как гипотетически приемлемую теорию, но и как единственно возможную интерпретацию, адекватную исследуемому материалу. Сознательно предвосхищая эту свою интерпретацию, отмечу, что я не считаю фонетические факты основными. Об этом я уже писал в своем докладе для заседания Международной комиссии по фонетике и фонологии славянских языков, которое состоялось осенью 1976 г. в Скопле.

Но прежде всего поставим ряд вопросов. Можно ли фонетику полностью оторвать от фонологии? Какую роль играют фонетические данные в изучении означающей стороны языковой системы? По моему мнению, лучше всего начать с анализа процесса языковой коммуникации и попытаться построить такую его модель, которая правильно воспроизвела бы этот процесс в его главных чертах. Если нам это удастся, то мы определим место и функционирование фонологической структуры в языковой коммуникации, а также ее отношение к речевому сигналу, т. е. к фонетическим элементам коммуникации. Следующая задача — определение иерархии фонологических и фонетических элементов в языковой коммуникации.

При рассмотрении языковой коммуникации следует учитывать два фактора: отправителя (ОТ) и получателя (ПО) языкового сообщения. Если мы опираемся на моторную теорию восприятия (а эта теория по разным причинам признается в настоящее время наиболее адекватной)², то процесс восприятия (перцепция) языкового сообщения в значительной мере выступает как зеркальное отображение подачи языкового сообщения. Исходным моментом передачи всякого сообщения является мыслительное содержание (МС), с которым отправитель хочет ознакомиться получателя. Поэтому мыслительное содержание является и последним, заключительным звеном в цепи апперципируемого языкового сообщения.

Под мыслительным содержанием мы понимаем психический содержательный комплекс в мозгу человека, который должен быть передан получателю. Это может быть мысль, точно передаваемая понятиями, это может быть представление (от сугубо индивидуального и наглядного до обобщенного и не наглядного), это может быть эмоциональное или физиологическое состояние человека, это может быть единичное восприятие и т. п. Таким образом, наполнение и форма того, что мы называем мыслительным

¹ Е. Паулины, *Dištinktivne vlastnosti konsonantických foném v spisovnej slovenčine*, «Slovenská reč», 42, 1977, стр. 65 и сл.

² См.: Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндер, *Исследование фонетики*, в кн.: «Основы теории речевой деятельности», М., 1974, стр. 153.

содержанием, могут быть весьма различными, однако в интересующем нас контексте к нему относится только такой психический содержательный комплекс, который можно транспонировать в языковое сообщение. Следовательно, здесь мы не учитываем такие психические состояния, которые отправитель не может передать в виде языкового сообщения. Правда, и в подобных случаях отправитель может сообщить, что свое состояние или чувственное восприятие «он не в состоянии выразить словами».

Непосредственному наблюдению доступно не только мыслительное содержание, но и среднее звено языковой коммуникации, т. е. речевой сигнал (РС). Остальные элементы коммуникации (которые мы кратко охарактеризовали бы как преобразование мыслительного содержания в речевой сигнал у отправителя и преобразование речевого сигнала в мыслительное содержание у получателя) не поддаются непосредственному наблюдению. О функционировании этих участков коммуникации мы можем лишь выдвигать гипотезы (resp. теории на основе фактов, которые доступны нашему наблюдению и на основе некоторых рассуждений, частных наблюдений и дедукции). В соответствии со сказанным предварительная модель передачи и принятия языкового сообщения выглядела бы следующим образом: *
при отправлении:



Рис. 1

при приеме:



Рис. 2

Темный прямоугольник представляет собой для нас «черный ящик», т. е. ту часть акта перевода мыслительного содержания в речевой сигнал (resp. превращения речевого сигнала в мыслительное содержание), которая не доступна прямому наблюдению. Однако именно эта часть коммуникативного процесса имеет основное значение для познания сущности языковой коммуникации, и если мы хотим создать какую-то теорию языка, то мы обязательно должны построить модель деятельности человеческого мозга, которая нам с наибольшей степенью вероятности покажет изменение мыслительного содержания в речевой сигнал у отправителя и превращение речевого сигнала в мыслительное содержание у получателя.

Если мы смотрим на реализацию речевого сигнала так же, как на любую другую сознательно осуществляемую активность человеческого организма, то перед нами координированная, ограниченная во времени деятельность определенных мышц человеческого тела. Поэтому мы можем для начала сравнить речевой сигнал с каким-нибудь иным видом активности человеческого тела. Представим себе следующую ситуацию: в помещении, где я сижу, жарко и душно. У меня возникает мыслительное содержание: «нужно открыть окно». Мои мозговые центры вырабатывают рабочую программу этого действия, я отдаю команду на осуществление этой программы, тогда мозговые центры начинают последовательно передавать прика-

зы отдельным группам мышц, и как следствие приказов мозговых центров и работы мышц, которые реализуют эти приказы, явится действие «я открываю окно».

Сходная, но более сложная ситуация создается в том случае, когда во мне возникает мыслительное содержание, например, «здесь жарко», и я решу это мыслительное содержание передать при помощи языковых средств. Процесс, в результате которого достигается эта цель, можно, по нашим предположениям, разделить на несколько фаз.

1. Сначала это мыслительное содержание в соответствии с лексическими средствами данного языка и его правилами (в соответствии с его грамматикой), т. е. по правилам соответствующей языковой системы (ЯС), мы транспонируем в эксплицитную форму замышляемого высказывания (ЭФЗВ). Таким образом, на этой фазе из средств данной языковой системы будут отобраны необходимые элементы и в согласии с грамматическим и фонетическим строем данного языка они будут организованы таким образом, чтобы эксплицитная форма замышляемого высказывания соответствовала у отправителя существующему мыслительному содержанию.

2. Следующей фазой является зашифровка эксплицитной формы замышляемого высказывания в программу моторной реализации речевого сигнала. Эта фаза очень тесно связана с первой, первая фаза переходит во вторую почти незаметно, и все же их нельзя отождествлять.

3. Третью фазу составляет подача команды на реализацию речевого сигнала. На первый взгляд, выделение этой фазы кажется избыточным. Однако эта фаза, как будет показано дальше, является очень важной. О ее существовании свидетельствует и наш опыт. Всем нам знакома ситуация, когда мы вот-вот готовы что-то сказать, когда высказывание «вертится на языке», но вдруг передумаем, «прикусим язык» и ничего не скажем. А иногда наоборот, мы реагируем на что-то спонтанно, без сознательной волевой цензуры, без раздумий, и только потом осознали, что мы не должны были бы этого говорить. Эти примеры показывают, что речевой сигнал осуществляется только в том случае, если будет дана команда на его реализацию или если не будет запрещена его реализация. В нашей модели мы исходим из того, что команда будет дана. Тогда происходит последующая деятельность отправителя, т. е. посылка речевого сигнала. В нашем случае имеется в виду речевой сигнал («здесь жарко»).

Понятно, что расчленение процесса на указанные три фазы является схематическим, оно имеет характер функциональной модели. То, что мы здесь подразделяем на фазы, является непрерывным процессом. Кроме того, мыслительное содержание (особенно более сложное) складывается постепенно, и одновременно с этим посылается речевой сигнал. Необходимо учитывать также то, что передача возбуждений в нервной системе человека происходит с такой скоростью, что при самонаблюдении образование мыслительного содержания и соответствующего ему речевого сигнала сливается в один временной отрезок. Однако, как мы увидим дальше, необходимо расчленить подачу языкового сообщения на три указанных фазы.

Восприятие, как мы показали, является почти зеркальным отображением передачи языкового сообщения. И в этом случае мы предполагаем три фазы.

1. Прежде всего важным моментом является предрасположенность к принятию речевого сигнала. Это означает не только способность надлежащим образом слышать речевой сигнал. Такая возможность в случаях нормального языкового контакта здоровых людей (а мы здесь рассматриваем именно такие случаи) предполагается априори. Предрасположенность к принятию речевого сигнала означает сосредоточение внимания на речевой сигнал и его восприятие органами чувств. Эта деятельность не

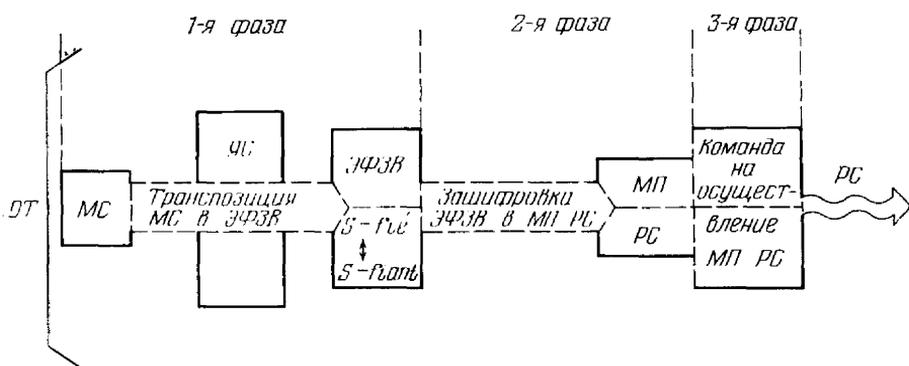
аналогична подаче команды у отправителя. Как подача команды является типичной только для отправителя, так и предрасположенность к принятию речевого сигнала является типичной только для получателя.

2. Вторая фаза восприятия очень тесно связана с первой. На этой фазе мы имеем дело с расшифровкой принятого речевого сигнала, с его расчленением на звуковые характеристики и с отождествлением этих характеристик с фонологическими свойствами и с фонемами. Согласно моторной теории перцепции, этот процесс осуществляется в том же месте (resp. в мозговых клетках той же функции, в которых происходит зашифровка эксплицитной формы замышляемого высказывания в программу моторной реализации речевого сигнала).

То обстоятельство, что одни и те же органы служат и для зашифровки эксплицитной формы замышляемого высказывания в речевой сигнал, и для дешифровки речевого сигнала в эксплицитную форму замышляемого высказывания, можно объяснить тем, что при вводе (зашифровке) эксплицитной формы замышляемого высказывания в моторную программу речевого сигнала возникают те же самые нервные импульсы, которые возникают при вводе трансформированных элементов речевого сигнала в эти устройства. Мы, однако, предполагаем, что при вводе принятых чувствами и трансформированных в нервные возбуждения элементов речевого сигнала в этих устройствах возникает нечто похожее на резонанс. Данная картина далека от совершенства. Известно, что если ударить по камертону с определенными параметрами, то издаваемый им звук, благодаря резонансу вызовет звучание каждого, находящегося вблизи камертона, который имеет те же параметры. Нечто похожее происходит, как мы предполагаем, и при приеме речевого сигнала.

3. Третья фаза восприятия в свою очередь является зеркальным отображением первой фазы передачи сообщения. Здесь речь идет о декодировании эксплицитной формы замышляемого высказывания в мыслительное содержание.

Схематически коммуникативный процесс выглядит следующим образом:



- OT — отправитель
- MC — мыслительное содержание
- ЭФЭВ — эксплицитная форма замышляемого высказывания
- МП — моторная программа
- РС — речевой сигнал
- S-гье — signifié
- S-глант — signifiant

Рис. 3

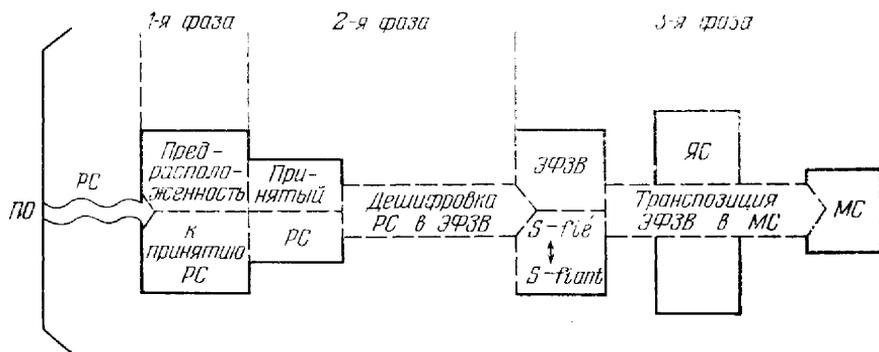


Рис. 4

К этим схемам следует добавить, что отправитель при передаче языкового сообщения выполняет также роль получателя. Конечно, не как получатель неизвестного сообщения, а как выходной контроль правильности передаваемого сообщения по принципу так называемой обратной связи. При этом отправитель контролирует безошибочность результатов осуществляемых процессов, т. е. прежде всего то, происходит ли дешифровка и транспонирование его речевого сигнала в то мыслительное содержание, которое он предполагал реализовать.

Приведенная нами схема языковой коммуникации по сравнению с действительным положением вещей бесспорно является весьма упрощенной. Однако даже из того, что можно было бы при ее помощи показать в интересующем нас плане, мы более детально рассмотрим только одну часть, а именно означающую сторону языкового сообщения: в сфере языковой системы это будет фонологическая система, в сфере речевого сигнала это будет совокупность звуков.

Как уже было отмечено, существенная часть процесса языковой коммуникации не поддается нашему непосредственному наблюдению. Возникает вопрос, как же мы можем проверить действительное существование отдельных фаз коммуникации и самого процесса коммуникации в том виде модели, который мы предложили.

Во всякой критической работе, посвященной изучению приобретенной афазии, подчеркивается, что отдельные случаи нельзя точно отнести к определенному типу. Это естественно. Каждое происшествие, в результате которого возникает афазия, является индивидуальным, следовательно, отдельные случаи афазии также индивидуальны. И все же сами исследователи, занимающиеся афазией, в целях наглядности классифицируют все случаи по доминирующим признакам. Ср., например, весьма поучительный обзор современного состояния классификации афазий у В. Пеликана³. Так как я стараюсь построить модель языковой коммуникации, а не исследовать афазию, то для проверки своей модели я применяю, вполне осознавая значительное упрощение проблемы, классификацию афазий Й. Кимла⁴, который использует основные критерии, приводимые, пожалуй, всеми исследователями. Аналогичная классификация представлена также в работе Б. Галы и М. Совака⁵. Й. Кимл делит приобретенные афазии на три типа (правда, с дальнейшим их внутренним членением, что мы здесь не учитываем): aphasia totalis (абсолютная афазия), aphasia sen-

³ V. P e l i k á n, Patogenese afasí, Praha, 1970, стр. 15—24, 56—60.

⁴ J. K i m l, Afasie a reedukace řeči, Praha, 1969, стр. 111 и сл.

⁵ B. H á l a, M. S o v a k, Hlas, řeč, sluch, Praha, 1962.

сорика (сенсорная афазия), aphasia motorica (двигательная афазия). Эти отдельные типы афазий в целом соответствуют нарушению функций определенных фаз языковой коммуникации, которые мы отметили в своей модели.

При абсолютной афазии представлена «полная или практическая неспособность понимать сигнальное значение речи. Такой больной совершенно или практически не может говорить и не понимает речь других». «Мышление полного афатика, его внутренняя речь скорее всего редуцированы до уровня предметного мышления, прежде всего образного»⁶. Мы предполагаем, что при этом виде афазии не функционируют все мозговые устройства, обеспечивающие нормальное течение первой и второй фаз у отправителя (т. е. транспонирование мыслительного содержания в эксплицитную форму замышляемого высказывания и зашифровку эксплицитной формы замышляемого высказывания в программу речевого сигнала). Поэтому такие афатики могут издавать звуки («Они выкрикивают некоторые стереотипные слова или слоги или же лишь неартикулированные звуки»⁷), следовательно, третья фаза отправителя у них функционирует, но вне связи с предшествующими фазами. В роли получателя речевого сигнала у них отключены все мозговые устройства второй и третьей фазы получателя, которые являются зеркальным отображением (по нашему предположению, в данном случае мы имеем дело с теми же устройствами) первой и второй фазы получателя. Первая фаза получателя, т. е. предрасположенность к принятию речевого сигнала у них сохраняется, но без связи с другими фазами.

При двигательной афазии происходит «нарушение речи, включающее дефекты языкового выражения при поражении двигательной речевой зоны мозга». Главной характерной чертой двигательной афазии является полное или частичное сохранение внутренней речи (понимания), а также большей возможности восприятия, чем экспрессия, и затрудненность речи вплоть до неспособности (anarthria) говорения⁸. При этом типе афазии бездействует орган, который отдает команду на реализацию зашифрованной программы у отправителя (следовательно, третья фаза у отправителя). Первая и вторая фазы у больных этим видом афазии продолжают функционировать, поскольку больной не может только выразить свои мысли или же выражает их с трудом или неточно. Все фазы, характерные для получателя, остаются у больного двигательной афазией ненарушенными. А поскольку вторая и третья фазы у получателя являются зеркальным отображением первой и второй фазы у отправителя, то это еще раз доказывает, что у больного не функционирует только третья фаза отправителя. О том, что все фазы у получателя остаются ненарушенными, лучше всего свидетельствует возможность обратной связи. Так как поврежден орган, который отдает команду на осуществление речевого сигнала, речь этих афатиков очень часто бывает неправильной (resp. они вообще не могут говорить). Но поскольку у них работает обратная связь, они контролируют свои высказывания и отказываются от них, если они ошибочны⁹. Они могут создать и эксплицитную форму замышляемого высказывания, но не умеют выразить его словами. Тогда они высказываются в таком смысле: «я не могу это сказать».

Сенсорная афазия — это «категория нарушения речи, включающая разные ступени нарушения восприятия, понимания, памяти и понимания речи при поражении главным образом височнотемпальных речевых зон моз-

⁶ J. K i m l, указ. соч., стр. 113.

⁷ Там же.

⁸ Там же, стр. 116.

⁹ Там же, стр. 117.

га»¹⁰. При афазии этого типа предполагается повреждение органа, который осуществляет транспозицию мыслительного содержания средствами языковой системы в эксплицитную форму замышляемого высказывания у отправителя (следовательно, первая фаза коммуникации у отправителя); у получателя — это те же самые органы, но они осуществляют транспозицию эксплицитной формы замышляемого высказывания в мыслительное содержание (третья фаза коммуникации у получателя).

При врожденной глухонемоте (в настоящее время вместо термина «глухонемой» применяется термин «глухой»; дальше мы объясним причину смены термина) мы предполагаем «отключение» органов второй и третьей фазы коммуникации у отправителя. У получателя не функционируют органы первой и второй фазы коммуникации. Как уже было отмечено, органы второй фазы у получателя и отправителя являются тождественными. Способность транспонировать мыслительное содержание в эксплицитную форму замышляемого высказывания у отправителя (первая фаза коммуникации у отправителя) и способность транспонировать эксплицитную форму замышляемого высказывания в мыслительное содержание у получателя (следовательно, третья фаза коммуникации у получателя), которые являются тождественными, у глухих не нарушены. Так как у глухих не образуется нормальный речевой сигнал и они не способны зашифровать эксплицитную форму замышляемого высказывания (у получателя), то после соответствующей тренировки они вместо речевой сигнальной системы используют иную сигнальную систему (систему дактилологическую, язык жестов и мимики). Эту замещающую сигнальную систему они применяют в общении друг с другом.

В настоящее время проявляется стремление подключать глухих к общественной жизни остальных людей, к общему трудовому и жизненному ритму. Поэтому их обучают нормальной речевой коммуникации. Они учатся поимать речевой сигнал и дешифровать его при помощи различных способов, главным образом, чтением по губам. Передавать речевой сигнал они учатся подобными же методами. Поскольку они учатся передавать речевой сигнал в определенной мере им это удается, и, следовательно, они не являются немыми, изменилось и название этой болезни. Конечно, образование речевого сигнала глухими носит иной характер, чем у людей, которые слышат. Оно имеет также иную форму, так как в этом случае отсутствует обратная связь. Однако это уже специальные проблемы, которые мы здесь не будем решать.

Приведенные выше примеры показывают, что все же существуют некоторые возможности проверки того, близка ли наша модель коммуникации к действительности. Возможность сопоставлять отдельные типы афазии с нашей моделью свидетельствует о значительной вероятности того, что данная модель может применяться как в достаточной мере соответствующая реальному процессу языковой коммуникации.

Из того, что было продемонстрировано при помощи модели, вытекает, что означаящим эксплицитной формы замышляемого высказывания (signifiant) являются фонемы (собственно, фонологическая структура) соответствующего языка. После зашифровки эксплицитной формы замышляемого высказывания в моторную программу речевого сигнала и особенно после появления речевого сигнала и его сегментов мы имеем дело с материальными звуковыми элементами звукового сигнала и можем анализировать их образование (артикуляцию) и их физические акустические свойства. Из вышесказанного со всей ясностью вытекает, что, по нашему мнению, надлежащее функционирование языковой коммуникации пред-

¹⁰ Там же, стр. 123.

полагает параллель и переводимость фонологических свойств в фонетические у отправителя и фонетических свойств в фонологические у получателя. Согласно нашей модели, это действительно происходит не только в процессе общения между отправителем и получателем, но и у самого отправителя при обратной связи.

С самых первых шагов фонологии как теоретической дисциплины ставится вопрос об отношении фонологии и фонетики, об их взаимной иерархии. Что является основным, и что производным? Фонетика или фонология? Звук или фонема?

На первый взгляд, кажется, что ответ на эти вопросы является простым и однозначным. Что может быть отправной базой, как не материальный факт, природное явление, которое доступно прямому наблюдению и измерению. Таким фактом, на первый взгляд, является звук. По сравнению с ним фонема считается чем-то таким, что некоторым способом произведено от звука (*resp.* является абстракцией звука).

Еще Бодуэн де Куртене в одной из версий своей концепции считал фонему представлением артикуляционных процессов и акустических восприятий звука¹¹. Аналогичным образом понимается фонема и в первоначальных формулировках Пражской школы. В тезисах Пражского лингвистического кружка (1929) фонологическая система характеризуется как «совокупность простейших акустико-моторных представлений смыслозначительных в данном языке (фонем)». Л. В. Щерба считал фонему звуковым типом. Он полагал, что звуки живой речи, которых имеется большое множество, объединяются в относительно небольшое число звуковых типов, способных различать слова и формы¹². Эти взгляды на фонему были еще довольно тесно связаны с натуралистическим пониманием звука.

В последующих концепциях разрыв между фонемой и звуком все более и более увеличивался. Согласно более поздним взглядам, характерным для Пражской школы, фонема — наименьшая звуковая единица, дальше уже неделимая, которая обладает способностью различать значение¹³. Правда, по одной из формулировок Н. С. Трубецкого, фонема является совокупностью фонологически релевантных признаков звукового типа¹⁴. Л. Ельмслев характеризует фонему как мельчайшую единицу языка, определяемую исключительно синтагматическими (дистрибутивными) отношениями¹⁵. Р. Якобсон рассматривает фонему как набор дифференциальных признаков¹⁶. Как абстракцию свойств сегментов речевого сигнала понимает фонему и дифференциальные признаки Я. Горецкий¹⁷.

Правда, уже давно и неоднократно констатировалось, что речевой сигнал образует континуум и что отдельный звук по сути дела является абстракцией от множества связанных высказываний, в которых он встречается¹⁸. Показательна в этом плане и позиция Н. С. Трубецкого, который также отмечал, что речевой сигнал образует континуум и что фонетисты используют фонологические основания для определения «звуков языка». При этом он, однако, считает фонетический материал отправной базой для фо-

¹¹ См.: Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, К истории учения о фонеме, ИАН ОЛЯ, 1953, 1, стр. 62—75.

¹² Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, М., 1955, стр. 19.

¹³ «Projet de terminologie phonologique standardisée», TCLP, 4, 1931, стр. 311.

¹⁴ N. S. T r u b e t z k o y, Grundzüge der Phonologie, Prague, 1939, стр. 35.

¹⁵ L. H j e l m s l e v, Langue et parole, CFS, 2, 1942, стр. 29 и сл.

¹⁶ R. J a k o b s o n, M. H a l l e, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956, стр. 20.

¹⁷ J. H o r e c k ý, Generatívny opis fonologického systému spisovnej slovenčiny, «Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Saarikianae. Jazykovedný zborník», 4, 1975, стр. 6—7, 19.

¹⁸ E. S i e v e r s, Grundzüge der Phonetik, Leipzig, 1885.

нологического исследования¹⁹. Когда авторы «Атласа словацких звуков» пытались найти критерии для дефиниции звука, они установили, что «звук... не может быть определен вне фонологического принципа, потому что звуковой сигнал речи без этого принципа нельзя адекватно анализировать как языковое явление»²⁰. Однако фонема, по мнению этих авторов, является «абстрактной единицей языковой системы»²¹; они говорят также о «фонематических конструктах»²². Если довести эти взгляды до логического конца, то окажется, что фонема абстрагируется от звука, а звук может быть определен только через фонему. Явный заколдованный круг, с которым в этой связи мы встречаемся очень часто.

Для того чтобы найти какой-то выход, примем следующую рабочую гипотезу: рассматривая отношение «фонема — звук», будем отталкиваться от фонемы, конечно, фонемы как члена соответствующей фонологической структуры. Многие исследователи, хотя и констатируют, что звук определяется фонологическими критериями, наряду с этим утверждают, что фонема — это абстракция звука. Ничего подобного допустить нельзя. Фонема является реально существующей единицей в сознании человека. Конечно, эта единица находится в определенном отношении к остальным фонемам соответствующей фонологической структуры. Звук является конструктом, производным от фонемы. Об этом наглядно свидетельствуют некоторые факты.

Кинорентгеновские снимки артикуляции и сами сонограммы показывают, что речевой сигнал образует непрерывный континуум, в котором очень часто нельзя вычленить дискретный звуковой сегмент, так называемый стационарный (resp. квазистационарный) сегмент, который в своих звуковых (фонетических) свойствах имел бы характеристики, соответствующие звуку. То, что мы приписываем одному звуку (resp. звуковым коррелятам дистинктивных свойств одной фонемы), в акустическом и артикуляционном отношении размещено в двух и трех сегментах речевого сигнала. Работа органов артикуляции происходит таким образом, что свойства отдельных звуков перекрываются. Возникает так называемая коартикуляция, т. е. одновременная артикуляция элементов, принадлежащих различным звукам. Об этом существует большая литература, это доказывается множеством убедительных примеров. В данной статье мы ограничимся цитатой из экспериментальной работы Н. И. Дукельского, посвященной проблемам сегментации речевого сигнала. Автор пишет: «Рассмотренные в данном исследовании результаты экспериментов свидетельствуют о том, что фонемные признаки складываются на основе информации, содержащейся главным образом или в переходных, или в квазистационарных сегментах, а в отдельных случаях — в двух или трех последовательно расположенных сегментах. Следует обратить при этом внимание и на то, что информация, впоследствии перераспределяемая и преобразуемая в признаки последовательно расположенных фонемных образов, представлена в перекрывающихся отрезках речевого потока»²³. Чрезвычайно поучительной и глубоко новаторской в данном аспекте является также работа П. Деллатра о французских согласных²⁴.

¹⁹ N. S. Trubetzkoy, указ. соч., стр. 16—17.

²⁰ J. Dvořák, G. Jenča, A. Kral', Atlas slovenských hlások, Bratislava, 1969, стр. 49.

²¹ Там же, стр. 45.

²² Там же, стр. 49.

²³ Н. И. Дукельский, Принципы сегментации речевого потока, М., 1962, стр. 125.

²⁴ P. Dellatre, Des indices acoustiques aux traits pertinents, «Proceedings of the VI International Congress of phonetic sciences, Prague, 1967», Praha, 1970, стр. 35—47.

Следующим важным моментом является момент временной. Например, у глухих шумных смычных согласных из трех артикуляционных сегментов (образование и длительность затвора, снятие затвора и краткий приступ, краткий сегмент выхода) звуковое выражение имеет только второй сегмент (снятие затвора с кратким приступом), который длится всего 20 мсек. Между тем Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндер²⁵, ссылаясь на Г. В. Бекешу, отмечают, что нижним порогом различения звуков является звук длительностью по крайней мере 30—50 мсек.

Таким образом, мы сталкиваемся с интересным фактом: сегменты речевого сигнала, соответствующие тому, что мы называем звуками, в потоке речевого сигнала не имеют строго определенных разделяющих их границ. Они перекрываются. И однако мы их интерпретируем как единицы. Это возможно только благодаря тому, что мы их воспринимаем и интерпретируем на базе языковых критериев, на основе фонологической структуры соответствующей языковой системы, которая существует в нашем сознании и которая нам служит в процессе коммуникации, как мы показали в модели языковой коммуникации. О том, почему мы способны определять звук как ограниченную единицу на базе языковых критериев, достаточно убедительно говорил также Л. Р. Зиндер²⁶.

Итак, основной единицей языковой коммуникации является фонема. Звук как фонетический факт — довольно неопределенная и в целом неточная тень фонемы. Только фонема определяет и уточняет его. В жизненной практике, применяя язык, мы обходимся без знания звуков, потому что мы осознаем их артикуляцию, выполняемую в соответствии с программой команд из мозговых центров. Мы не осознаем также их расщипровку в фонемы в момент восприятия. Однако они нам необходимы в теоретической работе при рассмотрении языковых знаков в плане означающего (signifiant), так как фонемы мы воспринимаем автоматически. При научном анализе мы можем наблюдать отдельные дистинктивные свойства фонем лишь через посредство сегментов речевого сигнала. При этом никогда не следует смешивать и подменять два разных аспекта: 1) применение языка в акте коммуникации, при которой мы пользуемся фонемами; 2) теоретическое исследование плана означающего в языке, при котором мы имеем дело с явлениями речевого сигнала, приписывая им (в меру знания системы языка) дистинктивные фонологические признаки.

Следовательно, необходимо исходить из того, что образование и восприятие речевого сигнала прочно связано с фонологической структурой. Фонологическая структура данного языка — это не логический конструкт. Она существует как материальная реальность в человеческом мозгу.

Перевел со словацкого Л. Н. Смирнов

²⁵ Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндер, Исследование фонетики, стр. 155.

²⁶ Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, стр. 11 и сл.

ВИШНЯКОВА О. В.

О ПРОБЛЕМАХ ПАРОНИМИИ

Наиболее активная разработка вопросов паронимии началась в 60-е годы XX в., хотя изучение паронимов имеет свою историю и ее начало следует искать в работах древних греков, давших название рассматриваемому явлению: *para* («возле, рядом») + *opota* («имя»), т. е. «производные одно от другого», «имеющие общий корень; произносящиеся подобно, но имеющие разные значения». Другими словами, термин «паронимия» может быть переведен как «возлеименность», а «пароним» — как «возлеслов»¹. Такими возлесловами, или паронимами, предстают перед нами либо два однокорневых близкозвучных существительных: *невежа* // *невежда*, *поступок* // *проступок*, либо два однокорневых близкозвучных прилагательных: *скрытый* // *скрытный*, *сытый* // *сытный*, либо два однокорневых близкозвучных глагола: *поглотить* // *проглотить*, *золотеть* // *золотить*, либо два однокорневых близкозвучных причастия или деепричастия (глагольные формы): *заживающий* // *заживляющий*, *осуждавший* // *обсуждавший*, *заживая* // *заживляя*, *осуждая* // *обсуждая* и т. п.

Образование в языке созвучных слов одного и того же корня, но с принципиально новым значением зависит от роста новых понятий современной жизни, быстроты развития науки, культуры и экономики. Изменения в семантике ряда слов происходят постоянно. По мнению Соссюра, всякое новообразование «не связано с обязательным исчезновением прежней формы»². Первоначально они сосуществуют «в течение некоторого промежутка времени» и даже заменяют одно другое. А затем каждая из форм выступает отдельным компонентом лексической пары паронимов со своим, только ему присущим словесным окружением, или валентностью, «поскольку языку не свойственно сохранять два означающих для одной идеи»³. Например, такие слова, как *покорный* // *покорливый*, *послушный* // *послушливый* и т. п., еще в XIX в. нередко выступали синонимами, что уже не встречается в современном русском языке. Приблизительно к таким же выводам приходит и К. С. Горбачевич, когда вслед за В. В. Виноградовым утверждает, что «смысловое расхождение... ведет к распаду вариантности и преобразованию вариантных пар в самостоятельные слова. При этом семантическое расщепление и образование разных слов — это исторический процесс»⁴.

Пути возникновения паронимических отношений между двумя лексемами весьма разнообразны, чем и объясняется структурная разнородность лексических паронимов. Одной из причин их возникновения следует называть образование паронимов в результате семантического разветвления

¹ См. об этом: О. В. Вишнякова, Интерференция при овладении паронимами русского языка, «Ruština v teorii a v praxi», 1976, 4, стр. 148.

² Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 152—153.

³ Там же, стр. 153.

⁴ К. С. Горбачевич, Вариантность слова и языковая норма. АДД, М., 1975, стр. 6а.

значений слова: *атомник*//*атомщик*, *телевизионник*//*телевизионщик* и т. п. Некоторое количество паронимов русского языка обязано своим появлением также и дифференциации значений русских и церковнославянских слов, которые в свое время утратили семантическую и стилистическую соотносительность в результате распада классической системы трех стилей: *высший*//*вышний*, *блудить*//*блуждать* и т. п. Значительное число паронимов возникло в результате отхода некоторых в прошлом вариантов слов от этой категории: *простака*//*простец*; *штурм*//*штурм* и т. п. Часть паронимов образовалась благодаря переразложению и контаминации однокорневых синонимов древнерусского языка (*клёв*//*кляв*; *ломать*//*ломить* и т. п.) и синонимов омоформного характера, которые обладали потенциалом дальнейшего семантического и стилистического разграничения (*могучий*//*могущий* и т. п.), а также развитию в словах энантиосемии (*благой*//*блажной* и т. п.).

Ряд паронимов возник при переходе некоторых причастий в прилагательные в то время, когда прилагательные с тем же корнем (но сугубо самостоятельным значением!) уже существовали: *ловкий*//*ловчий* — *л о в ч а я с е т ь*, например: «На лугах все цветочки связаны паутиной, и непременно висит паучья *ловчая сеть*, в росе похожая на кружево» (М. Пришвин, *Лесная капель*).

Появление паронимов также отмечается в результате проникновения в общепотребительную лексику тех лексических единиц, которые первоначально бытовали только в специальных сферах языка и несли в себе лишь относительное значение, а затем в процессе образования созвучных им качественных прилагательных с тем же корнем приобрели параллельные лексические пары: *двуручный*//*двурушный*, *поворотный*//*поворотливый*, *симпатический*//*симпатичный* и т. п. Значительная группа паронимов образовалась в языке при смысловом разграничении признаков активности и пассивности в однокорневых прилагательных: *докучный*//*докучливый*, *запасный*//*запасливый* и т. п. Ряд этих возлесловов с суффиксами *-н-* и *-лив-* еще в XIX в. были синонимами, но постепенно они получили принципиально разное, самостоятельное значение.

Некоторые паронимы вошли в язык благодаря интуитивному желанию носителей языка освободить его от омонимов, дифференцировать обозначения отдельных понятий; например: *обязать*//*обязать*. Немалое число лексических паронимов появилось в результате утраты признака свойственности, принадлежности в некоторых притяжательных прилагательных и «отслоения» от них близкозвучных качественных прилагательных: *зрительный*//*зрительский*, *старательный*//*старательский* и т. п., а также и из притяжательных, несших в себе признак свойственности, принадлежности, в близкозвучные относительные прилагательные с признаком «сделанный из чего-либо», «содержащий что-либо»: *черепаший*//*черепаховый*, *фазаний*//*фазановый* и т. п. Значительное число паронимов появилось в результате укрепления суффикса *-ичн-* в заимствованных словах со значением склонности, подобия параллельно суффиксу *-ическ-* в паронимах, обозначающих более постоянный признак, всегда присущий, снабженный характеристическим обладанием какими-нибудь свойствами: *практический*//*практичный*, *динамический*//*динамичный* и т. п.

Семантическое размежевание паронимов этой группы касается исключительно объема их значений. Однако значительная группа слов с суффиксами *-ичн-* и *-ическ-* и в наши дни продолжает оставаться не полностью, а лишь частично паронимичной. Так, например, такие слова, как *систематический* и *систематичный*, хотя и дифференцируются в значениях: *систематический* «образующий какую-либо систему, опирающийся на нее; относящийся к систематике; чрезмерно логичный» и *систематичный* «пла-

номерный, регулярный, последовательный», но продолжают оставаться синонимичными в значениях «происходящий с определенной последовательностью». Хотя, безусловно, и они со временем станут абсолютно паронимичными, т. е. не выступающими синонимами ни в каком из своих значений, каковыми на сегодня являются такие компоненты лексических пар, как *технический//техничный, симпатический//симпатичный* и им подобные. Рассмотренные выше пути возникновения паронимов представляют собой лишь наиболее характерные и показательные случаи, не исчерпывая всех имеющихся в русском языке. Однако и они позволяют сделать вывод о том, что причины возникновения паронимов обусловлены национальным своеобразием лексики русского языка, что паронимический массив, как и словарный состав языка, вообще, подвижен, а возможности пополнения паронимического словаря безграничны.

Однако лингвистическая сущность паронимии и на сегодня продолжает оставаться недостаточно исследованной. Оценка самого факта паронимичности по-прежнему остается бесспорной. Содержание, вкладываемое в понятие паронимичности, не совпадает у разных исследователей. Нередко авторы, определяя словесные пары, расширяют понятие паронимии, подменяя его паронимазией. И это объясняется тем, что изучение паронимии пока делает только самые первые шаги, а потому и не удивляет, что есть недочеты и ошибки. Чаще всего, они связаны с разным пониманием самого термина «пароним», с отнесением к паронимам всех созвучных слов, генетически между собой и не связанных, единственным критерием объединения которых предполагается случайное смешение их в речи.

Безусловно, одним из определяющих признаков паронимов является звуковое подобие слов. Но тем не менее, одно звуковое выражение слова не может служить критерием его самостоятельности. Поэтому к паронимам следует относить близкие по звучанию однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге, принадлежащие одному логико-грамматическому ряду и выражающие различные смысловые понятия. С каждым годом все большее число советских и зарубежных исследователей, занимающихся вопросами паронимии, приходят к мысли об однокорневой, а не раздвокорневой паронимии. Случаи смешения раздвокорневых созвучных слов или случаи окказиональных смещений созвучных слов, опирающихся на индивидуальные вербальные ассоциации в случайных речевых ситуациях, все эти исследователи относят к совершенно определенному явлению в речи — к паронимазии.

Ознакомление с имеющимися материалами о паронимах позволяет свести все существующие в научных работах, пособиях, статьях, справочниках, словарях и энциклопедиях определения паронимов к двум основным:

1. Паронимы — любые сходнозвучающие слова, имеющие разное значение и ошибочно употребляющиеся одно вместо другого. Эту трактовку Д. Э. Розенталь назвал «расширительным пониманием паронимии, имеющим своим отправным пунктом речевую норму»⁵.

2. Паронимы — сходнозвучающие однокорневые слова с разным значением и принадлежащие к одному логико-грамматическому ряду. Этот взгляд на паронимы разделяют в своих работах многие современные исследователи. С нашей точки зрения, именно такой подход и создает возможность выделить из множества созвучных и смешиваемых (по разным причинам!) слов максимальные, истинные или абсолютные паронимы.

⁵ См. рец. Д. Э. Розенталя на книгу Вишняковой О. В. «Паронимы в русском языке» («Р. яз. в шк.», 1975, 1, стр. 102).

На основании имеющейся сейчас разработки важнейших проблем семантики, а также вопросов паронимии, отмечаем, что паронимы представляют собой объективное следствие языкового развития, что в целом их количество в современном русском языке нарастает, что предпосылки образования новых паронимов лежат внутри языковой системы⁶. Свидетельством нарастания количественного состава паронимов русского языка может служить хотя бы пример с паронимами-прилагательными на *-ичн* и *-ическ*-. В. А. Гречко подсчитано, что в «Словаре Академии Российской» (1789—1794) было зафиксировано всего несколько десятков прилагательных на *-ический*, которые затем получили в языке параллельное образование на *-ичный*», а «в современных словарях насчитывается около двухсот пятидесяти пар соотносительных прилагательных на *-ический* и *-ичный*»⁷. И мы можем подтвердить, что количество паронимов с этими суффиксами типа *трагичный*//*трагический*, *симпатичный*//*симпатический* и т. п. нарастает.

Наиболее надежным критерием для выделения семантических закономерностей является сочетаемость, так как семантика любого паронима реализуется во вполне определенных связях его с другими словами. Каждое из слов лексической пары входит в несколько совершенно определенных словосочетаний; например, *дипломатичный*//*дипломатический*: *дипломатичный* «уклончивый, осмотрительный, ловкий (человек); уклончивый, тонко рассчитанный (ответ, поступок, речь, выступление)», *дипломатический* «относящийся к дипломатии (работник, корпус, демарш, протокол, неприкосновенность и т. д.)». Для слов-паронимов характерно почти полное несовпадение сфер лексической сочетаемости. Именно поэтому употребление одной паронимической лексемы вместо другой в одном и том же контексте практически невозможно. Если же они используются в одном и том же контексте, то смысл контекста принципиально меняется, например, *абонент*//*абонемент*: *старый абонент* «давно пользующийся абонементом», *старый абонемент* «использованный абонемент, или тот, срок действия которого уже истек».

Наш язык постоянно требует уточнений. И сегодня, когда выдвигаются повышенные требования к правильности русской речи, уже небезразлично, как сказать: *конный* завод или *конский*, *конная* дивизия или *конская*, а тем более — *экономичный* путь развития или *экономический* путь развития! А потому для нормирования правил речевого поведения необходимо не только исследовать речевой акт, но и определить четкое соблюдение всего комплекса языковых норм словоупотребления. Паронимичность лексем, присущая значениям рассматриваемых слов, и вне речевого контекста всегда является компонентом лексического значения слова как единицы языка.

Таким образом, паронимичность — не есть только внешняя сторона слова, а непосредственно оттеняющая его смысловую часть, вносящая определенную качественную характеристику в лексическое значение слова. Явление паронимии где-то соприкасается со стилистической системой языка и именно поэтому стилисты одними из первых обратили внимание на явление паронимии.

⁶ Подтверждение тому, что паронимы — явление системное в русском языке находим, например, в работах авторов: Е. Г. Багагурова, Паронимия в сфере фразеологии, сб. «Вопросы семантики фразеологических единиц. Тезисы докладов и сообщений», Новгород, 1971; Т. Г. Ономаренко, Семантическая характеристика однокорневых глаголов [современного русского языка. КД, Л., 1970; Н. Я. Лоифман, «Р. яз. в шк.», 1961, 3; и др.

⁷ В. А. Гречко, Параллельные имена прилагательные на *-ический* и *-ичный* в современном русском литературном языке, «Лексикографический сборник», 5, М., 1962, стр. 156.

Максимальными паронимами, или возлесловами, на наш взгляд, надо признавать только такой словообразовательный тип, зона действия которого и отношение к другим словообразовательным типам, в отличие, например, от синонимов, более ограничена. Давая определение паронимов, необходимо учитывать все признаки: фонетические, грамматические и семантические, помня, что паронимия характеризуется формальной выраженностью и определенностью, что в свою очередь представлено смысловой дифференциацией однокорневых лексем со сближенным звучанием.

В печати уже рассматривалось сравнение паронимии с паронимазией⁸, но, думается, для полноты картины необходимо рассмотреть все случаи, вызывающие как паронимические, так и парониматические явления. В чем отличие паронимических явлений в лексике русского языка от парониматических? Вопрос о сущности и соотношении паронимических и парониматических явлений мало разработан. Для правильного понимания сущности этих явлений необходимо знать их природу. Однако о природе паронимазии у лингвистов единого мнения нет. Некоторые считают, что это индивидуальный стилистический прием, что это стилистическая фигура и т. д. Французский стилист П. Гиро разграничивает паронимию и паронимазию, отмечая, что «паронимические коллизии предстают основой паронимазии», что это не случайное явление, но менее общее, чем аттракция и контаминация⁹. Каждая из названных категорий — и паронимия, и паронимазия, — безусловно, может быть предметом специального исследования. Однако уже сейчас путем показа сходных и отличительных черт этих категорий и их взаимоотношения в известной степени можно раскрыть их сущность.

С точки зрения функциональной значимости, паронимия — результат внутренних процессов языкового развития и потому способствует нормальному функционированию языка, устранению смысловой перегрузки отдельных его элементов, «источник и средство упорядочения информации, содержащейся в лексическом составе языка»¹⁰. Параллельно этому, рассматривая весь комплекс явлений, связанных со словоупотреблением и словотворчеством на основе фонетических сближений семантически разнородных слов, обнаруживаем три разновидности:

1. Явления паронимазии: *глух — глуп; демисезонное пальто — семисезонное пальто; фарс — фарш; муки сомнений — мухи сомнений; мания величия — мантия величия; раут — раунд* и т. д.

2. Слова с общей понятийно-логической соотносительностью, которые А. А. Евграфова называет неполными паронимами¹¹: *вкусный — вкусовой; шумный — шумовой; водный — водяной; смертный — смертельный* и т. п.

3. Явления уподобления, или выравнивания по звучанию морфологических компонентов, т. е. амплификации (по определению Евграфовой)¹². Все эти три явления относим к парониматическим явлениям в лексике русского языка.

Лексические явления, подвергающиеся паронимизации, можно разделить на две большие группы: *узусные* и *оказиональные*.

⁸ О. М. Масюкович, Паронимія и паронимазія, «Українська мова і література в школі», 1967, 10; В. К. Лотарев, Л. П. Федоренко, «Родной язык», М., 1973; и др.

⁹ P. Guignard, Les champs morpho-semantiques, BSLP, 1956, t. 52, fasc. 1, стр. 269.

¹⁰ Ю. С. Степанов, Основы общего языкознания, М., 1975, стр. 36.

¹¹ А. А. Евграфова, Паронимия в современном русском языке. АКД, Киев, 1975, стр. 14.

¹² Там же, стр. 17.

Паронимические явления у з у с н о г о характера — это однокорневые слова, не обнаруживающие семантического тождества: *практический//практичный, соседний//соседский* и т. п. Это максимальные паронимы, наличие которых в языке обусловливается существованием двух параллельных взаимоисключающих сем сигнификативного значения. Парономатические явления в современном русском языке представлены о к к а з и о н а л ь н ы м и случаями авторского словотворчества, ненормативного словообразования, ошибочной или целенаправленной взаимозамены в речи одного компонента пары другим; например, «Поросятик в собственном *жилье*» (вместо *желе*) — надпись на ценнике («Крокодил», 1965, 8, стр. 14), — где мы наблюдаем звуковое подобие слов (*жилье* и *желе*), не простирающееся до их тождества и представляющее собой явление паронимазии.

И если в некоторых лингвистических работах вообще не учитывается словообразовательная связь между рассматриваемыми лексемами, а основным признаком считается звуковая близость этих сем: *ветер — вытер; зуммер — замер; хлев — хлеб* и т. п.; и если некоторые исследователи говорят о возможности такой (ошибочной или целенаправленной) взаимозамены среди паронимов, то они переводят паронимию из сферы языковых единиц в единицы речи, т. е. подменяют паронимию паронимазией. Ведь именно паронимазия характерно своеобразное обобщение и столкновение смысловых связей и ассоциаций, смысловой двуплановости, намекающей на истинный смысл высказывания, при котором происходит как игра слов: *придворный — притворный, верноподданный — скверноподданный*, так и игра мыслей: «— А вы, наверное, юристы? Мы не сразу поняли, а когда поняли, не удержались от смеха. — А-а, сам дьявол нынче, не разберет: *юристы, туристы...* — не обиделся дед» (В. Песков, Отечество). Характерно, что явления паронимазии в силу своей окказиональности и ненормативного словообразования вообще не наблюдаются в научной, технической и официально-деловой речи. Таким образом, лексическую паронимию можно рассматривать как факт языковой системы, характеризующийся смысловой дифференциацией однокорневых слов со сближенным звучанием и полным несовпадением их сочетаемости с другими словами.

Иначе говоря, для признания двух однокорневых слов [или даже фразеологических единиц с приблизительно одним и тем же набором входящих в них слов, например: *стать на путь* или *стать на пути, брать в руки* (кого-либо) и *брать в свои руки*] паронимичными, необходимо и достаточно, чтобы при своей созвучности они а) имели разное, не совпадающее толкование и б) не имели совпадающих сочетаний с другими словами. Например, *кожный//кожаный*: *кожный* «относящийся к коже» (болезнь, крем), *кожаный* «состоящий из кожи» (портфель, пальто). Ср. также: *Стать на путь вынесенных решений* (положительный смысл) и *Стать на пути вынесенных решений* (отрицательный смысл).

Как уже отмечалось, лексическая паронимия русского языка представлена довольно многочисленным количеством пар однокорневых созвучных слов, среди которых, исходя из их построения, можно выделить следующие группы паронимов: 1) к о р н е в ы е: *штурм//штурм, невежа//невежда, мотать//метать* и т. д.; 2) с у ф ф и к а л ь н ы е: *памятный//памятливый, цветной//цветовой, соседний//соседский, дипломатичный//дипломатический* и т. д. 3) п р е ф и к с а л ь н ы е: *представить//предоставить, осудить//обсудить, вдох//вдох, поглотить//проглотить* и т. д.

Корневые паронимы, составляя в русском языке целую отдельную группу, выступают в меньшинстве в сравнении с другими группами пар-

нимов. В свою очередь корневые паронимы, исходя из их построения, представлены двумя видами: а) простыми: *фен//фён, потужнуть//потускнуть; остатки//останки* и т. д. и б) сложными: *двурукий//двурушный, хлебопашный//хлебопашенный* и т. д.

Сложные паронимы характеризуются тем, что корни обоих компонентов лексической пары совпадают не только этимологически, но и по количеству самих корней (два и два корня, три и три корня, и т. д.); например: *однорукий//одноручный, автобиографичный//автобиографический* и т. д. А потому такие пары, как *лоцман — боцман* и *рыбий — рыболовный*, нельзя относить к паронимам: они содержат слова только с частично совпадающими корнями. Сложные паронимы, типа *японо-китайский//японско-китайский, франко-китайский//французско-китайский* и т. п., образованные сложением основ по способу сочинения, характеризуются тем, что несут в себе паронимичность за счет первой части слагающихся основ и одноместности ударения.

Для простых паронимов, как и для сложных, характерно то, что оба компонента лексической пары паронимичны всегда или только в единственном числе: *яцер//яцур, вакация//вакансия* и т. п. или только во множественном числе: *потоки//потёки, остатки//останки* и т. п. В противном случае (скажем, *остаток — останки*) эти лексемы не выступают как паронимы, потому что исчезает определенная доля созвучности за счет отсутствия уточнительной роли категории числа. Характерной особенностью простых корневых паронимов является то, что при созвучности компонентов пары и их этимологическом совпадении они отличаются корневыми морфемами: *н — м — тень//темь, о — у — шторм//штурм* и т. п.

За счет различий такого рода в корневых морфемах и наблюдается разница в значениях корневых паронимов, которые в прошлом воспринимались как варианты одного и того же слова или как однокорневые синонимы. Ю. В. Откущиков, анализируя слово *тень*¹³ отмечает, что изменение значений шло следующим путем: слово *тень* воспринималось как *тенистое место*, или *темноватое место*, т. е. *место затененное*, или *затемненное*. А отсюда напрашивается вывод, что значения слов *затененный* и *затемненный*, *тень* и *темь* в прошлом совпадали в русском языке, т. е. слова *тень* и *темь* были вариантами слова. Однако сегодня уже никто не будет утверждать, что о темной осенней ночи можно сказать *на улице непроглядная тень*, а обязательно скажут *непроглядная темь*. Примеры можно бы и продолжить, рассмотрев корневые паронимы *шторм* и *штурм, клёв* и *клюв* и т. п. Однако наиболее обширная группа паронимов представлена суффиксальными паронимами в массе своей прилагательными: *зрительный//зрительский, рыбий//рыбный* и т. п.

Говоря о паронимах современного русского языка, отметим, что в большинстве своем они образуются морфологическим способом. И это понятно, так как для русского языка характерно богатство и многообразие морфологической структуры, благодаря чему и возможно использование разных словообразующих морфем для двух близких по звучанию, но не тождественных по значению слов. Лексемы, оформленные словообразовательными суффиксами, в массе своей — слова с различным лексическим значением, поскольку назначение словообразовательных морфем состоит в создании новых лексико-семантических единиц¹⁴.

Возникновение суффиксальных паронимов происходит следующим образом: к корню или производящей основе прибавляется активно употреб-

¹³ Ю. В. Откущиков, К этимологии слов *стена, стень, тень* и *сень*, сб. «Из истории слов и словарей. Очерки по лексикологии и лексикографии», [Л.], 1963.

¹⁴ Ф. П. Филин, О слове и вариантах слова сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.— Л., 1963, стр. 132.

ляющийся суффикс, и в случае совпадения ударения, которое приводит к созвучности, возникают паронимичные слова:

<i>потребитель</i>	-н-(-ий, -ый)	<i>потребительный, соседний</i>
	+	=
<i>сосед</i>	-ск-(-ий, -ый)	<i>потребительский, соседский</i>

Как видим, паронимы *потребительный*//*потребительский* и *соседний*//*соседский*, образованные с помощью суффиксов -н- и -ск-, представлены однокорневыми созвучными словами, выражающими при этом совершенно определенное между собой соотношение и выступающими как совершенно самостоятельные по значению компоненты в каждой лексической паре, а не просто отличающиеся оттенками значений по сравнению с основным словом. Говоря о словообразовательных моделях однокорневых слов, чаще всего участвующих в образовании паронимических пар, отметим, что многие суффиксы принимают участие в образовании паронимов. Однако наиболее развивающейся, активно пополняемой в наши дни в русском языке выступает группа суффиксальных паронимов, образованных с помощью суффиксов -ическ- и -ичн-: *технический*//*техничный, экономический*//*экономичный* и т. п.

Наряду с этим, нельзя не отметить, что наименее продуктивной, хотя численно и значительной, предстает группа паронимов-прилагательных с суффиксами -н- и -лив-: *понятный*//*понятливый, запасный*//*запасливый* и т. п. Достаточно обширной выступает группа суффиксальных паронимов-глаголов с суффиксами -е- и -и-: *холодеть*//*холодить, белеть*//*белить, молодеть*//*молодить* и т. п., а также глагольных форм: *осиротевший*//*осиротивший, обезлюдевший*//*обезлюдивший* и т. п. Среди суффиксальных паронимов находят место и существительные: *адресат*//*адресант, советник*//*советчик* и т. п.

Последняя, третья группа паронимов, представлена префиксальными паронимами: *опечатать*//*отпечатать, вздох*//*вздох* и т. п. Префиксальные паронимы в русском языке представлены значительным числом. Они возникают в результате присоединения созвучных префиксов к одному и тому же корню:

<i>о-суд(-ить)</i>	=	<i>осудить, основать</i>
<i>об(обо)-основ(-вать)</i>		<i>обсудить, обосновать</i> и т. п.

Однако не все приставки, присоединенные к корню или к производящей основе слова, приводят к появлению паронимов. Здесь надо отметить только те, которые созвучны и значения которых показывают разную степень глубины одного и того же или подобного действия: *предвидеть*//*провидеть, последовать*//*проследовать* и т. п., или разный оттенок: *нетерпимый*//*нестерпимый, поиск*//*происк, поглотить*//*проглотить* и т. п. Среди префиксов наиболее продуктивными являются *о-*//*об-, в-*//*вз-, по-*//*про*. В массе своей префиксальными паронимами выступают глаголы и глагольные формы: *вдохнуть*//*вздохнуть, вдохнувший*//*вздохнувший, вдохнул*//*вздохнул* и т. п. Однако среди префиксальных паронимов немало и отглагольных существительных: *вдох*//*вздох, оклик*//*отклик, печатки*//*отпечатки* и т. д.

Итак, факт паронимичности, или семантического различия параллельных образований, возникает в однокорневых созвучных лексемах либо как результат корреляции подобозвучных приставок, присоединяемых к одному и тому же слову (а следовательно, у возникающих при этом слов сохраняется и прежнее ударение): *вбежать*//*взбежать, обделить*//*обделить* и т. п., либо как результат присоединения к одному и тому же слову соответствующих суффиксов: *здраница*//*здравница, тяготеть*//*тяготить* и т. п.

Основные типы паронимов, многократно отражаясь в разных частях речи, образуют системное явление, которое предстает в результате отмирания старых (*постельничий//постельнический, вышний//вышний* и т. п.) и возникновения новых (*телевизионник//телевизионщик*) слов-паронимов. Слова-паронимы, хотя и имеют совпадающие семантические множители *памятный//памятливый* — *память*, не только не взаимозаменяемы, но не имеют и совпадающей сочетаемости. Ошибки в сочетаемости возникают при расхождении лексических фонов. Более употребительное слово из лексической пары (скажем, *заживать* из пары *заживать//заживлять*), естественно, обладает большей жизненностью и семантически более активно. В свою очередь меньшая активность употребления второго компонента указывает на какие-то ограничительные факторы, хотя сами по себе значения этих обоих слов и не устарели.

В случаях валентной несовместимости не представляется возможным говорить и о синонимичности паронимов. Поэтому мы и отмечаем, что лексические паронимы с различными аффиксами по-разному сочетаются с другими словами, выступая своеобразным компонентом устойчивых сочетаний, так как в ряде случаев они соотносятся не во всех, а лишь в части своих значений. Невозможность взаимозамены происходит в силу того, что слова-паронимы выделяются в словарном составе языка целым рядом особенностей лексического значения, как в самой структуре значения, так и в характере их лексической сочетаемости с другими компонентами предложения и употребления их в речи. Поэтому паронимы одной и той же пары надо рассматривать как слова между собой параллельные, а не только разные по объему значений. Ведь, как отмечает Д. Н. Шмелев, «лексическое значение слова... определяется соотносительностью слова с понятиями и его „предметной“ прикрепленностью»¹⁵.

Разноплановость логической сочетаемости слов паронимической пары объясняется различием предметно-логической основы компонентов, входящих в паронимическую пару. Определение их типологии, или классификация паронимов имеет важное значение для понимания природы и сущности паронимии. При классификации паронимов необходимо выявить связь между семантическими (внутренними) свойствами слов-паронимов и сочетаемостью лексических компонентов пары.

Для наглядности сопоставления рассмотрим сочетательные возможности следующих паронимов-прилагательных:

1. Соотнесение валентности к субъекту или объекту в зависимости от того фактора, живой или неживой предмет определяет рассматриваемый пароним: *запасливый (субъект)//запасный (объект); однорукий (субъект)//одноручный (объект); ребрастый (субъект)//ребристый (объект)* и т. д.

2. Соотнесение сочетаемости в зависимости от того, от одушевленного предмета или от неодушевленного исходит определение: *назидательский (относящийся к назидателю, принадлежащий ему)//назидательный (служащий для назидания, заключающий в себе назидание), зрительский (принадлежащий, свойственный зрителю)//зрительный (относящийся к зрению, предназначенный для него), кардинальский (принадлежащий кардиналу)//кардинальный (основной, очень важный), настоятельный (принадлежащий настоятелю)//настоятельный (исполненный непреклонной настойчивости).*

3. Соотнесение сочетаемости в зависимости от использования или неиспользования рассматриваемого компонента в терминологических сочетаниях: *технический* (относящийся к технике, связанный с нею, с научной

¹⁵ Д. Н. Ш м е л е в, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964, стр. 3.

разработкой ее)//*техничный* (обладающий высоким мастерством, техникой высокого мастерства), *симпатический* (поддающийся влиянию или имитирующий состояние)//*симпатичный* (проникнутый симпатией к кому-, чему-либо; вызывающий симпатии, выражающий симпатии), *гармонический* [относящийся к гармонии, основанный на принципах гармонии (муз.)] и т. д.//*гармоничный* (стройный, согласованный).

4. Соотнесение сочетаемости в зависимости от того, какой признак в определении подчеркивается: относится к какому-то объекту или состоит из таких (такого) объектов: *тесёмочный* (относящийся к тесемке)//*тесёмчатый* (состоящий из тесемы), *крокодилий* (относящийся к крокодилу)//*крокодиловый* (состоящий из кожи крокодила), *дудочный* (относящийся к дудке)//*дудчатый* (состоящий из отверстий), *трубочный* (относящийся к трубке)//*трубчатый* (состоящий из труб, трубочек).

5. Соотнесение сочетаемости в зависимости от того, какой признак отмечается в определении: относится к какому-то объекту или выражает свойства этого объекта: *ребячий* (относящийся к ребенку)//*ребячливый* (свойственный ребенку), *рабий* (относящийся к рабу)//*рабский* (свойственный рабу, основанный на слепом, полном подчинении), *холопий* (относящийся к холопу)//*холопский* (свойственный холопу) и т. д.

Классифицируя сочетательные возможности паронимов-глаголов, можно выделить следующие разновидности:

1. Паронимы, выражающие физическое состояние. При своей сочетаемости они соотносятся с пассивным или активным субъектом (или объектом), например: *вдоветь*//*вдовить*, *молодеть*//*молодить*, *сиротеть*//*сиротить*, *побелеть*//*побелить*, *помолодеть*//*помолодить*, *коптеть*//*коптить* и т. д.

2. Паронимы, выражающие конкретные действия различного рода. По своей сочетаемости они соотносятся с субъектом или объектом в зависимости от глубины распространения этого действия, например: *последовать*//*проследовать*, *предвидеть*//*провидеть*, *вдыхать*//*вздыхать*, *вбегать*//*взбегать* и т. д.

3. Паронимы, соотнесенность сочетаемости которых зависит от выражаемого ими оттенка результативности, например: *оделеть*//*обделеть*, *дуреть*//*дурнеть*, *породить*//*породнить*, *заблудиться*//*заблуждаться* и т. п.

4. Паронимы, соотнесенность сочетаемости которых зависит от выражаемого ими различного конкретного состояния например: *тяготеть*//*тяготить*, *заживать*//*заживлять*, *червить*//*червить* и т. д.

Примеры сопоставления семантических свойств и сочетательных возможностей паронимов-существительных позволяют разделить их на следующие группы:

1. Существительные, сочетательные возможности которых зависят от того фактора, со значением лица или вещества они выступают: *авантюрист*//*авантюрин*.

2. Существительное конкретное или абстрактное они собою презентуют: *чеканка*¹⁶//*чеканность* и т. п.

3. Существительные с контрарными оттенками взаимоотношений: *клик*//*отклик*, *адресат*//*адресант*, *индоссат*//*индоссант* и т. п.

4. Существительные с эквиолентным (разнозначным) содержанием значений: *невежа*//*невежда*, *советник*//*советчик*, *поток*//*потёк* и т. п.

¹⁶ Значение слова *чеканка* здесь понимается как предмет, или «опредмеченный» процесс. См. об этом: О. С. А х м а н о в а, О фонетических и морфологических вариантах слова, сб. «Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шестидесятилетию», стр. 55.

5. Существительные, заключающие в себе положительное или отрицательное свойство, качество: *поиск//происк, поступок//проступок* и т. п.

6. Существительное одушевленное и неодушевленное: *фабрикаит//фабрикат, временщик//временник, абонент//абонемент, аспирант//аспират, комитент//комитет* и т. п.

Таким образом, путем последовательного разграничения паронимических лексем по их семантическим признакам и сочетаемости можно выделить достаточно обширный набор характерных дифференциальных признаков, при которых один вид компонентов паронимической пары отличается от другого. Различия между структурными типами лексических паронимов подчеркиваются сочетаемостью. Согласно рассмотренной классификации, видим, что паронимы, входящие в определенную структурную группу, никак нельзя подвергнуть трансформации, не вызывая при этом нежелательного смещения; что компоненты в паронимичных парах слов предстают перед нами неравнозначными преобразованиями; что паронимия представляет собой бинарное соотношение слов, а потому у паронимов нет доминанты. Одним из фактов, характерных для лексических паронимов, является наличие паронимических гнезд. Эти гнезда состоят из пар слов, в которых стержневым является корневой компонент: *сытый//сытный, сытость//сытность, сыто//сытно* и т. п. Паронимические гнезда содержат в себе различное количество пар, начиная от двух пар слов: *скрытый//скрытный, скрыто//скрытно*, но могут быть представлены и большим количеством пар: *осуждать//обсуждать, осуждение//обсуждение, осужденный//обсужденный, осудивший//обсудивший, осуждая//обсуждая* и т. д. Но сколько бы пар ни входило в то или иное паронимическое гнездо, базовым, стержневым признаком в нем всегда выступает этимологический.

Особенностью паронимического гнезда является тот факт, что в его состав всегда входят две семантические эмблемы, оттеняющие наличие точки соприкосновения в фонетико-семантическом плане в обоих словах каждой паронимической пары. Это вызывается тем, что они, основываясь на общности корневой морфемы, обладают частичным сходством в структурном и звуковом выражении. Так, например, в паронимическом гнезде *экономиа//экономика, экономичный//экономический* семантическими эмблемами выступают следующие: *бережливость* и *хозяйство*.

Однако не все паронимы обязательно входят в какое-либо гнездо пар. Так паронимы с суффиксами *-ическ-//ичн-*, как правило, гнезд не образуют и в гнезда не входят. В то же время все глагольные паронимы (*оделить//обделить, зажить//заживлять, поглотить//проглотить* и т. д.), как правило, образуют гнезда пар, например: *зажить//заживлять, заживая//заживляя, заживший//зажививший* и т. п. То же можно сказать и о паронимах с суффиксами *-н-//лив-*, несущими в себе признаки пассивности и активности: *понятный//понятливый, понятно//понятливо, понятность//понятливость* и т. д.

Рассмотренный материал показывает, что паронимия представляет собой особую лексическую категорию русского языка и изучение паронимов приводит к расширению представления о слове как таковом. Однако наши замечания, целиком направленные на уточнение ряда моментов, связанных с проблемами паронимов, не являются исчерпывающими, а представляют собой лишь констатацию материала и общую характеристику его.

КУЗЬМИН В. В.

ПРОБЛЕМА СИНТАКСИЧЕСКОЙ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ

(на материале объектных конструкций)

В последнее время вопрос об изоморфности различных языковых единиц приобретает важное значение для лингвистической науки в целом. Не оставлены без соответствующего внимания и изъяснительные конструкции.

Уже давно замечено, что изъяснительные предложения в определенной мере близки к некоторым простым предложениям. Это отражается в основном в близости изъясняющей части к члену предложения¹: *Избиратели подсказывают: надо реконструировать водопроводные магистрали...* («Известия», 13 IX 1969) — *Избиратели подсказывают необходимость/о необходимости/реконструировать водопроводные магистрали*; *Булин понял — борьба будет трудной* («Правда», 3 VIII 1969) — *Булин понял трудность предстоящей борьбы*; *Теперь он мог без всякого стыда признаться: его знаешь не хватало* (А. Первенцев, Баллада о детстве) — *Теперь он мог без всякого стыда признаться в нехватке у него знаний*. Сопоставление изъяснительных конструкций с близкими им по смыслу простыми предложениями убеждает в семантико-синтаксической однородности придаточного изъяснительного и делиберативного оборота².

Как отмечалось, «классификация на основе смысловых соответствий между придаточными предложениями и членами простого предложения... позволяет устанавливать общее значение в разных грамматических единицах»³. Сходство делиберативного оборота и придаточной изъяснительной части не ограничивается только семантическим значением. У этих конструкций однотипна синтаксическая функция: они служат для семантико-грамматического завершения другой определенной конструкции. Это приводит в целом к структурно-грамматическому единству изъяснительных и делиберативных конструкций.

¹ М. К. Милых, О классификации сложноподчиненных предложений, в кн.: «Доклады восьмой научно-теоретической конференции (Таганрогский гос. пед. ин-т). Секция филол. наук, I, Ростов-на-Дону, 1965; В. И. Кодохов, Объектные отношения и сложноподчиненное предложение, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 281, 1968; С. Г. Ильенко, Сложноподчиненное предложение в различных сферах языкового употребления, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 268, 1965, стр. 18—19; Е. А. Иванчикова, О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе, ВЯ, 1965, 5, стр. 87; М. Кубик, Изъяснительные конструкции и способы их порождения, «Проблемы современной лингвистики. Монографии, посвященные IV Международному съезду славистов (Прага, 1968)», Universita Karlova, Praha, 1967, стр. 84; «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 701.

² «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Сложноподчиненные предложения», под ред. В. И. Борковского, М., 1973, стр. 75; Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, М., 1973, стр. 328.

³ М. К. Милых, указ. соч., стр. 59.

Функционирование в русском языке делиберативного оборота, наряду с придаточной изъяснительной частью, поднимает вопрос о природе их языковой общности. Изучение природы однородности изъяснительных и делиберативных конструкций связано с проблемой синтаксической синонимии. Объектные конструкции можно признавать синтаксическими синонимами хотя бы на том основании, что «грамматические синонимы должны быть разными грамматическими конструкциями с близким грамматическим значением»⁴. Но такое определение природы семантико-грамматической тождественности изъяснительных и делиберативных конструкций не учитывает всей специфики выражения объектных отношений в русском языке. Всестороннее сопоставление изъяснительных и делиберативных конструкций позволяет установить, что структурно-грамматическая однородность этих конструкций проявляется не в плане синтаксической синонимии, а в плане синтаксической соотносительности. Анализ соотношения объектных конструкций приводит к выводу о необходимости разграничения в русском языке синтаксической синонимии и синтаксической соотносительности.

В данной статье нет необходимости рассматривать проблемы синтаксической синонимии. Вопросы синонимии синтаксических конструкций посвящено уже значительное число работ⁵. Проблема синтаксической соотносительности во многом является новой для лингвистической науки, хотя некоторые попытки решить ее имеются⁶. Соотносительность конструкций, выражающих объектно-изъяснительные отношения, зависит от валентности глагола, в результате чего обе соотносительные конструкции строятся по принципу синтаксического распространения слова⁷. Для соотносительности таких конструкций имеет немалое значение их структурное и семантическое сходство.

Соотносительность синтаксических единиц предполагает идентичность позиции объектных форм и близость их лексического наполнения, чем должно обеспечиваться сходство семантики конструкций, так как в противном случае об их соотносительности говорить нельзя.

Для описания синтаксической соотносительности объектных конструкций целесообразно использовать метод преобразования сложного предложения в простое: ... Анна почувствовала: идет беда (Б. Полевой, Глубокий тыл) — Анна почувствовала приближение беды. Этот прием предполагает свертывание придаточной изъяснительной части до такой степени, чтобы она потеряла свою предикативность и на месте сложного предложения возникло бы простое. Придаточная изъяснительная часть преобразуется в какой-либо оборот простого предложения: Я твердо

⁴ Е. П. Шендельс, Понятие грамматической синонимии, ФН, 1959, 4, стр. 71.

⁵ И. И. Ревзин, К вопросу о грамматической синонимии, сб. «Иностранные языки в высшей школе», М., 1952, 1; И. И. Ковтулова, О синтаксической синонимии, «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955; В. Н. Ярцева, О грамматических синонимах, в кн.: «Романо-германская филология», 1, М., 1957; В. П. Сухотин, Синтаксическая синонимия в современном русском литературном языке, М., 1960; А. Л. Шумилина, К вопросу о синтаксической синонимии, сб. «Исследования по лексикологии и грамматике русского языка», М., 1961; Г. [А.] Золотова, О структурных основаниях синтаксической синонимии, «Р. яз. в нац. шк.», 1968, 6. См. также кандидатские диссертации Д. В. Уткина, О. А. Громаковской, Э. П. Петровой, Г. Ф. Татарниковой.

⁶ Г. А. Матлина, Конструкции, выражающие объектно-изъяснительные отношения в современном русском языке, и их семантико-синтаксическая соотносительность. КД., Л., 1971.

⁷ В. А. Белошапкина, Сложное предложение в современном русском языке. ДД, М., 1970, стр. 372—375; Г. А. Матлина, указ. соч., стр. 13. Ср. мнение о предпозитивности подобных конструкций для выражения модального отношения: Т. Б. Алисова, Дополнительные отношения модуса и диктума, ВЯ, 1971, 1, стр. 59—61.

убеждена: провод до Тайсина можно протянуть за полтора месяца (В. Ажаев, Далеко от Москвы) — *Я твердо убеждена в возможности протянуть провод до Тайсина за полтора месяца*. Особый интерес вызывает форма выражения стержневого слова из состава оборота, а не зависимые слова, так как не они определяют собой возможность подобного преобразования. Метод свертывания придаточной изъяснительной части в словосочетание позволяет исчерпывающе зафиксировать все возникающие на месте зависимой изъяснительной части формы стержневого слова, являющегося выражением делиберативного объекта.

В русском языке по отношению к делиберативной конструкции выделяются два типа изъяснительных конструкций: бессоюзное сложное и сложноподчиненное предложение. Ср.: *Он не слышал ругательства и криков...* (А. Стрыгин, Расплата); *Я от тебя не раз слышу: дайте мне задачу грандиозную* (В. Ажаев, Далеко от Москвы); *Она отлично слышала, как хозяйка вполголоса бормотала за дверью, называя ее беспутной и гулящей* (М. Шолохов, Поднятая целина). В полной мере использовать прием свертывания зависимой предикативной части в делиберативный оборот можно только при описании бессоюзных изъяснительных предложений. В сложноподчиненном предложении такому приему может препятствовать наличие изъяснительного союзного средства, обладающего своим значением, которое не проявляется в делиберативной конструкции. Например: *Владимир Ильич рассказывал, что книги доставляла ему старшая сестра* (А. Коптелов, Большой зачин); *Надо сказать электрику, чтобы в полночь гасил фонари* (С. Бабаевский, Сыновий бунт); *Ведь Афанасий Гаврилович только что сказал, будто новый аккумулятор... надо менять раз в полгода* (В. Немцев, Последний полустанок); *Я не сумею сказать точно, когда это случилось...* (С. Сартаков, Букет цветов). Ср.: *Скажите — я его хочу видеть* (К. Федин, Необыкновенное лето) — *Скажите о моем желании его видеть*. Описание синтаксической соотносительности различных сложноподчиненных изъяснительных предложений и делиберативных конструкций является особой темой исследования. В то же время необходимо выяснить, в каких отношениях между собой находятся все три объектно-изъяснительные конструкции. В значительной мере способствует определению этих отношений установление языковой природы структурно-грамматической однородности бессоюзных изъяснительных и делиберативных конструкций.

Для выяснения причин и природы соотносительности изъяснительных и делиберативных конструкций необходимо уточнить условия процесса свертывания сложного предложения в простое.

При преобразовании бессоюзного изъяснительного предложения в простое часто имеют значение словообразовательные и словоизменительные возможности элементов зависимой части. Основным условием, необходимым для осуществления такого преобразования, является наличие в придаточной изъяснительной части словоформы, которая могла бы, не теряя семантической соотнесенности со словом в исходной структуре, преобразоваться в другую словоформу, что позволило бы ей занять позицию делибератива, или без изменения морфологической природы изменить свою синтаксическую функцию. Ср.: *Раньше бы сказали — манкирует службу* (К. Федин, Необыкновенное лето) — *Раньше бы сказали о манкировании службы; И надо сказать прямо: успехи узбекского музыкального искусства разительны, неоспоримы* («Известия», 6 VIII 1969) — *И надо сказать прямо о разительных, неоспоримых успехах узбекского музыкального искусства*. Выполнение первого и второго условий ведет к потере придаточной изъяснительной частью пред-

кативности, а структурно и семантически ведущее слово этой части вступает в роль делибератива и организует зависимую часть с объектным значением иного порядка, чем придаточная часть.

Описанный прием свертывания изъяснительной конструкции в делиберативную объясняет условия соотносительности сравниваемых единиц. Для того чтобы признать изъяснительные и делиберативные конструкции соотносительными, необходимы два условия: 1) *формальное* (или структурное) *условие*. Это условие допускает возможность построения простого предложения из лексико-морфологического материала сложного предложения; 2) *семантическое условие*. При соблюдении этого условия созданное простое предложение должно выражать содержание, аналогичное содержанию сложного предложения.

Названные условия создают полную соотносительность изъяснительных и делиберативных конструкций. Первое условие может реализоваться, если материал сложного предложения (его зависимой части) позволяет создать имя существительное или инфинитив. Реализация первого условия способствует реализации второго условия: *Новожилов говорил — большое дело на тебя возложено* (К. Федин, Костер) — *Новожилов говорил о возложении на тебя большого дела*; *На коленях умоляю — представьте нас в самом лучшем виде* (А. Н. Толстой, Кукушкины слезы) — *На коленях умоляю представить нас в самом лучшем виде*.

Однако бессоюзное изъяснительное предложение может обладать такими семантико-грамматическими признаками, которые препятствуют установлению соотносительности между ним и делиберативной конструкцией. Например, на реализацию условий соотносительности объектных структур влияет модальность и структура частей, лексическое значение и словообразовательное строение опорного слова, смысловое содержание зависимой части сложного предложения. Влияние лексического значения опорного слова тесно связано с таким грамматическим фактором, как переходность — непереходность, ибо переходность часто восходит к лексическому значению слова⁸. Ср. бессоюзные изъяснительные предложения, которые по разным причинам не допускают своего свертывания: *Скажу о себе, своих ребятах: понимаем, что работа очень нужна стране* («Известия», 7 IX 1969); *Мама так и наказала: ты с Костей посоветуйся сначала* (В. Ажаев, Предисловие к жизни); *Он хотел добавить: здесь так темно* (В. Кетлинская, Мужество); *Так значит, я хочу знать: держать на тебя расчет или в город пойдешь?* (А. Мартынов, Не с неба звезды). Если приведенные предложения и трансформировать в делиберативные конструкции, то не будет соблюдено семантическое условие соотносительности, так как производная структура не сможет сохранить семантику исходной структуры.

Условия соотносительности изъяснительных и делиберативных конструкций свидетельствуют, что соотносительность тесно связана с синонимичностью. Синонимия синтаксических построений предполагает их семантико-грамматическую и структурную соотносительность. Но если синонимичность всегда обуславливается соотносительностью, то последняя не всегда перерастает в синонимию. Соотносительность синтаксических единиц — лишь предпосылка, условие их возможной, но не обязательной синонимичности. Поэтому в языке в любой период его развития, наряду с синонимичными элементами, одновременно сосуществуют

⁸ Б. А. Дмитриев, К вопросу об управлении в современном русском языке, «Вопросы морфологии и синтаксиса современного русского языка», Новосибирск, 1966, стр. 98.

единицы, не вступающие в синонимическую связь, но все же довольно близкие друг другу⁹.

При соотносительности близость синтаксических конструкций проявляется в самом общем виде: эти конструкции обладают сходным (но не синонимичным) смысловым содержанием, однородным (но не одинаковым) синтаксическим значением и имеют одну и ту же глубинную модель. Последнее условие имеет принципиально важное значение при установлении соотносительности между определенными языковыми образованиями. Соотносительные конструкции должны порождаться по одной и той же модели, одним и тем же элементом: *Вам же с к а з а н о (о чем?): нет ни одного места* («Комсомольская правда», 1 VIII 1969) — *Вам же с к а з а н о (о чем?) об отсутствии мест; Как-то Евдокия у с л ы х а л а (что?): Наталья пела* (В. Панова, Евдокия) — *Как-то Евдокия у с л ы х а л а (что?) пение Натальи*.

Ядро соотносительных структур адекватно в семантическом, морфологическом и синтаксическом отношении. Однако соотносительные конструкции обязательно различаются зависимой частью, которая получает различное формальное выражение, но выполняет одну и ту же функцию. За счет зависимой части внешне различными оказываются соотносительные конструкции в целом, что отражается на их смысловом и грамматическом значении.

Преобразование бессоюзных изъяснительных конструкций в делиберативные допускает изменение смыслового значения и синтаксического (изъяснительного в делиберативное) и предполагает структурное варьирование зависимого компонента, обладающего различной смысловой нагрузкой: *Ладо Капанадзе привез на строительство весть: С т а р и к п о п р а в л я е т с я* (Б. Полевой, На диком берегу) — *Ладо Капанадзе привез на строительство весть о п о п р а в к е С т а р и к а; И главный инженер соглашался: н а д о ч т о - т о д е л а т ь* («Социалистическая индустрия», 10 XII 1969) — *И главный инженер соглашался с н е о б х о д и м о с т ь ю ч т о - т о д е л а т ь*.

Союзные и бессоюзные изъяснительные предложения при взаимопреобразовании допускают частичное изменение своей формы (наличие — отсутствие союза и связанных с ним структурных особенностей зависимой части) или смыслового (но не синтаксического) значения, часто связанного с привнесением в предложение модальных, иногда временных, причинных, сопоставительных оттенков значения¹⁰. Более глубоких изменений здесь не происходит: *Андрею было ясно, что хлеба и консервов надо непременно достать* (В. Кетлинская, Мужество) — *Андрею было ясно: хлеба и консервов надо непременно достать; Анисим увидел, как ослепительное полотнище пламени взметнулось к самому небу* (Г. Шолохов-Синявский, Суровая путина) — *Анисим увидел: ослепительное полотнище пламени взметнулось к самому небу; И вот тут уже Тиме показалось: все кончено* (В. Кожевников, Заре навстречу) — *И вот тут уже Тиме показалось, будто все кончено; А я вот, Федор Григорьевич, все думаю: пройтись бы вам по морозу с ружьишкой* (Б. Полевой, На диком берегу) — *А я вот, Федор Григорьевич, все думаю, как бы пройтись вам по морозу с ружьишкой*.

⁹ Ср. небесспорное понимание синтаксических вариантов: с одной стороны, *утомленный ходьбой — усталый; от ходьбы*, и с другой, *быть в городе — быть на площади* (см.: Д. Станишев, К вопросу о разграничении синтаксических синонимов и синтаксических вариантов, «Československá rusistika», XXI, 1976, 4, стр. 157).

¹⁰ Подробнее об этом см.: В. И. Бороковскій, Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со сложноподчиненными, М., 1972, стр. 107—117.

Преобразование соотносительных конструкций не затрагивает их ядерной части, которая всегда сохраняет грамматическую и семантическую однотипность. Это же предполагает и семантическую соотнесенность членов зависимой части, выражающих объект. Но «синонимия тех или иных синтаксических конструкций предполагает синонимию, или структурно-семантическое подобие образующих эти конструкции слов, что в особенности относится к стержневым элементам»¹¹. Поэтому рассматривая соотносительные конструкции, мы, по существу, имеем дело с синтаксическими синонимами в таком плане, как их обычно принято понимать в лингвистической литературе¹².

Сопоставляемые объектные конструкции представляют собой чаще всего разноструктурные построения, что отражается в формах словообразования и словоизменения членов зависимой части или же в формах отношения зависимой части к главной посредством предлогов или союзов. Все эти различия синтаксических конструкций являются непререкаемым условием их синонимии¹³.

Действительно, между бессоюзными и союзными изъяснительными предложениями в большинстве случаев устанавливаются синонимические отношения, которые, как и соотносительность, могут нарушаться спецификой изъяснительного союза или организацией частей сложного предложения. Но между бессоюзными изъяснительными и делиберативными конструкциями устанавливаются отношения, не в полной мере соответствующие синонимическим. Такое положение связано с грамматическим и семантическим значением рассматриваемых синтаксических единиц. Как известно, синонимичность не допускает больших расхождений в смысловом или грамматическом значении. Синонимичные построения различаются лишь оттенками в этих значениях¹⁴.

Бессоюзные и союзные изъяснительные предложения обладают одним синтаксическим значением — изъяснительным, могут выражать одно и то же смысловое содержание, но чаще это содержание различается оттенками, что, как и различное структурное оформление придаточной части, связано с употреблением в предложении изъяснительных союзов. Это и дает основания считать союзные и бессоюзные изъяснительные предложения не только соотносительными, но и в целом синонимичными конструкциями. Грамматическое значение бессоюзных изъяснительных предложений и соотносительных с ними простых предложений с делиберативным объектом во многом различается. Эти конструкции обладают разновидностями одного синтаксического значения. Существенным представляется в данном случае и различие в смысловом содержании конструкций, которое совпадает только в общих чертах.

Все синтаксические конструкции с объектным значением соотносительны. Но соотносительность союзных и бессоюзных изъяснительных предложений является основой их синонимичности. Соотносительность изъяснительных и делиберативных конструкций иного вида: она не перерастает в синонимию. Последнее приводит к выводу, что синтаксическая соотносительность — это семантико-грамматическое подобие синтаксических конструкций, которое не обеспечивает их

¹¹ В. П. Сухотин, Из материалов по синтаксической синонимике в русском языке, «Исследования по синтаксису русского литературного языка. Сборник статей», М., 1956, стр. 14.

¹² В. П. Сухотин, Синтаксическая синонимика в современном русском литературном языке, М., 1960, стр. 14.

¹³ В. П. Сухотин, Из материалов по синтаксической синонимике в русском языке, стр. 13; ег о же, Синтаксическая синонимика в современном русском литературном языке, М., 1960, стр. 25.

¹⁴ М. Ф. Палевская, Синонимы в русском языке, М., 1964, стр. 82—83.

полного семантического и грамматического тождества, а выражается лишь в общей однородности семантического и грамматического значений, и в однотипности внутренней структуры конструкций. Соотносительность, а не синонимичность изъяснительных и делиберативных конструкций подтверждается их серьезными структурно-грамматическими отличиями, ибо соотносительность всегда опирается не только на определенную однородность конструкций, но и на вытекающие из этой однородности отличительные признаки каждой конструкции.

Соотносительность изъяснительных и делиберативных конструкций обеспечивается в первую очередь различными формами выражения объекта. Делиберативный объект выражается именем существительным, местоимением и инфинитивом в виде прямого или косвенного дополнения. Придаточное изъяснительное по отношению к формам делиберативного объекта является предикативным объектом. В особых условиях объект в виде словоформы соотносится с объектом в виде предложения¹⁵. Оба объекта ввиду различного их выражения реализуют семантическую завершенность ядра объектной структуры по-разному. Делиберативный объект завершает семантику ядра в самом общем виде, он не может с большой точностью, конкретностью раскрыть содержание опорного центра. Такое свойство делибератива обуславливается тем, что он находит свое выражение в словоформе, которая не имеет в себе развернутого сообщения. Но зато делиберативный объект всегда обладает предметным значением, что оказывается чрезвычайно важным для делиберативных отношений, отличающихся от изъяснительных в немалой степени своим предметным значением.

Реализация делиберативных отношений связана с переходом действия на «предмет». Последнего нельзя сказать об изъяснительных отношениях. Предикативный объект лишен непосредственно предметного признака. Однако он в силу своего развернутого выражения более конкретно передает содержание опорного центра. Делиберативный и предикативный объекты различаются своей информативной нагрузкой: больший объем информации вмещает в себя объект в форме предложения, значительно менее информативен объект в виде словоформы¹⁶.

Между делиберативным и предикативным объектами наблюдается различие в способах их связи с опорным центром. В делиберативной конструкции объект подчиняется опорному слову семантически и формально, так как форма его выражения зависит от определенных лексико-грамматических свойств ядерной лексемы. В изъяснительной конструкции объект испытывает на себе воздействие центра в основном в плане семантики и почти не зависит от него формально. Делиберативный объект служит только для семантического восполнения незавершенной в этом плане словоформы. Словоформа не нуждается в своем структурном распространении. Но при семантическом дополнении ядерной лексемы происходит информативное и структурное завершение предикативной единицы, в составе которой отмечается делиберативная конструкция.

Внутренняя структура изъяснительной конструкции совпадает с соответствующей структурой делиберативной конструкции. Здесь также имеется незавершенная в семантическом плане лексема. Но завершенность ее семантического содержания происходит в данном случае не за счет другой словоформы, а за счет объекта, принимающего форму предложения. Однако в создавшихся условиях синсемантичность опорного слова влечет за собой аналогичную синсемантичность всей предикативной кон-

¹⁵ М. К. М и л ы х, указ. соч., стр. 61.

¹⁶ «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 701, примеч.

струкции, в составе которой употреблено это слово, т. е. позиция опорного слова порождает семантическую незаконченность первой части изъяснительного предложения. Семантическая же неполнота предикативных конструкций всегда сопровождается их структурной неполнотой.

Таким образом, если в делиберативных конструкциях объект непосредственно завершает семантически опорное слово и лишь в результате этого происходит опосредованное завершение всей предикативной единицы, то в изъяснительной конструкции объект непосредственно завершает семантически и структурно всю опорную предикативную часть.

Как видно, соотносительность структур, связанных с делиберативными и изъяснительными отношениями, опирается на следующие различия: 1) делиберативные и изъяснительные отношения реализуются разными формами объекта: при делиберативных отношениях объект выражен словом, при изъяснительных — предложением; 2) делиберативные отношения связаны с предметным значением, изъяснительные лишены такого значения; 3) проявление делиберативных отношений связано с выражением значительно меньшего объема информации по сравнению с изъяснительными отношениями; 4) делиберативные и изъяснительные отношения характеризуются различной формой связи объекта с опорным словом; 5) делиберативные и изъяснительные отношения проявляются при различном структурно-семантическом завершении ядра объектом.

Все отмеченные различия делиберативных и изъяснительных структур не позволяют им вступать в синонимические отношения, но этими различиями не нарушается синтаксическая соотносительность конструкций, так как варианты формы объекта объединяет выполняемая функция¹⁷. Это создает общность члена предложения и придаточной части, причем такой общности способствует и наличие грамматического подчинения, присущего обоим языковым единицам¹⁸. Именно то, что и член предложения и придаточное предложение подчиняются однотипному организующему центру, обеспечивает в немалой степени их соотносительность.

¹⁷ В. К. Кудрина, О распространении переходных глаголов в современном русском языке. АКД, М., 1962, стр. 9.

¹⁸ Е. В. Гулыга, Место сложноподчиненного предложения в синтаксисе, ФН, 1961, 3, стр. 21.

СМОЛИЦКАЯ Г. П.

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ АРЕАЛ И ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА

(на славянском материале)

Высокая лингво-историческая и этнолингвистическая информативность имен собственных, и в частности топонимов, объясняется их специфичностью, выражающейся и в структуре имени собственного, и в его фонетической организации, и в лексико-семантических характеристиках. О. Н. Трубачев, анализируя этнолингвистическую природу славян, заселявших юг Балканского п-ова, подчеркивает «... значение ономастики как сигнала об иных этнолингвистических отношениях древности»¹. Топонимы как одна из единиц собственных имен могут дать исследователю такую информацию, какую он не в состоянии получить ни от любого другого явления языка: «... топонимастика... представляет собой некую предельную ситуацию, в которой язык проявляется в свойствах, ускользающих обычно от исследователя, анализирующего язык в более обычных сферах его употребления»².

Большие возможности заключает в себе топонимия как источник изучения лексики языка, особенно раннего периода, слабо отраженного в памятниках письменности. Топонимия позволяет обнаруживать слова или звенья лексической цепи, существовавшие когда-то в языке, но исчезнувшие в течение веков или изменившие форму и значение, получать новые характеристики существующих в языке слов, но потерявших эти характеристики.

В настоящее время основным методом реконструкции лексики древнерусского языка является сравнительно-исторический метод, но не единственный. По мнению ученых, он не исключает и других методов: «Мы не должны недооценивать возможностей реконструкции лексической географии прошедших эпох на основе сравнительно-исторического и иных методов (разрядка наша. — Г. С.) изучения истории языка и будем такими возможностями пользоваться»³. Один из таких «иных методов» мы видим в топонимии и условно назовем его методом топонимического исследования лексики. Основной единицей топонимического исследования лексики является не отдельный топоним, а топонимический ареал.

Отдельный единичный топоним на какой-либо территории может иметь экстралингвистическую характеристику (название появилось в результате переселения какой-либо группы людей, по воле одного лица и т. п.). Апеллятив, лежащий в основе такого одиночного названия, может не

¹ О. Н. Труба ч е в, Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян, ВЯ, 1974, 6, стр. 63.

² В. Н. Т о п о р о в, Некоторые соображения в связи с построением теоретической топонимастики, сб. «Принципы топонимики», М., 1964, стр. 3.

³ Ф. П. Ф и л и н, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 518.

принадлежать языку или диалекту проживающего (проживавшего) здесь населения. Топонимический же ареал свидетельствует о том, что топоним, представленный данным ареалом, имеет в своей основе апеллятив, принадлежащий диалекту или языку какого-либо населения, проживающего или долго проживавшего на данной территории. Он свидетельствует о наличии большого количества говоров населенных пунктов, каждый из которых представляет собой довольно замкнутую микросистему и отражает общую систему диалекта (языка), на территории распространения которого он находится. И именно в пределах этой каждой микросистемы создаются условия для перехода имени нарицательного в имя собственное, хотя бы в силу единичности объекта обозначаемого тем или иным словом (*кечера* → *Кечера*, *корь* → *Корь* → *Корьки*, *олех* → *Олех* и т. п.)⁴

Лексика древнерусского языка XI—XIV вв. и русского языка XV—XVII вв. изучается по памятникам письменности и коррелируется данными современных русских народных говоров. Оба эти источника при всей их авторитетности имеют некоторые изъяны. Памятники древнерусской письменности XI—XIV вв. ограничены в жанровом отношении и именно поэтому в них не представлены некоторые группы слов, важные в лингвосторическом отношении. К тому же, территория распространения русского языка представлена памятниками письменности крайне неравномерно. Подавляющее большинство памятников письменности XV—XVII вв. отражает территорию севернее Москвы, южнорусская территория представлена в них довольно слабо. В силу этих причин не все слова, имевшиеся в древнерусском языке XI—XIV вв. и в русском языке XV—XVII вв., попадали в памятники, иногда попадали случайно. Именно поэтому наличие интересующего нас слова в памятниках письменности можно рассматривать лишь как сигнал к выявлению его характеристик топонимическим методом. Так наличие глагола *теребити* в значении «рубить и жечь лес, расчищая и разравнивая землю (под пащню)» в трех списках «Повести временных лет» и в некоторых других более поздних памятниках письменности послужило сигналом к восстановлению по данным топонимии большого и компактного ареала этого слова, северо-восточная и северная границы которого приближаются к соответствующей границе расселения славян в середине IX в., по свидетельству «Повести временных лет»⁵.

Данные русских народных говоров оказывают большую помощь в изучении древнерусской лексики и лексики русского языка XV—XVII вв., особенно если учесть тот факт, что в рамках диалектных атласов сплошь обследована почти вся территория восточнославянских языков. Созданы большие картотеки диалектных словарей, издаются и сами словари. Но надо иметь в виду, что все эти материалы отражают с о в р е м е н н о е состояние диалектной лексики. Кроме того, этот материал не всегда бывает достаточно полным, поскольку основное внимание в некоторых диалектных атласах уделено не лексике, а фонетике, морфологии и синтаксису. Так, в «Атласе русских народных говоров» почти не представлена лексика физико-географического характера, названия трав, растений и т. п. Картотеки диалектных словарей часто содержат материал, который неравномерно представляет различные территории русских народных говоров.

⁴ См. подробнее об этом явлении: Ю. А. Карпенко, Свойства и источники микропонимии, сб. «Микропонимия», М., 1967; Г. П. Смолицкая, Апеллятив и топоним в составе народного говора, сб. «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1972», М., 1974.

⁵ Подробнее см.: Г. П. Смолицкая, указ. соч., стр. 262—266.

Недостатки двух этих источников лексики русского языка раннего периода в значительной мере преодолевает метод топонимического исследования лексики (преимущественно его ареальный аспект)⁶. Наиболее информативной при изучении лексики раннего периода русского языка (XV—XVII вв.) является микротопонимия (включая и микрогидронимию), значительная часть которой есть не что иное, как апеллятивная лексика местного говора. Некоторые группы апеллятивной лексики широко представлены не только в микротопонимии, но и в названиях довольно крупных объектов, привязаны к местности, например, топонимический ряд — названия населенных пунктов и рек по растительности — с. *Побывазье*, с. *Сосновое*, р. *Ракитня*, р. *Тростня* и т. п. Ареал апеллятива как бы уже существует, вопрос заключается только в учете необходимых топонимов, в их четком и тщательном выявлении (по источникам или путем полевого сбора, в зависимости от конкретных условий). Локализованность топонима — одна из важных черт его информативности, необходимая при реконструкции лексической системы языка. Таким образом, топонимический ряд всегда ареален, поскольку он состоит из локализованных топонимов.

Лексическая информативность топонимических рядов различна. По данным топонимии, легче всего восстанавливается лексика, отражающая воздействие человека на природу и непосредственное восприятие человеком явлений и особенностей окружающей его действительности. Например: а) способы расчистки земли (леса) под пашню: *гарь*, *дор*, *корь*, *пал*, *терев*, *чисть* и т. д.; б) типы и виды болот: *болото*, *бочаг*, *мох*, *мшара*, *олах*, *ржавец* и т. п.; в) положительные (возвышенности) и отрицательные (углубления) формы рельефа: *байрак* (*барак*), *буерак*, *вертеп*, *верх*, *враг*, *дебрь*, *дол*, *доск*, *овраг*, *яр*, *яруга* и т. п.; *бугор*, *вал*, *грива*, *курган* и т. п.; г) озерная и речная растительность: *аир* (*ир*), *камыш*, *сита*, *рогоз*, *троста* (*тростник*) и др. Перечень подобных лексико-семантических групп можно продолжить. Но именно лексика, отражающая физико-географические особенности среды, в первую очередь давала основу названиям и наиболее широко отразилась в них. Покажем на нескольких примерах результаты исследования лексики русского языка ранних веков по данным топонимии в плане определения ареала лексемы.

Лоск «овраг, лощина, низина». Из памятников письменности русского языка ранних веков мы узнаем, что впервые оно фиксируется в 1498 г. в юридическом акте, относящемся к Рязанскому княжеству. Кроме этого, в отдельных случаях слово *доск* встречается в Московских, Рязанских писцовых книгах XVI—XVII вв. и в Воронежских актах XVII—XVIII вв.⁷ Первые топонимы от этого апеллятива находим в XVI в. («Писцовые книги Московского государства XVI в.»): урочище *Лоск*, от вершек *Лоск*.

Диалектные данные об этом слове еще малочисленнее. В «Атласе русских народных говоров» (тома, отражающие говоры на территории к западу, югу и востоку от Москвы) это слово на сотни населенных пунктов отмечено лишь четыре раза: в двух населенных пунктах между Москвой

⁶ Наиболее серьезная научная попытка в этом направлении была сделана в свое время В. А. Никоновым, определившим границы таких слов, как *ручей*, *ключ*, *колодезь*, *криница*, *родник*. См.: В. А. Н и к о н о в, *Ручей — Ключ — Колодезь — Криница — Родник*, в кн.: «Материалы и исследования по русской диалектологии», 2, М., 1964.

⁷ «Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства», СПб., 1838, стр. 16; «Писцовые книги Московского государства XVI в.», СПб., 1872 (отд. I) и 1877 (отд. II); «Писцовые книги Рязанского края XVI—XVII вв.», Рязань, 1898 (кн. I), 1900 (кн. II), 1904 (кн. III); «Воронежские акты», I, Воронеж, 1887. Эти данные представлены в Картотеке ДРС (Институт русского языка АН СССР).

и Серпуховом и в двух — в окрестностях Рязани⁸. В «Голковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля это слово имеет пометы «рязанское» и «тульское». Слово *лоск* очень быстро исчезает из местных говоров русского языка. Если, например, исследователи воронежских памятников письменности фиксируют его в документах XVII—XVIII вв., то исследователи современных говоров Воронежской обл. его уже не находят⁹.

Данные топонимии (преимущественно гидронимии), извлеченные из карт XVIII в., а также топонимический материал памятников письменности XVI—XVII вв. дают возможность очертить полный и довольно характерный ареал этой лексемы. При этом необходимо заметить, что апеллятив *лоск* в пределах основного ареала представлен почти исключительно как гидрографический термин при гидронимах, а на окраине ареала и за его пределами — в виде ойконимов и гидронимов. Общий ареал апеллятива таков: восточные р-ны Калужской обл., южн. р-ны Московской обл., вся Тульская, Рязанская, западные р-ны Тамбовской обл., Воронежская обл. (не южные р-ны), часть Липецкой, т. е. территория Восточной (Рязанской) группы южновеликорусского наречия и частично Тульские говоры¹⁰. За пределами этого ареала слово *лоск* почти не фиксируется. Известен один топоним в Моравии — *Losky*¹¹. В Белоруссии отмечено несколько «лосковых» топонимов и само слово *лоск* в значении «плоская низина»: с. *Лоск*, урочище *Лошчань*, полустанок *Лоски*, урочища *Лоска*, *Лоски*, *Лосык*¹². Вероятно, белорусские топонимы, появившиеся на окраине ареала, можно считать ответвлением от основного через бассейн р. Угры, где *лоск* как апеллятив существует и доньше в значении «крутой глубокий овраг».

Не давая определенной этно-лингвистической интерпретации апеллятива *лоск*, заметим, однако, что его ареал, очерченный по данным топонимии, в основном совпадает с территорией расселения вятичей, приведенной в «Повести временных лет». Даже наличие этого апеллятива в бассейне р. Угры соответствует в общих чертах территории распространения курганов вятичей (курганы с круговыми канавками внутри)¹³. Во всяком случае, характер ареала апеллятива *лоск* свидетельствует о том, что он не был общевосточнославянским, а носил диалектный характер.

Дебрь (**dьbrь/dьbrь*) «ущелье; овраг, заросший лесом». В материалах, собранных для «Атласа русских народных говоров», это слово не представлено. В «Словаре русских народных говоров» под ред. Ф. П. Филина и Ф. П. Сороколетова (СРНГ) оно приведено в форме *дебря* «лесная чаща». В словаре Даля оно дается с пометой «старое» в значении «логовина, долина, раздол, ложбина, лог, овраг, буерак» без территориальной отнесенности. По памятникам письменности XI—XVII вв. составить ареальную характеристику этого слова не представляется возможным. Оно фиксируется в нескольких летописях, в частности в «Повести временных лет» и некоторых ее списках, в Софийской I летописи, во Львовской летописи,

⁸ См. рукописные карты «Атласа русских народных говоров», сост. сотр. Ин-та русского языка АН СССР.

⁹ См.: В. И. Дьякова, Географическая терминология Воронежской области. АКД, Воронеж, 1973, стр. 8; В. И. Христова, Местная лексика в языке воронежских рукописных памятников XVII — первой четверти XVIII в. АКД, Воронеж, 1972, стр. 5.

¹⁰ Подробнее об этом ареале см.: Г. П. Смолицкая, указ. соч., стр. 261.

¹¹ По сведениям проф. Р. Шрамка (Брно).

¹² См.: И. Я. Яшкин, Белоруския географичныя назвы, Минск, 1971, стр. 107; «Мікратапаніія Беларусі», ред. М. В. Бірыла, Ю. Ф. Мацкевіч, Минск, 1974, стр. 142.

¹³ См.: А. В. Арциховский, Основы археологии, М., 1955, стр. 194.

в житийной литературе, в частности в «Житии протопопа Аввакума», в описаниях путешествий и т. п.

В топонимическом материале, преимущественно, гидронимическом, собранном по памятникам письменности, старым картам, извлеченном из специальных каталогов, апеллятив *дебрь* представлен довольно определенно в ареальном отношении. На территории восточных славян «дебровая» топонимия имеется в Верхнем Поднепровье (в бассейне р. Сожа и левобережье р. Припяти), не ниже р. Десны: р. *Деберка*, р. *Дебрица*, р. *Дебровица*, р. *Дебря*¹⁴, г. *Брянск* (< **Дьбрянскъ*), р. *Дебрица*; в бассейне рр. Дуная и Днестра (на территории Ивано-Франковской и Львовской обл.): р. *Дебра*, поток *Дебриця*, р. *Дебровка*, поток *Дебранець*¹⁵; в бассейне р. Оки: р. *Деберинка*, р. *Дебриж* (4 раза), р. *Дебря*, д. *Дебрево*, с. *Дебрь*, овраг *Дебровой*, оз. *Дебри*, р. *Деберка* и др.¹⁶. Здесь «дебровая» топонимия фиксируется только в верхне-среднем левобережном Поочье со значительным сгущением к окраине ареала по течению крупных рек — среднего течения Клязьмы и Оки. Ареал «дебровой» топонимии расширяется на север от левобережного Поочья и верхнего Поднепровья — в бассейны соседствующих рек. Отдельные названия известны на территории Калининской, Псковской, Новгородской областей д. *Дебрь* (XVI в. — б. Тверской уезд), д. *Дебри*, р. *Дебря* (XVI в. — Деревская пятина) и некот. др.

За пределами этого ареала остается один топоним — д. *Дебри* в бассейне р. Усмань (Воронежская обл.)¹⁷. Но это единственное, зафиксированное источниками название, подкрепляемое данными современных говоров на территории Воронежской обл., не кажется случайным: слово *дебри* здесь известно и употребляется в значении «густой непроходимый лес, овраг, заросший лесом»¹⁸. Кроме того, исследователи говоров Воронежской обл. свидетельствуют о наличии маленьких речек с названием *Дебровка*, *Дебровая*. Эта топонимия, вероятно, попала сюда из бассейна р. Десны.

Дол (**dolъ*) «долина, овраг». В материалах, собранных для «Атласа русских народных говоров», это слово отсутствует. В СРНГ оно зафиксировано в значении «овраг» для Пензенской и Куйбышевской обл. В словаре Даля *дол* как обозначение отрицательной формы рельефа (овраг, долина) дается без территориальной пометы, а в значении «яма, ров, могила» приводится как южное и западное слово. Памятники письменности XI—XVII вв., в которых встречается слово *долъ*, не дают возможности составить его ареальную характеристику. Интересен факт, что словари современного русского языка или вообще не дают его (словарь современного русского литературного языка в 17 томах) или дают с пометой «устаревшее» (словарь русского языка в 4-х томах), хотя слово это практически известно каждому, для кого русский язык является родным.

Топонимический материал дает возможность установить первоначальную географию этого слова, появившегося на территории восточных славян в ранний период ее заселения (см. карту). Правда, ареал этот несколько стерт, но прослеживается, особенно его северная и северо-восточная границы. Ареал довольно обширен: ручей *Дил*, поток *Дилок* (басс. рр. Тиссы и Днестра), ручей *Дил* (басс. р. Сана), р. *Дольна* (басс. р. Ужа)¹⁹;

¹⁴ См.: П. А. М а ш т а к о в, Список рек Днепровского бассейна, СПб., 1913.

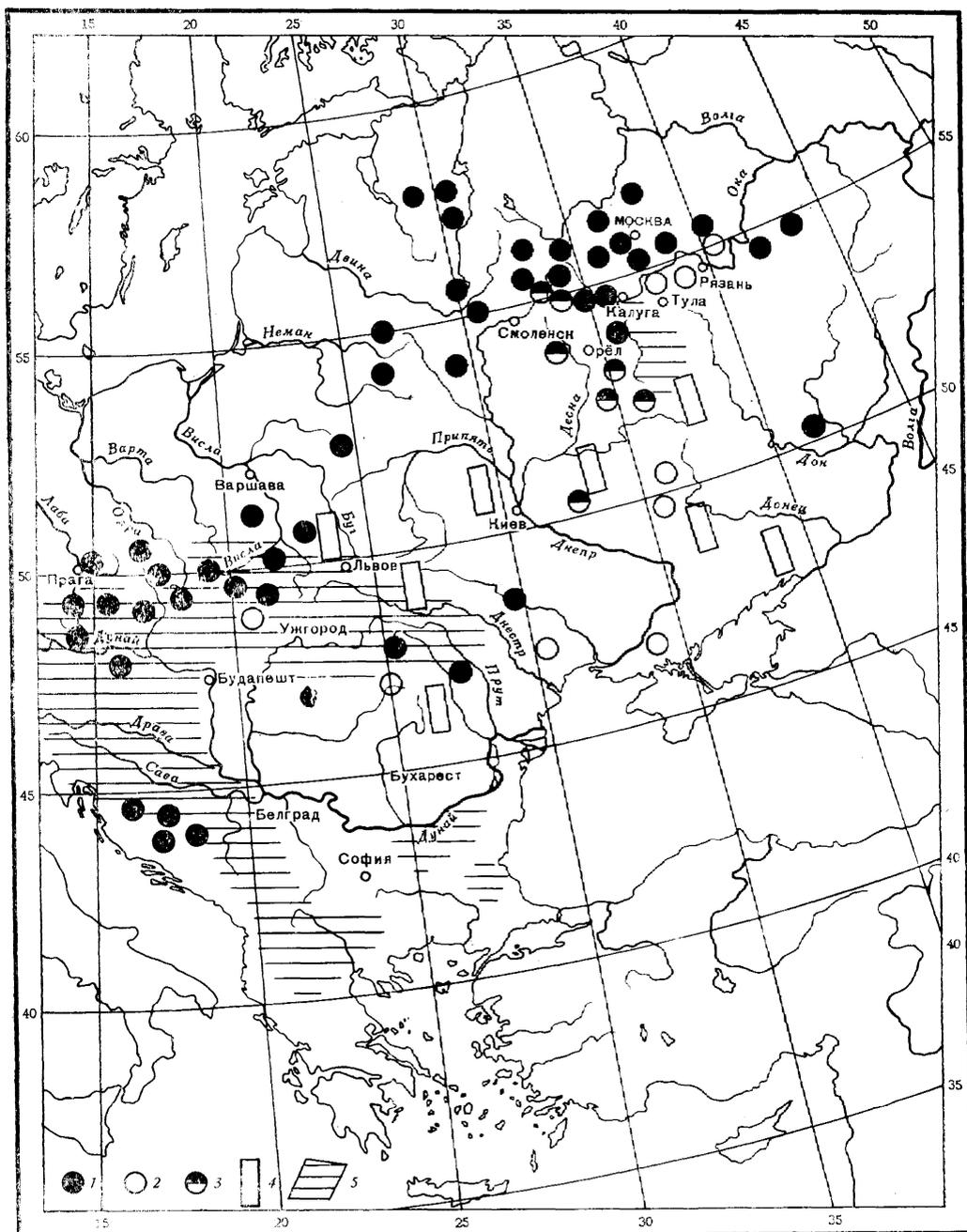
¹⁵ «Словник гідронімів України», сост. И. М. Железняк, А. П. Корещанова, А. Л. Непокупный, А. С. Стрижак и др. (в печати).

¹⁶ См.: Г. П. С м о л ц к а я, Гидронимия бассейна Оки, М., 1976.

¹⁷ См.: «Списки населенных мест Российской империи. Воронежская губ.», СПб., 1860.

¹⁸ См.: В. И. Д ъ я к о в а, указ. соч., стр. 10.

¹⁹ См.: «Словник гідронімів України».



Карта. Ареалы топонимии от * *doly* и * *doly/doly*: 1 — топонимии от * *doly/doly*; 2 — топонимии от * *doly*; 3 — топоним *Сухой дол*; 4 — топоним *Долина*; 5 — территория сплошного распространения топонимии от * *doly*

в левобережном Поднепровье: балка *Дил* (басс. р. Конской), р. *Сухой Дол*, р. *Масленой Дол* (басс. рр. Псла и Сейма)²⁰. В бассейне р. Дон чистая «доловая» гидронимия отсутствует. Аппеллятив *дол* представлен здесь такими

²⁰ См.: «Книга Большому Чертежу» (подготовка к печати и ред. К. Н. Сербиной), М.—Л., 1950, стр. 62.

названиями: балка *Суходол* — 4 названия (2 — басс. р. Хопра и 2 — басс. р. С. Донца), балка *Суходол Прямой* (в низовьях р. Хопра), р. *Суходолка* (в верховьях р. Медведицы), р. *Суходолья* (басс. р. Вороны)²¹.

В бассейне р. Оки «доловой» гидронимии значительно больше. Вероятно, это объясняется окраинным положением данной территории в составе общего ареала апеллятива *дол*, а на окраине ареала, как известно, онимизация географических терминов происходит активнее, нежели в середине ареала. «Доловая» гидронимия в бассейне Оки сосредоточена в верхнем правобережном Поочье (около 30 названий), кроме двух гидронимов: овраг *Сухой Дол* (басс. р. Жиздры), овраг *Жулин Дол*, отвершек *Дол*, отвершек *Большой Дол*, овраг *Дол*, верх. *Большой Дол Наречкой* (басс. р. Зуши), верх. *Дол* (басс. р. Ушы)²². Очерчивается вполне определенный ареал южного и юго-западного характера в пределах восточно-славянской территории.

Выявленный топонимический ареал несет в себе большую лингвистическую информацию. Во-первых, он дает возможность определить территорию первоначального или раннего заселения каким-либо народом (в языке которого было это слово), длительно проживавшим здесь и оставившим слова своего языка в виде топонимов. Во-вторых, характер и особенности этого ареала дают возможность проследить направление миграции этого народа. Положительное решение этих вопросов требует обязательного выхода за пределы очерченного ареала и обращения к смежным (соседним) ареалам той же топонимии в родственной или неродственной языковой среде.

Для интерпретации выявленных выше топонимических ареалов апеллятивов *дол*, *дебрь* необходимо обратиться к территориям распространения западнославянских и южнославянских языков. Надо отметить, что в топонимическом отношении территория западных и южных славян представлена неравномерно. Лучше всего представлена территория Польши и Чехословакии, затем Югославии. К сожалению, в распоряжении исследователей нет достаточного количества топонимического материала по территории Болгарии. Отсутствует надежный материал и по территории соседних неславянских стран — Венгрии, Албании и частично Греции. Судя по работам А. В. Васильева, И. Дуриданова, П. Кирая, А. М. Селищева, топонимия от *дол* (**dolъ*) и *дебрь* (**dьбрь*) фиксируется на указанных территориях (*Дибра*, *Дибри*, *Дол*), но в небольшом количестве, и по тому, как она подана в этих работах, не может быть точно локализована.

Ареал апеллятива *дол* на территории восточных славян — это верхне-среднее правобережное Поочье, верхне-среднее Подонье, среднее Поднепровье (не севернее течения р. Припяти), верхне-среднее Поднестровье. Затем этот ареал продолжается, не прерываясь на территории западных и южных славян (через бассейн р. Сан) в бассейне р. Вислы и р. Дуная. Причем в бассейне р. Вислы он представлен довольно многочисленно (30 гидронимов). Характерно, что все гидронимы находятся только в верхне-среднем Повисленье: *Dołky*, *Dolý*, *Księże Doły*, *Chmiurowy Dół*, *Dolce* и др.²³. В большом количестве «доловая» топонимия известна в Чехословакии: *Doleček*, *Podolie*, *Dolin* и др.²⁴; *Dolce*, *Dolkow*, *Doly*, *Kobylei Doly* и др.²⁵. А. Профоус приводит более 40 таких названий. В бассейне р. Дуная «доловая» топонимия встречается довольно часто, например, в бас-

²¹ См.: П. Л. М а ш т а к о в, Список рек Донского бассейна, М.—Л., 1934.

²² См.: Г. П. С м о л и ц к а я, Гидронимия..., стр. 316.

²³ См.: «Hydronimia Wisły», red. P. Zwoliński, Wrocław—Warszawa — Kraków, 1965.

²⁴ См.: V. Š m i l a u e r, Vodopis starého Slovenska, Praha — Bratislava, 1932.

²⁵ См.: A. P r o f o u s, Místní jména v Čechách, I—A—H, Praha, 1947.

сейнах р. Савы и р. Дравы: *Dolski Potok*, *Malodolski Potok*, *Dol*, *Dolce*, *Dolec* и др.²⁶. Особенно много ее в бассейне р. Вардар: *Borov Dol*, *Dol*, *Kravin Dol*, *Porov Dol* и др. И. Дуриданов зафиксировал более 50 названий²⁷. Известна она и на всей территории Болгарии: *Боров-Дол*, *Вылчи-Дол*, *Долна-Баня*, *Долна* и др.

Очерченный выше ареал апеллятива *дол* (**dolъ*) по данным топонимии характерен и логичен по своим очертаниям, но неоднороден по плотности. Наиболее плотен он на запад, юго-запад и северо-запад от Карпат. Это значит, что апеллятив *дол* (**dolъ*) был общеславянским, но свидетельствует об ином этнолингвистическом делении славянского мира и о направлении миграции тех групп славян, в языке которых он был. Отсутствие «доловой» топонимии в нижнем Повисленье, верхнем Поднепровье и верхне-среднем левобережном Поочье свидетельствует о том, что раннее славянское население, в языке которого было слово *дол*,шло с юга и юго-запада из района Карпат через среднее Поднепровье в верхнее правобережное Поочье.

Ареал «дебревой» топонимии совершенно иной по своей территории и плотности. С востока на юго-запад славянского мира он очерчивается следующим образом: верхне-среднее левобережное Поочье, верхнее Поднепровье (не ниже бассейна р. Десны и течения р. Припяти), затем Карпаты и Закарпатье (бассейн рр. Днестра и Тиссы). За пределами этой территории интересующая нас топонимия известна в верхне-среднем, преимущественно верхнем Повисленье: *Debrz*, *Debrza* — бассейн р. Вислок, *Debrzak* — в низовьях р. Сан, оз. *Debrzno*, *Debrzyno* — в среднем левобережном Повисленье²⁸, на территории Чехословакии *Debra*²⁹, *Debř*, *Děbeř*, *Debrěce*, *Debrné*, *Debrník* (всего 10 названий)³⁰. На Балканах «дебревая» топонимия встречается редко. Й. Шютц приводит соответствующую топонимию, извлеченную из памятников письменности, на территории Герцеговины, Хорватии *Dábar*, *Dàbrac*, *Dàbre*, *Dabrina* и др. По его наблюдениям, «дебревая» топонимия на Балканах случайна³¹. На территории Болгарии она встречается только в ее западной части. Г. П. Клепикова отмечает «почти полное отсутствие у южных славян географических терминов с корнем **dьbrъ*»³².

Этот ареал, довольно четкий, но менее плотный, чем ареал «доловой» топонимии, сгущающийся в районе Карпат и на запад от них, имеет на территории восточных славян южную границу в виде р. Припяти и верхне-среднего течения р. Оки. Он дает основание предполагать, что на территорию восточных славян слово **dьbrъ* было принесено группами славян, в языке которых оно было, именно этим путем из района северо-западнее Карпат через верхне-среднее Повисленье севернее р. Припяти.

Совпадение ареалов «доловой» и «дебревой» топонимии в верховьях рек Днестра, Тиссы, Эльбы, Одера, Вислы и Зап. Буга и четкое разграничение их на территории современных восточных славян (по течению р. Припяти и бассейну р. Десны и р. Оки) довольно красноречиво. Оно свидетельствует о длительном двойственном разделении славянства (см.

²⁶ См.: F r. B e z l a j, Slovenska vadna imena, Ljubljana, I—1956, II—1961.

²⁷ См.: J. D u r i d a n o v, Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle, Köln—Wien, 1976.

²⁸ См.: «Hydronymia Wisły», стр. 305.

²⁹ См.: M. B l i c h a, Toponymia Ondawskej a Toplianskej doliny, Bratislava, 1976, стр. 24.

³⁰ См.: A. P r o f o u s, Místní jména v Čechách.

³¹ См.: J. S c h ü t z, Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, Berlin, 1957, стр. 38.

³² Г. П. Клепикова, Из карпатоукраинской терминологии горного ландшафта, «Местные географические термины», М., 1970, стр. 63—64.

карту), а кроме того, подтверждает мнение О. Н. Трубачева о «центре ориентации» в жизни древних славян — Карпатах³³ и, вероятно, р. Припяти, заболоченный бассейн которой вынуждал обходить ее с севера и юга. Это последнее обстоятельство определяло и последующее направление славянских миграционных потоков на восток — в верхнее или среднее Поднепровье и дальше — в левобережное или в правобережное Поочье.

Предпринятые выше попытки восстановить в каких-то чертах «биографию» слов *дэбрь* и *дол* (< **dǫbrь/dǫbrь*, **dolъ*) в восточнославянских и шире — во всех славянских языках, а именно установить их историческую географию, показали, что это возможно только через посредство установления топонимического ареала. Привлечение топонимических данных вообще, не в рамках ареала, дает лишь общую информацию о наличии этих слов в славянских языках, без их территориальной характеристики и таким образом лишает исследователя большой лингво-исторической информации.

Метод топонимического исследования лексики открывает новые возможности анализа заимствованной лексики и дает надежные результаты. Это относится к географической терминологии. Заимствование лексики выявляется путем обнаружения ее ареала: по данным топонимии, ранние лексические заимствования (в частности, географические термины) имеют ареальную характеристику, поздние заимствования не имеют ее.

В бассейне р. Оки к поздним заимствованиям в русском языке относятся тюркизмы, появившиеся здесь не ранее XIII в., хотя памятники письменности фиксируют их значительно позже: *камыш*, *байрак* — XVI в., *буерак* — XVII в. Ареалов тюркской топонимии, в частности гидронимии, здесь нет. Это подтверждается анализом некоторых групп тюркской апеллативной лексики, давшим основу некоторым топонимическим рядам.

Очень часто в основе гидронима (в бассейне р. Оки) лежит апеллатив, обозначающий речную или озерную растительность: *троста* (*тростник*), *сита*, *рогоз*, *камыш*, *аир* (*ир*), *чакан* и др., из которых *камыш*, *аир* (*ир*) и *чакан* — тюркизмы. И если от апеллатива *троста* (*тростник*) образовано 60 названий, от *сита* — 25, от *рогоз* — 15, то от апеллатива *камыш* — 6 названий, от *аира* — 2, от *чакана* — 2 названия. Топонимы от славянских апеллативов имеют ареальную характеристику («ситовые» — в верхне-среднем левобережном Поочье, «рогозовые» — в верхне-среднем правобережном), топонимы же от указанных выше тюркских апеллативов разбросаны по всему Поочью, преимущественно правобережному: верх *Камышевский* — басс. р. Упы, верх *Ирковский* — басс. Клязьмы, р. *Ирка*, овраг *Камышинский* — басс. р. Цны и др. Там же, где эти тюркизмы являются древним лексическим элементом, они имеют, по данным топонимии, вполне определенную ареальную характеристику, например, в среднем и нижнем Подонье³⁴.

Не составляет ареала в бассейне Оки и топонимия, образованная от тюркских апеллативов, обозначающих формы отрицательного рельефа, т. е. овраги: *яр*, *яруга*, *буерак* (*байрак*, *барак*), хотя некоторые из них в настоящее время имеют ареальные характеристики (*яруга*, *буерак*), полученные позднее.

Апеллативы *яр*, *яруга* представлены в бассейне р. Оки четырьмя названиями: овраг *Яровой* (басс. р. Упы), р. *Синья Яруга*, овраг *Яруга* (басс. р. Шачи), овраг *Васкова Яруга* (басс. р. Нугрь). Все они разбросаны по всему бассейну и не составляют ареала. В бассейне Днепра их несколь-

³³ О. Н. Трубачев, указ. соч., стр. 50.

³⁴ Подробнее см.: Г. П. С мо л и ц к а я, Некоторые лексические ареалы (по данным гидронимии), сб. «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков», М., 1974, стр. 171—179.

ко больше (шесть названий), все они, кроме одного, находятся в левобережном Поднепровье: *Яруга* (между р. Припятью и р. Березиной), *Яр Березовый*, *Ярыгинка* (верховья р. Сейм), *Яр Ужес* (басс. р. Рось), *Яр Осозы* (басс. р. Самары), *Яр Трубеж* (приток Днепра)³⁵. В бассейне р. Дон, по имеющимся источникам, «яровая» топонимия отсутствует³⁶. Аpellятив *буерак* (*байрак*, *барак*) представлен вообще одним гидронимом — ручей *Барак* (левый приток р. Оки ниже р. Тарусы).

Займствованным в русском языке является аpellятив *ендова* — «широкий круглый сосуд для жидкости». Вопрос о балтийском или тюркском его характере пока не решен окончательно³⁷. В русском языке (по говорам) слово употребляется и как географический термин — «овраг круглой формы». Этот аpellятив дал в бассейне р. Оки большое количество названий (25), имеющих довольно характерный ареал: ручей *Ендова*, вершина *Яндовская*, овраг *Ендовище*, овраг *Ендовища*, овраг *Ендовской* и др.³⁸. Эти 25 названий составляют вполне определенный ареал: верхне-среднее правобережное Поочье (от бассейна р. Зуши до бассейна р. Мокши), за исключением одного гидронима по нижнему течению р. Москвы (ручей *Ендова*). Факт наличия вполне определенного ареала «ендовой» топонимии свидетельствует о том, что это слово (возможно, из языка балтов) рано вошло в язык славян, пришедших в бассейн р. Оки. Этим словом славяне называли соответствующие объекты задолго до XIII в., когда в их языке могли появиться тюркизмы.

Установление ареалов топонимии, образованной от заимствованных аpellятивов, еще раз подтверждает географическое распределение лексики древнерусского языка и русского языка ранних веков, уточняет ее диалектную принадлежность. Если тюркские аpellятивы не могли проникнуть в язык населения Поочья раньше XIII в., а проникнув, не смогли стать широкоупотребительными и образовать топонимические ареалы, поскольку в этой роли уже выступали собственные славянские лексемы, например *дебрь* (**dьbrь/dьbrь*), *дол* (**dol*), *лоск*, это значит, что географически к XIII в. эти аpellятивы распределялись именно так, как показывают их топонимические ареалы.

³⁵ П. Л. М а ш т а к о в, Список рек Днепровского бассейна, стр. 290.

³⁶ П. Л. М а ш т а к о в, Список рек Донского бассейна (*Яруга Мурамская* — единственный пример).

³⁷ М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1967, стр. 19—20.

³⁸ Г. П. С м о л и ц к а я, Гидронимия..., стр. 319, 402.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

КОДУХОВ В. И.

ИЗДАНИЕ БЕЛОРУССКИХ ЯЗЫКОВЕДОВ

Вышло десять выпусков периодического издания «Беларуская лінгвістыка»¹, основанного в год 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик.

Советская Белоруссия достигла больших успехов в экономике, науке и культуре; развитие и обогащение белорусского языка является свидетельством духовного расцвета белорусского народа. Как органическая часть науки республики возникла и получила мощное развитие белорусистика; издание «Белорусской лингвистики» — яркое свидетельство расцвета белорусского языкознания.

«В этом издании, которое будет выходить два раза в год, предусматривается, — подчеркивает редколлегия, — публикация не только фундаментальных теоретических статей, но и небольших заметок по широкому кругу проблем, связанных с историей белорусского языка, белорусской диалектологией, современным белорусским языком и культурой речи, белорусской лексикологией и лексикографией, взаимодействием литературного языка и диалектов, белорусской этимологией, экспериментальным изучением звукового строя белорусского языка, двухъязыковыми и многоязыковыми, белорусско-русскими, белорусско-украинскими взаимосвязями и другими межъязыковыми контактами» (вып. 1, стр. 4).

Первый выпуск серии открывается обзорной статьей ответственного редактора М. Р. Судника «Белорусистика накануне 50-летия Союза ССР». Автор отмечает, что в первые годы после Октября, когда проходил процесс литературной нормализации, все усилия были направлены на утверждение грамматических и орфографических норм, создание национальной научной терминологии. После организации в 1931 г. Института языкознания и особенно в послевоенный период появляются монографии по отдельным проблемам белорусистики; средняя и высшая школа (филологические факультеты) обеспечивается необходимыми учебниками и пособиями, создается академическая грамматика. М. Р. Судник справедливо подчеркивает, что «значение сделанного в этой области за советский период станет особенно ясным, если принять во внимание, что в дореволюционное время белорусский язык не имел ни одного грамматического пособия учебного назначения, не говоря уже про научную грамматику» (стр. 6—7).

Говоря об успехах белорусских языковедов, автор далее отмечает, что ими широко и на высоком теоретическом уровне рассматриваются вопросы

¹ «Беларуская лінгвістыка» (Ин-т мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР), 1—10, Мінск, выдавецтва „Навука і тэхніка“, 1972—1976.

лексикологии и лексикографии, ономастики и исторической лексикологии. Важное место в славянском языкознании Белоруссии занимает история литературного языка и исследование языка отдельных памятников. Наибольшее развитие получила белорусская диалектология; М. Р. Судник особо выделяет четырехтомный лингвогеографический комплекс трудов, к которому относится двухтомный «Диалектологический атлас белорусского языка» (1963) и «Лингвистическая география и классификация белорусских говоров» (1968—1969) в двух частях.

В «Белорусской лингвистике» помещены и другие обзорные статьи: «Развитие славянского языкознания в Белоруссии» В. В. Мартынова (вып. 3), «Развитие германистики в Белоруссии» Т. С. Глушак (вып. 2), «Развитие романистики в Белоруссии» З. Н. Левита и В. В. Макарова (вып. 4), а также «Экспериментально-фонетические исследования в Белоруссии» К. К. Барышниковой и А. И. Подлужного (вып. 5), «Статистические исследования языка в Белоруссии» Б. А. Плотникова (вып. 7).

В. В. Мартынов в названной статье пишет, что в начальный период советской белорусской славистики центральными фигурами были П. А. Бужук и И. В. Волк-Левонич, ученик Е. Ф. Карского — основоположника белорусистики. Современное развитие белорусской и славянской компаративистики связано с созданием Сектора общего и славянского языкознания в Институте языкознания им. Я. Коласа АН БССР, а затем и кафедры общего и славянского языкознания на филологическом факультете БГУ. К. К. Барышникова и А. И. Подлужный указывают, что основные направления и результаты экспериментально-фонетических исследований в Белоруссии связаны с деятельностью лаборатории экспериментальной фонетики Института языкознания им. Я. Коласа и кафедры экспериментальной фонетики Минского педагогического института иностранных языков (вып. 5). Эти два фонетических центра возникли в 60-х годах, но уже сейчас результаты их работ являются существенным вкладом в советскую фонетическую теорию, внедряются в практику преподавания белорусского и иностранных языков.

В статьях вышедших выпусков белорусский язык освещается многоаспектно. Современному литературному языку посвящено более 20 статей; в них освещается звуковой и грамматический строй и словарный состав белорусского языка.

На страницах издания опубликованы статьи А. И. Подлужного и В. Н. Чекмана об особенностях артикуляции звуков *ц'*, *дз'*, *с'*, *з'* в белорусском литературном языке (вып. 1), Э. Р. Якушева, А. А. Метлюк и Т. М. Николаевой о долготе звука, фразовом ударении и интонации (вып. 4, 5, 10). В статье Т. Уригстеда (Стокгольм) «Некоторые проблемы морфологического анализа белорусского языка» (вып. 6) рассматриваются протетические звуки, длительность согласных и носовые согласные. Н. С. Василевский касается морфологического анализа при описании глаголов на-*іць* (-*ыць*), образованных от прилагательных (вып. 10). Вопросы словообразования посвящены также статьи М. И. Ярмош (вып. 10) и М. П. Лукашук (вып. 10).

Несколько меньше статей опубликовано по лексике и фразеологии современного белорусского литературного языка. А. Е. Баханьков, анализируя оживление архаизмов и историзмов в белорусской лексике советского времени, приходит к выводу о том, что ожившие слова получают новые оттенки значения, словообразовательные и словосочетательные возможности (вып. 2). Г. В. Орешонкова пишет о семантических процессах в заимствованных словах из польского языка (вып. 2), И. Я. Лепешев и К. М. Гюлумянц — о фразеологии (вып. 4, 7 и 9), а Б. Ю. Норман — о глагольной паронимии (вып. 4).

Из вопросов описания грамматического строя белорусского языка на первое место выдвинуты проблемы словосочетания. А. Е. Михневич опубликовал две статьи: «Проблемы семантического синтаксиса белорусского языка» (вып. 6) и «Основные типы синтаксических омонимов в белорусском языке» (вып. 10) (им же опубликована в 1976 г. книга «Проблемы семантико-синтаксического исследования белорусского языка»). В других статьях издания рассматриваются семантико-синтаксическая функция словосочетания *адзін аднаго* (Л. А. Антонюк, вып. 2), творительный сравнения (В. И. Рабкевич, вып. 4), словосочетания с предлогом *по* (П. П. Шуба, вып. 8), управление (Т. П. Бондаренко, вып. 8).

Широко и разнообразно освещается в выпусках диалектологическая и сравнительно-историческая проблематика белорусистики: 13 статей по диалектологии и более 30 статей, заметок и рецензий по истории и этимологии белорусского языка.

Диалектной фонетике посвящены статьи Н. Т. Войтович (вып. 1, 4), П. И. Сигеды (вып. 2) и В. Н. Чекмана (вып. 8); в них описывается фонетика отдельных деревень. Н. Т. Войтович, анализируя взаимодействие юго-западных и северо-восточных говоров в деревне Володки Молодечненского района Минской области, приходит к выводу о том, что взаимодействие между диалектами протекало приблизительно на равных основах, и эти диалектные данные дают ценный материал для понимания путей формирования белорусского языка. Акцентная кривая существительных женского рода типа *дзёўка, жонка* описывается в статье Е. Н. Романович (вып. 1).

В обзоре Н. В. Бирилло и В. П. Лемтюговой «Белорусская ономастика. Топонимика» (вып. 3) изложена история белорусской ономастики, которая возникла в 30—40-е годы XX в., но получила широкое и разнообразное развитие в 60-е годы; отмечается, что наибольшее значение имеют работы языковедов Е. Н. Адамовича, Э. К. Бирилло, В. П. Лемтюговой, географ-топонимиста В. А. Жучкевича и этнограф-топонимиста Н. Я. Гринבלата.

Словам балтийского происхождения посвящена работа шести авторов (Г. В. Орешонкова и др.) «Лексика балтийского происхождения в белорусских говорах» (вып. 3) и статья В. П. Рымши «Белорусские антропонимы балтийского происхождения» (вып. 6). В статье А. А. Кривицкого дается диахроническая интерпретация лингвогеографических данных о зональных белорусских названиях фронта (вып. 3); в статьях И. Я. Яшкина и Я. И. Чеберук рассматриваются названия грибов и развилок дорог (вып. 4), диалектному словообразованию посвящена статья П. В. Стецко (вып. 8).

Исторический аспект лексикологии охватывают статьи о тематических группировках слов, генетических пластах лексики, истории и этимологии отдельных слов. Т. Г. Казачёнок и И. В. Шадуцкий пишут о садовой лексике старобелорусского языка (вып. 7), К. В. Скурат — о наименовании посуды в старобелорусском языке (вып. 8), Н. Е. Бруй — о названии города Туров и его гидротопонимическом окружении (вып. 5), И. К. Германович — об истории термина «старонка» и ее синонимах — «сторонка, болонка» (вып. 7), М. Р. Судник — о словах *зверьяда, зверьядавец* (вып. 6). А. Н. Булыко рассматривает иноязычные лексические элементы в Вислицком статуте конца XV—XVI в. (вып. 5) и проникновение в памятники XV—XVIII вв. ботанической терминологии греко-латинского происхождения (вып. 9), В. Н. Свежинский — лексические элементы польского происхождения в «Дневнике» Ф. Евлашевского, написанном в 1604 г. (вып. 7), Н. Т. Войтович — народные основы словарного состава Барколабской летописи, по списку середины XVII в. (вып. 6).

Во всех выпусках «Белорусской лингвистики» публикуются историко-этимологические заметки (около 130 заметок); в них дается историко-этимологическое толкование различных лексем (например, *бег, вырай, раса, сиваронка, тыня, шума, цукар* и т. п.); авторами выступили А. Н. Булыко, Л. Т. Выгонная, Р. В. Кравчук, Р. Н. Малько, В. В. Мартынов, А. Е. Михневич, В. Н. Никончук и др. В. В. Мартынов написал две обобщающие статьи: «Белорусская этимология» (вып. 1) и «Этимология и лингвистическая география» (вып. 9). В первой статье автор выделяет три аспекта исследования белорусского этимологического ландшафта — словообразовательные и семантические архаизмы, инновации, в том числе диалектные, экспрессивная лексика; во второй — справедливо обращается внимание этимологов на то, что, прежде чем искать этимон, необходимо распределить слова в пространстве и времени.

Несколько статей в серии посвящено историческому словообразованию и грамматике. П. В. Верхов исследует территориально-диахронические ареалы существительных с суффиксами *-ецъ* и *-унъ* (*-юнъ*) (вып. 1 и 4), Н. А. Павленко — однокоренные *nomina agentis* женского рода в старобелорусском языке (вып. 8), А. Ю. Опримене — глагольные формы в «Апостоле» Ф. Скорины (вып. 7). Л. В. Елисеева написала две статьи о предложном и беспредложном управлении в деловой письменности XVI в. (вып. 7 и 9).

Много внимания уделяется сопоставительным и сравнительно-историческим исследованиям белорусского языка: белорусский язык сопоставляется с польским, южно- и восточнославянскими языками, с немецким языком. В. Л. Веренич, отвечая на анкету по проблеме «Белорусско-польские изолексы» (1975), дает историко-этимологический анализ девяти лексем (вып. 10); А. А. Обрембская-Яблоцкая (Варшава) анализирует польск. *latoś* сопоставительно с белорусск. *летась* (вып. 9); в статье Л. Выгонной и польской лингвистки Э. Смулковой рассматривается лексический параллелизм говоров Принятого Полесья и белорусских говоров северо-восточной Польши, его архаический характер (вып. 3).

О своеобразии белорусско-южнославянских связей пишет Г. А. Цыхун (вып. 5), К. М. Гюлдумяц — об общеславянском характере компаративной фразеологии белорусского языка (вып. 2), Э. К. Смулкова — о словесном ударении в восточнославянских языках, его предсказуемости, прежде всего — морфологической структурой слова (вып. 10), В. С. Яковичин — об изменении праславянского **ě* в славянских языках (вып. 3), Р. В. Кравчук — о праславянских диалектизмах с архаической структурой: **pormen-* и **rarog-* (вып. 9). В вып. 3 печатается дополнение к статье И. В. Волка-Левановича «Еще к вопросу о „ляшских“ чертах в белорусской фонетике»; статья посвящена происхождению так называемых диффузных звуков *s*“, *z*” в славянских языках.

Сопоставительно с немецким языком рассматриваются принципы устранения семантической вариативности строительной терминологии (В. А. Егоров, вып. 6), классификация модальных слов (Н. К. Кравченко, вып. 2), критерии семантического описания предлога (А. Н. Шаранда, вып. 9), Л. Н. Черенков впервые в истории советского цыгановедения рассматривает диалект белорусско-литовских цыган, для которого характерны черты, заимствованные из белорусского языка или возникшие под его влиянием (вып. 6).

Хотя в «Белорусской лингвистике», естественно, публикуются главным образом статьи, так или иначе связанные с разноаспектным изучением белорусского языка, здесь представлены работы и по исследованию других языков и общей теории языка. А. И. Янович пишет о формировании отадъективных наречий времени типа *вскорь, наборзъ, помаль* в древнерусском

языке (вып. 8), Р. В. Кравчук — об истории существительных на *-oščë* в древнечешском языке (вып. 3), А. Е. Супрун — о полабских словосочетаниях со словами *vilt'ë* «большой» и *molë* «малый» (вып. 7). В. В. Мартынов опубликовал несколько теоретических статей: по этимологии и об абсолютных универсалиях (вып. 9 и 2). Д. Г. Богушевич и Т. С. Глушак в своей работе высказывают предположение о наличии шести видов иерархических отношений между лингвистическими единицами (вып. 5); С. М. Гайдучек разграничивает термины «просодия» и «интонация» (вып. 2). Кроме уже названных двух работ А. Е. Михневича, вопросы общей грамматики рассматриваются в статье П. И. Копанева и Е. С. Шубиной (вып. 7), в которой категория настоящего времени трактуется в свете дихотомии «язык — речь» и в сопоставлении философского и лингвистического понятия категории времени (вып. 7).

На страницах «Белорусской лингвистики» обсуждаются и вопросы теории лексической семантики. А. П. Клименко показывает, что ассоциативные группы слов обнаруживают гомоморфизм семантических отношений в тексте и системе (вып. 6). В. В. Мартынов и М. И. Ярмош сообщают о результатах психолингвистической проверки дифференциальных признаков существительных (вып. 6). Л. Т. Выгонная, анализируя характер ответов при слуховом восприятии изолированных слов, приходит к выводу, что при опознании ударных и заударных слогов преобладают фонетически обусловленные, тогда как при опознании предупредных слогов — лексически обусловленные ошибки (вып. 10).

С. П. Кудзис пишет о том, что функциональная направленность высказывания, определяющая стиль речи, возникает в результате отношений между референтом, агенсом и адресатом сообщения (вып. 7). В другой статье С. П. Кудзис предлагает «дерево» высказывания, представляющее семантические связи текста как взаимодействие отношений каузации и модификации: каузативные связи указывают на развитие высказывания в тематической перспективе, отношения модификации определяют меру развертывания высказывания вширь (вып. 10). В. А. Букович в статье «Некоторые вопросы машинного перевода научно-технического текста» описывает автоматический словарь на статистической основе (вып. 4).

Хорошо представлен в издании раздел критики и библиографии; здесь систематически печатаются обзоры и рецензии, ведется белорусская персоналия, дается научная хроника. Рецензируются в основном книги по белорусскому и славянскому языкознанию — отечественные и зарубежные: А. І. Наркевіч. Сістэма словазлучэнняў у сучаснай беларускай мове (вып. 2); П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров западной Брянщины (вып. 6); П. У. Спяцко. Народная лексіка і Народная лексіка і словаўтварэнне (вып. 3); В. М. Чэкама. Гісторыя проціпастаўленняў па цвёрдасці — мяккасці ў беларускай мове (вып. 1); В. Сташайтене. Абстрактная лексіка на матэрыяле старобелорускіх пісьменных помнікаў XV—XVII веков (вып. 5); «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Сложноподчиненные предложения», отв. ред. В. И. Борковский (вып. 4); А. М. Залеський. Вокалізм південно-західних говорів української мови (вып. 7); Tadeusz Zdanczewicz. Wpływy białoruskie w polskiej gwarach pod Sejnami (вып. 1); Michał Kondratiuk. Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostoczczyzny (вып. 8); Ján Kačala. Doplňok v slovenčine (вып. 9); Barbara Falińska. Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim. Tom I. Słownik polskich gwarowych nazw tkackich (вып. 10).

На страницах «Белорусской лингвистики» помещены также рецензии на книги: «Lietuvių kalbos žodynas», t. I—IX (вып. 9); A. Vanagas. Lietuvos TSR hidronimų daryba (вып. 7); Ю. В. Попов. Общая грамматичес-

кая теория в немецком языкознании (вып. 4); Л. И. Ройзензон. Лекции по общей и русской фразеологии (вып. 8).

Н. В. Бирилло и П. П. Шуба в статье «Многогранность таланта» (вып. 9), опубликованной в связи с 80-летием писателя и академика Кондрата Крапивы (Кондрата Кондратовича Атраховича), останавливаются на его писательской и лингвистической деятельности: под редакцией К. Крапивы вышел первый послевоенный «Русско-белорусский словарь» и фундаментальный «Белорусско-русский словарь»; К. К. Крапива принимал участие в редактировании трехтомного «Курса современного белорусского языка» и двухтомной академической «Грамматики белорусского языка». Опубликованы также статьи о лингвистической деятельности Н. В. Бирилло (вып. 4), Н. Т. Войтович (вып. 3), А. И. Журавского (вып. 6), В. В. Мартынова (вып. 5), Ю. Ф. Мацкевич (вып. 1), Н. П. Лобана (вып. 1). В девятом и десятом выпусках помещены некрологи, посвященные Петру Васильевичу Верхову (1921—1975) и Нине Трофимовне Войтович (1913—1976).

Вышедшие десять выпусков «Белорусской лингвистики» дают все основания считать, что языкознание в Белоруссии развивается быстрыми темпами и на высоком научном уровне и что своими достижениями белорусские языковеды вносят значительный вклад в развитие советского языкознания. В заключение хочется пожелать белорусским коллегам дальнейших успехов в глубоком и многостороннем изучении белорусского и других языков, в культурном строительстве и развитии лингвистической теории.

РЕЦЕНЗИИ

В. З. Панфилов. Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. — М., «Наука», 1977. 287 стр.

Новая монография В. З. Панфилова представляет собой итог проведенной автором серии разработок соответствующих философско-лингвистических проблем, излагавшихся в ряде отдельных публикаций, начиная с 1957 г.¹ Содержание монографии можно разделить на две основные части. В одной из них («Введение», главы I—II) рассматриваются наиболее общие философские и методологические вопросы, непосредственно касающиеся языка и языкознания. К числу особенно актуальных собственно философских проблем языкознания автор относит проблемы онтологии языка, в частности, вопрос о роли субстанциональных элементов и системных отношений в конституировании языковых единиц, о степени самостоятельности языка как сложной системы, о соотношении лингвистических и экстралингвистических факторов (мышления и общества) в образовании и развитии языка, проблему

знаковости языковых единиц и природы языкового знака, проблему законов развития языка. Важнейшим вопросом методологии языкознания в книге признается вопрос об объективности языка и формах его существования. Наряду с этим выделяется круг философских вопросов, касающихся роли языка в познавательной деятельности и мышлении, в отражении объективной действительности, развития языковых значений как отражения развития познания. Именно этот круг вопросов выдвигается в качестве основного объекта рассмотрения в рецензируемой монографии. Другая часть монографии (главы III—V) содержит лингвистический анализ некоторых языковых категорий, освещение которых может быть отнесено к числу обязательных предпосылок дальнейшей философской разработки проблемы взаимоотношения языка и мышления. Таким образом, В. З. Панфилов ограничивает философскую проблематику языкознания в данном случае такими теоретическими вопросами, которые касаются специфики языка как общественного явления. Автор почти совершенно не затрагивает другого аспекта взаимосвязи философии и языкознания — проявления законов и категорий материалистической диалектики в области языка. Поскольку эти законы и категории являются общими для всех сфер действительности, проявление их в языке не может, конечно, рассматриваться в качестве определяющей характеристики особой сущности языка по сравнению с другими явлениями. Проблематика проявления законов и категорий диалектики в сфере языка легче поддается освещению и вместе с тем имеет более общее значение, чем актуальные философские проблемы сущности и мыслительно-познавательной роли языка. Этим, по-видимому, и объясняется отсутствие диалектической проблематики языкознания в предлагаемом В. З. Панфиловым общем перечне философских проблем науки о языке.

Коренные философские проблемы языкознания освещаются в книге с диалекти-

¹ См.: В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления, «Мышление и язык», М., 1957; е го же, Грамматическое число существительных в нивхском языке, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», XI, М.—Л., 1958; е го же, Грамматика и логика, М.—Л., 1963; е го же, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3; е го же, О соотношении внутривидовых лингвистических и экстралингвистических факторов в функционировании и развитии языка, «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964; е го же, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; е го же, Reflecting function of natural languages, «Proceedings of the IV International Congress for logic, methodology and philosophy of science», Bucarest, 1971; е го же, Языковые универсалии и типология предложения, ВЯ, 1974, 5; е го же, Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака, ВЯ, 1975, 3, а также: е го же, Грамматика нивхского языка, I — М.—Л., 1962, II — 1965.

но-материалистических позиций, в ряде случаев путем противопоставления марксистского понимания сущности и функционирования языка современным идеалистическим и неопозитивистским концепциям в лингвистической науке. Так, во «Введении» подвергается критической характеристике структуралистическое истолкование языка как сети отношений, порождающих якобы языковые единицы всех уровней, как имманентного явления, не подверженного якобы воздействию экстралингвистических факторов, как системы знаков, идеальная сторона которых также характеризуется знаковой природой (стр. 5). Автор вскрывает методологическую несостоятельность понимания языка в качестве предмета языкознания как формируемого самим исследователем «собирательного конструкта», объективно якобы не существующего и связанного с этим пониманием утверждения о принципиальной независимости лингвистической теории от эмпирических фактов языка (стр. 8—11).

В плане отрицания марксистской методологии строится и первая основная глава монографии — «Гносеологические аспекты проблемы взаимоотношения языка и мышления» (стр. 16—44). Глава начинается критическим анализом понимания проблемы взаимоотношения языка, мышления и познания в неогумбольдтиадском языкознании, в неопозитивистской философии и в том направлении семиотики, в котором языки рассматриваются как модель мира, определяющая человеческое познание, или утверждается понимание научных теорий и человеческого знания вообще всего лишь как системы знаков. В работе не содержится прямолинейного отрицания какого бы то ни было влияния языка на мышление, познание и культуру. «Язык, — справедливо отмечает В. З. Панфилов, — действительно оказывает известное влияние на мышление и познавательную деятельность человека. Во-первых, язык обеспечивает саму возможность специфически человеческого, т. е. абстрактного, обобщенного мышления и познания. Во-вторых, в языке в той или иной мере фиксируются результаты предшествующих этапов познания действительности (в значениях слов, в его грамматических категориях и т. п.). Очевидно, что предшествующий уровень познания действительности, в определенной степени зафиксированный в языке, не может не оказывать известного влияния на последующие этапы познавательной деятельности человека.» (стр. 29). Важное значение при этом имеет указание автора на то, что в отдельных языках имеют место определенные различия между сферами зафиксированных в них значений, вызванные различиями в объективно определяемых материальных и духовных потребностях между носителями соответствующих язы-

ков (стр. 33). Одновременно с этим подчеркивается, что язык как относительно самостоятельное явление, обладающее некоторыми внутренними законами своей организации, может развивать в себе отдельные значения и категории, связанные с содержанием практической и познавательной деятельности не непосредственно, а через ряд промежуточных звеньев формального характера в историческом развитии языка (стр. 31—32). В качестве примера В. З. Панфилов приводит свойственное некоторым языкам формально обусловленное превращение наиболее употребительных в прошлом словосочетаний с числительными в отдельные сложные числительные, употребляющиеся лишь при исчислении предметов определенных качественных категорий и оказывающие, таким образом, известное влияние на характер количественных представлений носителей этих языков. Думается, что к числу подобных примеров может быть отнесено и свойственное многим языкам мира (обусловленное их синтаксической структурой) формирование отвлеченных имен существительных, обозначающих действия, состояния и признаки², возникновение которых в рецензируемой книге объясняется только потребностями мышления, проявляющимися на определенных этапах познания (стр. 31, 118). Однако, признавая факт некоторого частичного влияния конкретной структуры языка на содержание и характер мышления, В. З. Панфилов убедительно обосновывает положение о том, что «ни существенные типологические различия языков, проявляющиеся в структуре слова и предлодения, а также характере грамматических категорий, ни действительно имеющиеся место различия в сфере значений, закрепленных за языковыми единицами различных языков, не оказывают такого решающего влияния на мышление их носителей, которое бы приводило к созданию особых типов мышления, различий в самом их логическом строе, в законах их мышления» (стр. 37). Наряду с критикой агностических утверждений неогумбольдтиадцев, неопозитивистов и части семиотиков об определяющей роли языка в отношении мышления В. З. Панфилов вскрывает также несостоятельность подерживавшегося и некоторыми советскими учеными представления о наличии двух сфер отражения действительности — логического отображения мира и так называемой «языковой картины мира», имеющей якобы экстралогический характер.

² Подробнее см.: А. С. Мельничук, Синтаксис как сфера проявления смыслообразующей и формообразующей роли языковой структуры, «Proceedings of the XI International Congress of linguists», I, Bologna, 1974, стр. 647 и сл.

Сложнейшему комплексу специальных философско-лингвистических вопросов посвящена вторая глава монографии — «Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака» (стр. 45—98). В главе рассматриваются вопросы о природе языкового знака, о характере соотношения знаковой субстанции и обозначаемой знаком сущности, о природе значения, о способе отражения обозначаемой сущности при помощи знака, об уровне абстрактности мышления, для осуществления которого необходим язык, о характере произвольности языкового знака, о понятии языка как системы в связи с пониманием соотношения категорий вещь, свойство и отношение, о соотношении лексических десигнатов и понятий, о формах существования материальной и идеальной сторон языка и др. Поскольку систематическая и подробная разработка всего этого комплекса вопросов с марксистских методологических позиций пока что не завершена, в подходе отдельных исследователей к их освещению наблюдается особенно значительное разнообразие. Поэтому и в рассматриваемой главе монографии В. З. Панфилова наряду с положениями, которые признаются всеми представителями марксистского языкознания, содержатся и некоторые дискуссионные моменты, вызывающие определенные сомнения или требующие дополнительных обоснований.

В. З. Панфилов исходит из общепринятого в марксистской философии понимания знака как чувственно воспринимаемого предмета, указывающего на другой предмет и выступающего в качестве его представителя. При этом основное внимание уделяется лингвистическому знаку, его природе, в частности, сложной проблеме соотношения материального и идеального в лингвистическом знаке. Автор поддерживает и развивает точку зрения, согласно которой лингвистический знак включает в себя обобщенное отражение объектов действительности, которое предлагается считать значением знака. Высказываемое определенной частью ученых мнение о том, что под значением знака целесообразно понимать его отношение к обозначаемым объектам (денотатам) и их отражениям в сознании говорящих (десигнатам), квалифицируется в книге как логически несостоятельное и ведущее к идеализму (стр. 59—60). Представляется, однако, что рассматриваемое мнение такой отрицательной оценки не заслуживает. В. З. Панфилов сомневается в правомерности включения отношения в состав языковой единицы, поскольку очевидно, что отношение всегда касается обоих членов отношения, т. е. в данном случае и языковой единицы и обозначаемой ею сущности (стр. 57). Но рассмотрение знакового отношения вместе с самим знаком, вступающим в это

отношение, вовсе не отрицает и не исключает участия в этом отношении другого его члена — обозначаемого знаком объекта или его отражения в сознании говорящих. Следует только учитывать, что здесь речь идет о таком встречающемся и в других случаях антисимметрическом отношении, при котором само наличие знака обусловлено наличием означаемого объекта или его отражения, между тем как наличие объекта ни в какой мере не зависит от наличия соотносимого с ним знака. Наличием знака обусловлено только одно свойство объекта — быть обозначенным. Понятно поэтому, что знаковое отношение является свойством, главным образом для знака, чем для обозначаемого объекта. Именно в знаковом отношении заключается основная функция знака, составляющая его главную сущность. Для наименования этой основной функции знака нет более точного и более удобного термина, чем общепотребительный термин «значение». В. З. Панфилов справедливо указывает, что «если... значение слова есть отношение его материальной стороны к понятию или денотату, или тому и другому одновременно, то должно быть столько различных отношений этого рода, сколько существует различных лексических значений» (стр. 57). В действительности как раз столько различных знаковых отношений и существует. При этом, однако, речь должна идти не об общем типе отношений, который для всякого знака, действительно, «остается в принципе одним и тем же» (там же), а о конкретной направленности, конкретном содержании отношения, которое для каждого отдельного знака определяется его связью с особым, как правило, отличным от всех остальных классов обозначаемых сущностей. Это подчеркивает в другом месте своей книги сам В. З. Панфилов, отмечая, что «сами отношения могут носить разный характер лишь потому, что они есть отношения вещей, разный по своей качественной определенности» (стр. 65). Знаковое отношение как основная функция языкового знака, т. е. его значение, возникает и существует только в обществе носителей соответствующего языка, получая конкретное проявление в сознании и речевой деятельности отдельных индивидуумов. Вне общественного сознания значение как отношение знака к означаемому не существует, подобно тому как не существует и сам практически функционирующий языковой знак. Это отношение имеет сугубо идеальный характер и является результатом многовековой стихийной деятельности человеческого сознания. Поэтому невозможно согласиться с содержащимися в рецензируемой книге утверждениями, будто «трактовка значения языковой единицы как ее отношения к денотату приводит по существу к

устранению из языковой сферы идеального» и будто «тем самым из знаковой ситуации исключается и человек» (стр. 59). Как раз признание основным свойством лингвистического знака его отношения к обозначаемой сущности, понимаемого как значение знака, открывает самые широкие возможности для диалектико-материалистического истолкования взаимосвязи материального и идеального в области языкового знака.

Понимание значения как отношения языкового знака к обозначаемым объектам или их отражениям в сознании исключает философское отождествление значения с психическими образами (конкретными или обобщенными) обозначаемых объектов. При таком понимании за психическими отражениями объектов действительности сохраняется относительная независимость от языковых знаков и более непосредственная связь с самими отражаемыми и познаваемыми объектами. Роль языковых знаков сводится в таком случае только к закреплению в общественном сознании границ между различными классами отражений действительности, обеспечивающему возможность оперирования этими классами в процессах мышления, и к объективированию этих отражений с целью обмена мыслями в процессах языкового общения между людьми. Относительная независимость психических отражений действительности от языковых знаков, отсутствие обязательной неразрывной связи между психическими отражениями действительности и материальными субстанциями языковых знаков, которая давала бы основание считать психические отражения обозначаемых объектов идеальной стороной самих языковых знаков, подтверждается и фактами самого языка. К числу наиболее показательных из этих фактов принадлежит появление (особенно в теоретических рассуждениях) многочисленных понятий, для которых не имеется адекватных простых языковых знаков и которые в различных случаях выражаются при помощи отличающихся друг от друга описательных приемов. Не менее показательной в этом плане является и возможность обозначения одних и тех же понятий при помощи различных знаков одного и того же языка и особенно различных языков, что практически выводит каждое соответствующее понятие за рамки отдельно взятого языкового знака и делает каждый такой отдельный знак лишь случайной меткой понятия, существующего и независимо от него. То обстоятельство, что рассматриваемое таким образом понятие в других языках тоже обозначается при помощи языковых знаков, не может устранить факта относительной независимости выражаемого при помощи знаков других языков понятия от конкретного знака данного языка. Признание в философском плане

относительной независимости психических отражений действительности от языковых знаков, обоснованное логически и подтвержденное языковыми фактами, устраняет возможность прямолинейного отождествления мышления и языка, а также ошибочных представлений гумбольдтианского характера о принципиальной обусловленности характера мышления и мировоззрения народа специфической структуры его языка.

Признание знакового отношения к обозначаемым объектам действительности и их отражениям в сознании говорящих основной функцией знака, понимаемой как его значение и образующей идеальную сторону его сущности, вместе с признанием относительной независимости психических отражений обозначаемых объектов от языковых знаков предлагается в данном случае в качестве философской основы диалектико-материалистического понимания природы языкового знака. Это понимание не исключает других возможных точек зрения на характер взаимосвязи психических образов реальных объектов и соответствующих им лингвистических знаков. Природа участвующих в знаковой ситуации компонентов настолько разнообразна, и каждый из этих компонентов настолько сложен, что возможность различных аспектов их осмысления вполне закономерна. В общем комплексе совместимых точек зрения на взаимоотношение языкового знака и психического образа обозначаемого им объекта важное место принадлежит практическому (психологическому) восприятию этой связи говорящим субъектом. В процессе речи носители языка не воспринимают дистантного характера связи между знаком и обозначаемым психическим образом: эта связь в сознании говорящих практически превращается в теснейшую ассоциацию между знаком и обозначаемым им содержанием мысли. Поэтому с психологической точки зрения психическое отражение обозначаемого знаком объекта может рассматриваться в качестве содержания самого знака. Понимаемое в таком смысле содержание языкового знака (морфемы, слова, словосочетания, предложения) нередко называют значением. Но поскольку, как уже сказано, у знака имеется другое свойство, составляющее основную его функцию (его отношение к обозначаемому объекту и к психическому образу объекта), свойство, которому термин «значение» соответствует наиболее точно, смешивать этот термин с термином «содержание» знака представляется нецелесообразным.

Понятие содержания знака, отличное от понятия значения и вместе с тем от понятия психологического содержания, четко выделяется и в чисто лингвистическом аспекте, с точки зрения языковой структуры, условно абстрагируемой от

её внеязыковых связей. В этом аспекте языковые знаки могут рассматриваться не в их функциональных отношениях к обозначаемым ими внеязыковым сущностям, хотя эти отношения никогда не следует полностью упускать из виду, а в их соотношениях между собой в рамках языковой структуры. При этом могут учитываться соотношения различного характера и допускаться абстракции различных уровней. Так, каждый отдельно взятый языковой знак (в частности, морфема, слово, особенно непроизводное) как носитель определенной конкретной знаковой функции (значения) может рассматриваться в его соотношениях со всеми остальными знаками того же уровня данной языковой структуры. В таком случае объем знаковой функции (значения) данного языкового знака будет находиться в зависимости от общего количества знаков соответствующего уровня в данной языковой структуре и от конкретного распределения знаковых функций между имеющимися знаками. С этой точки зрения, знаковая функция каждого отдельно взятого языкового знака, рассматриваемого на одной структурной плоскости, на которой она определяется границами знаковых функций всех соседних знаков, может быть квалифицирована как содержание данного знака в его отношении ко всем остальным знакам того же уровня с их взаимно определяемыми содержаниями такого же типа. При подобном характере структурных отношений между знаками понятие значения и понятие содержания знака взаимно перекрываются. Другого рода соотношения устанавливаются между знаками низшего и высшего уровней, например, между морфологическими компонентами слова и целым словом, между компонентами сложного слова и целым сложным словом, между членами словосочетания и целым словосочетанием, между лексическими компонентами предложения и целым предложением. Соотносьсь между собой своими лингвистическими содержаниями, фактически представляющими собой связи с внеязыковыми объектами, знаки низшего уровня образуют сложное содержание знака высшего уровня, которое выступает уже не только и не всегда как транспонируемое в сферу языковой структуры значение (знаковое отношение к обозначаемому объекту), но и как результат внутривидового взаимодействия содержания знаков низшего уровня. Конституируемое таким образом содержание сложного знака не совпадает с его значением, но значение таких знаков в различной степени определяется их содержанием. В этом смысле сложный знак, в отличие от простого, является в той или иной степени мотивированным.

Изложенные соображения не претендуют на исчерпывающее освещение сложной проблематики, касающейся сущности

и взаимоотношений языкового знака, значения и содержания. Нельзя было ожидать этого и от книги В. З. Панфилова, задача которой не ограничивается рассмотрением указанной проблематики, так как она рассматривается здесь только в связи с другими более специальными вопросами. Цель настоящих замечаний заключается лишь в том, чтобы обратить внимание на необходимость учета не только содержания языкового знака как психического образа обозначаемого объекта, но и значения, т. е. знакового отношения к обозначаемому объекту как основной функции знака. Эти замечания не затрагивают основной, диалектико-материалистической, направленности излагаемой в рассматриваемой главе концепции знаковой природы языка, сущности развиваемых в ней принципиальных положений, касающихся характера языковой системы. В главе широко освещается проблема абстрактного и чувственно-наглядного мышления и убедительно аргументируется утверждение о том, что абстрактное мышление невозможно без языка (хотя отрицание необходимости языка для осуществления чувственно-наглядного мышления представляется слишком категоричным; ср. также стр. 145, 168, 273). Автор хорошо обосновывает положение о том, что «произвольность материальной стороны каждой языковой единицы не означает, что структура всей совокупности материальных сторон языковых единиц того или иного естественного языка никак не обусловлена характером той объективной действительности, в отношении которой эта совокупность функционирует как знаковая система» (стр. 55). Исходя из марксистского понимания сущности отношений между вещами, В. З. Панфилов рассматривает вопрос о природе языковой структуры и вскрывает несостоятельность структуралистской попытки истолковать структуру языка как сеть чистых отношений. В главе подвергаются критике и другие структуралистские или восходящие к структурализму взгляды, касающиеся методологии и методики лингвистических исследований, в том числе подход к лексическому значению как к набору элементарных смыслов, или семантических множителей (стр. 82—86), мнение о том, будто философски несостоятельный подход к языку может быть практически полезным (стр. 70—72) и др. Ряд важных положений обосновывается в связи с рассмотрением вопросов о соотношении лексических значений (отождествляемых автором с десигнатами) и понятий (стр. 86—89), о формах существования материальной и идеальной сторон языка (стр. 89—98).

Глава III «О некоторых универсалиях предложения, обусловленных функцией языка как средства осуществления и существования абстрактного обобщенного

мышления» (стр. 99—129) освещает общетеоретические вопросы о соотношении языковых универсалий и основных языковых функций (экспрессивной и коммуникативной), о противоречиях между языковой системой и экспрессивной функцией языка. В главе содержится обстоятельное рассмотрение различий между языками мира в формальных способах универсального для всех языков выражения субъектно-предикатной структуры суждения, представляющей собой различные логические варианты лежащего в ее основе неизменного суждения как пропозициональной функции (последняя состоит из *n*-местного предиката и аргументов, выражаемых подлежащим и дополнениями). Рассматривая эти формальные различия как возможные критерии типологической классификации языков и исходя из того, что суждение как пропозициональная функция находит свое выражение в синтаксическом уровне членения предложения (на члены предложения), а субъектно-предикатная структура суждения — в логико-грамматическом членении) которое, впрочем, тоже следовало бы относить к синтаксическому уровню)³. В. З. Панфилов приходит к важному для сопоставительно-типологического языкознания выводу о том, что «применительно к языкам аналитическо-агглютинативного типа будет справедливым по крайней мере то утверждение, что степень противопоставленности синтаксического и логико-грамматического уровня членения предложения в них будет меньшей, чем в синтетических языках» (стр. 126). Правильность этого вывода, как и утверждения о том, что «зависимость между структурой слова, структурой предложения и характером грамматических категорий имеет каузальный характер» (стр. 128), не вызывает сомнений.

Глава IV «Категория качества в мышлении и языке» (стр. 130—157) представляет собой обзор разнообразного материала из многих языков мира, касающегося вопроса о способах выражения категории качества в языке, а также вопроса о генезисе этой категории и способов ее выражения. Автор исходит из того, что «категория качества, предшествуя категории количества, по началу своего формирования в процессе исторического развития мышления человека, вместе с тем выступает и как начальный этап познавательной деятельности человека» (стр.

132). Рассмотрение материала в этой главе имеет не столько философский, сколько чисто лингвистический характер. В главе показано, что в современных языках слова, обозначающие качественные признаки предметов, занимают различное положение в системах частей речи. В одних языках (индоевропейские, тюркские и др.) они характеризуются именными чертами, в других (многие языки Юго-Восточной Азии, нинхский и др.) по своим грамматическим свойствам они тяготеют к глаголу (стр. 139). Установленное уже в предыдущих исследованиях автора и подтвержденное в рецензируемой книге дополнительными фактами происхождение названий качества (в частности, имен прилагательных) от названий предметов В. З. Панфилов рассматривает как языковое отражение одного из путей развития самой категории качества в первобытном мышлении. «В процессе выделения того или иного качественного признака предмета, — говорится в книге, — в результате сравнения какой-либо из предметов начинает выступать как его наиболее характерный носитель, т. е. как своего рода эталон, с которым отождествляются по соответствующему качественному признаку другие предметы. Поэтому название этого предмета вместе с тем выступает и как название того качественного признака, эталоном-носителем которого он является» (стр. 152). Вместе с тем В. З. Панфилов обращает внимание на то, что именно происхождение качественных обозначений в языках не является единственно возможным путем их развития, так как факты ряда языков указывают на происхождение имеющихся в них качественных названий от первичных синкретичных глаголов. По мнению автора, такое происхождение качественных названий дает основание для предположения, что оно обусловлено «пониманием качественного признака не как статичного, а как процессуального признака» (стр. 155). Это предположение может быть дополнено указанием на возможную обусловленность такого понимания качественного признака специфическими процессами развития морфологической структуры языка.

Большое и важное место в рецензируемой книге занимает последняя ее глава — «Категория количества в мышлении и языке» (стр. 158—285). Автор напоминает, что содержание категории количества как результата отражения количественной определенности бытия представляет собой единство двух моментов — числа и величины. «Категория количества разнообразными грамматическими и лексическими средствами получает свое выражение во всех современных языках» (стр. 161). В книге анализируется главным образом генезис и эволюция числовых лексических обозначений и катего-

³ Подробнее см.: А. С. Мельничук, Порядок слов и синтаксическое членение предложений в славянских языках, Киев, 1958, стр. 56—57; его же, Взаимодействие грамматических единиц различных уровней в рамках предложения, «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 165—166, 172—175.

рии грамматического числа. Автор отвергает точку зрения, согласно которой становление категории количества начинается с непосредственного чувственного восприятия количества конкретного множества. Он указывает на то, что непосредственное восприятие количества возможно лишь в тех случаях, когда множество состоит не более чем из 7—9 предметов. Этим, в частности, объясняется то большое место, которое занимает число «семь» в мировоззренческих представлениях первобытных людей. Автор присоединяется к мнению И. С. Тимофеева, согласно которому «в чувственно-непосредственном восприятии количества по существу еще нет перехода от качества к количеству» (стр. 168). Следующий этап в становлении категории количества представлял собой выбор того или иного множества конкретных предметов в качестве эталона или эквивалента, по отношению к которому устанавливалась равночисленность других конкретных множеств. Выделение таких эталонов привело к возникновению понятий об определенных количествах, т. е. числах. В качестве названий возникающих понятий об определенных количествах использовались названия множеств-эталонов (например, руки для обозначения числа «пять»), названия соответствующих членов множеств-эквивалентов, выражение, указывающее на движение, совершаемое при достижении определенного числа в процессе счета и т. д. Все эти способы прослеживаются в этимологиях названий чисел в различных языках. В работе отмечается непосредственная связь названия числа «один» во многих языках с местоимениями как свидетельство формирования понятия «один» в связи с процессом выделения человека из окружающей действительности. Важное значение для сравнительно-исторических исследований имеет установленная в книге возможность образования параллельных обозначений одного и того же числа в одном и том же языке (стр. 182—185). В свете этой возможности наличие этимологических расхождений в обозначении простых чисел между родственными языками не дает оснований для вывода об отсутствии названия соответствующего числа в праязыке. На основании данных ряда языков делается вывод о существовании такого этапа в развитии категории количества, когда возникшие числовые обозначения употреблялись только в сочетании с названиями тех или иных конкретных предметов счета. Этот вывод подтверждается наличием во многих языках числительных, которые включают в свой состав не только собственно количественные обозначения, но и

компоненты, возводимые к названиям предметов счета (в связи с чем числительные в каждом таком языке объединяются в различные системы), а также суффиксов-классификаторов, слов-классификаторов или счетных слов. Следующим этапом в развитии категории количества был переход от предметных числительных к числительным, употребляющимся при абстрактном счете. В главе рассматриваются также вопросы о происхождении систем счета (пятеричной, десятеричной и т. п.) в различных языках, о ступенях развития счета (постепенном увеличении осознаваемых количеств, начиная с «одного»), о времени возникновения понятия порядкового числа по отношению к количественному и об отражении этого соотношения в категории порядкового числительного, о соотношении категории количества и категории грамматического числа существительных, о значениях форм множественного числа и типах множеств и др. Рассматриваемая глава представляет собой блестящий образец исследования конкретных языковых данных, направленного на восстановление исторических процессов развития мышления. Из всех категорий мышления автору удалось выбрать такую, развитие которой, по-видимому, оставило наиболее четкие следы в доступных наблюдениям многочисленных фактах языков мира. Это делает рассматриваемую главу существенным вкладом в диалектико-материалистическую разработку общей проблемы взаимосвязи языка и мышления в их историческом развитии.

Книга В. З. Панфилова отразила современное состояние марксистско-ленинской разработки ряда основных философских вопросов языкознания, и в первую очередь вопроса о взаимоотношении языка и мышления. В книге дается авторская оценка существующих мнений по этим вопросам, в большинстве случаев убедительная и заслуживающая полной поддержки, в отдельных случаях дискуссионная, вызывающая необходимость взаимных уточнений. В результате своего исследования автор получает ряд новых выводов, по-новому формулирует ряд положений, подвергает аргументированной критике немарксистские взгляды на природу и общественное функционирование языка, четко ставит актуальные философские вопросы языкознания, требующие дальнейшей разработки. Все это дает основание оценить рецензируемую книгу как значительное явление в современной советской философско-лингвистической литературе.

Мельничук А. С.

Р. А. Будагов. Что такое развитие и совершенствование языка? —
 М., «Наука», 1977. 264 стр.

Проблемы, связанные с развитием и совершенствованием, или прогрессом в языке, имеют первостепенное и определяющее значение не только для истории, теории, типологии и методологии исследования практически любого лингвистического явления в любом языке, но в ряде случаев дают возможность предсказать будущее того или иного языка¹: в зависимости от того, как лингвист относится к этим проблемам — игнорирует ли их или принимает во внимание и в какой мере, как он понимает само развитие² и совершенствование в языке — становится возможным или невозможным научный подход к языку вообще.

Хотя еще со времени создания компаративистики лингвисты в своих конкретных исследованиях постоянно говорят о развитии, эволюции в языке, до сих пор нет достаточной ясности в теоретическом осмыслении этого процесса. Известно, например, что некоторые ученые объясняют многие лингвистические процессы не эволюцией, а различными функциональными перестановками в рамках одного и того же временного среза (А. Мартине, Э. Косериу). В этой связи встает вопрос о соотношении синхронии и диахронии (некоторые лингвисты видят в этой дихотомии просто различные стороны рассматриваемого языка, а не его качественные характеристики, как это делал Соссюр) и особую важность приобретает проблема лингвистического времени вообще, которая непосредственно связана с понятием развития. Встает также вопрос о соотношении между свободой и необходимостью в языке и др.

Что же касается феномена совершенствования, прогресса в языке, то многие лингвисты (да и не только лингвисты) вообще занимают здесь отрицательную позицию³, нередко сосылая при этом на невозможность существования «лучших» и «худших», более «красивых» и менее «красивых», языков. В связи с этим Р. А. Будагов указывает, что «проблема исторического совершенствования языков не имеет, разумеется, ничего общего ни со школьным пониманием „красоты слога“, ни с таким истолкованием катего-

рий языка, которое будто бы позволяет определить „лучше“ ли, „хуже“ ли категория рода или категория падежа, категория времени или категория вида» (стр. 4).

Рецензируемая монография Р. А. Будагова состоит из «Вводных замечаний» (стр. 3—6), восьми глав: 1. «С какими трудностями сталкивается теория совершенствования языка?»; 2. «Совершенствование языка в области лексики»; 3. «Совершенствование языка в области грамматики»; 4. «Историческое совершенствование научного стиля изложения»; 5. «Научно-техническая революция и процесс совершенствования языка»; 6. «Эстетические возможности языка»; 7. «Проблема развития языка в некоторых направлениях структурализма»; 8. «Что означает словосочетание „современная лингвистика?“», «Заключительных замечаний» и «Приложения».

Как указывает автор, из отрицания возможности совершенствования языков неизбежно следовали бы два глубоко ошибочных вывода: во-первых, что языки якобы не связаны с культурой тех народов, которые на них говорят, ибо культура обычно и развивается, и совершенствуется; во-вторых, что любые изменения в языке якобы являются результатом «оголоворащения», т. е. движения по кругу. В этом последнем случае автоматически переносят законы природы на законы развития общества, общественных отношений и категорий.

В тех же случаях, когда возможность прогресса в языке все же признается, понятие «совершенствование», как верно отмечает автор, обычно сводится к чисто внешним показателям: прогрессом объявляется как увеличение, так и уменьшение количества слов в процессе истории языка, появление как аналитического, так и флективного строя в морфологии⁴ (ср. работы О. Есперсена). Выдвигается даже особая «теория двух периодов» развития языка, согласно которой в далеком прошлом развитие языка произошло якобы наиболее интенсивно, а по мере приближения к новому времени все более затухает: история оборачивается как бы «врагом» языка, его «разрушителем», ибо богатство языка усматривалось прежде всего в богатстве его флексий, а утрата последних считалась «порчей» языка (А. Шлейхер). Подобная постанов-

¹ Ср.: V. T a u l i, Introduction to a theory of language planning, Uppsala, 1968.

² Ср.: M. L e r o y, Sur le concept d'évolution en linguistique, Bruxelles, 1950; M. L. S a m u e l s, Linguistic evolution, Cambridge, 1975; H. B r i n k m a n n, Sprachwandel und Sprachbewegungen in althochdeutscher Zeit, Jena, 1931.

³ Ср.: M. G i n s b e r g, The idea of progress, London, 1953.

⁴ Ср.: O. J e s p e r s e n, Progress in language with special reference to English, London, 1894; L. V a l d, Progresul in limba, București, 1969; J. E n g e l s, Y-a-t-il progrès dans le langage, «Neophilologus», 1956, 4; M. M. M a k o v s k i j, Понятие лингвистического времени, «Ин. яз. в шк.», 1976, 6.

ка вопроса может лишь «оправдать» то или иное развитие языка, но не объяснить его причины, отделить типичное от случайного и второстепенного, характерное от нехарактерного.

«Прогрессом» в языке нередко считается и так называемая «экономика усилий» (принцип «от более трудного к менее трудному»), что, как убедительно показывает автор, совершенно не оправдано, особенно по отношению к лексике и грамматике (стр. 94). Как верно отмечает автор, «изобилие в языке бывает результатом не только его богатства, но и бедности» (стр. 5). При этом Р. А. Будагов дает ответ тем противникам теории прогресса в языке, которые ссылаются на «невозможность установить определенную точку отсчета, по отношению к которой можно было бы говорить о прогрессе в языке. Как отмечается в рецензируемой книге, «... здесь не может быть ни общего рецепта, ни общей схемы. Все зависит от конкретных условий формирования тех или иных языков» (стр. 23); в переломные эпохи жизни отдельных языков прогресс может быть обнаружен на протяжении одного-двух десятилетий, но в других случаях для этого может требоваться столетие или несколько столетий. При этом прогресс языка иногда чередуется с его упадком, регрессом. Как подчеркивает автор, «хотя все языки подчиняются общим законам бытования и исторического движения, расхождения между ними обнаруживаются в самом процессе их же развития» (стр. 32). В этой связи автор удачно приводит следующее высказывание Н. Г. Чернышевского: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри» (стр. 6).

Нисколько не отрицая определенного значения чисто количественных показателей, Р. А. Будагов на протяжении всей своей книги стремится акцентировать к а ч е с т в е н н ы е изменения в истории различных языков, стремится показать, как «язык в процессе своего развития начинает предоставлять людям все большие и большие возможности для передачи их мыслей и чувств, для приближения к соответствию между миром слов и миром понятий» (стр. 5—6). При этом, как нам представляется, следует особенно иметь в виду то обстоятельство, что не в всякое изменение в языке есть развитие и не всякое развитие обязательно связано с изменением.

Нельзя упрощать или вульгаризировать и понятие совершенствования в языке. Недопустимо считать, что всякое изменение в языке сейчас же обуславливает его совершенствование. В этой связи в книге справедливо отмечается, что «в отличие от общего движения в истории процесс развития языков, как и процесс

развития культуры, — это не только процесс всевозможных изменений, но и процесс укрепления прошлого состояния различных языков. Здесь новое обычно опирается на старое и вместе с тем обогащает это старое... но подобное „старое“ выступает в языке как новое» (стр. 5). Одни языки получают более благоприятные социальные условия для своего развития, а другие — менее благоприятные или совсем неблагоприятные. В связи с этим тезис о наличии в мире более развитых и менее развитых языков никак не противоречит тезису о принципиальном единстве и равенстве природы всех языков.

В книге Р. А. Будагова высказывается мысль о том, что языку, наряду с системностью, свойственна и анти системность: «единство системных и антисистемных тенденций в языке обусловлено не только природой самого языка, но и его историческим прошлым. Подобное единство — не недостаток языка, как часто считают, а одна из его могучих творческих сил, ведущая к постоянному совершенствованию языка» (стр. 185)⁵.

Проблеме эволюции языка, как отмечает автор, не следует упрощать. В свое время Ш. Балли отмечал, что любой язык может функционировать лишь в той мере, в какой он не изменяется, хотя в каждую данную эпоху он непременно изменяется. Это противоречие, однако, легко снимается: говорящие выражают свои мысли и чувства с помощью «непрерывного» языка, но в то же время этот язык может находиться в «прерывном» движении за пределами протекающего на наших глазах разговора.

Переходя ко второй главе монографии и к выяснению вопроса о развитии и совершенствовании языка в области лексики, Р. А. Будагов подчеркивает, что это движение определяется «противоречием между ее возможностями в каждую историческую эпоху и растущим стремлением людей выразить свои мысли и чувства адекватнее, стилистически разнообразнее и логически точнее» (стр. 89). Он указывает, что «процесс развития лексики неотделим от процесса ее исторического совершенствования, разумеется, при условии, если развивается вся культура народа, говорящего на данном языке» (стр. 60). Приводя афоризм А. Франса («словарь — это целый мир в алфавитном порядке»), автор добавляет, что

⁵ См. также: Р. А. Будагов, Система и антисистема в науке о языке, ВЯ, 1978, 4. Ср.: М. М. М а к о в с к и й, Соотношение необходимости и свободы в лексико-семантических преобразованиях, ВЯ, 1977, 3; его же, Текстология и лексико-семасологические исследования, ВЯ, 1978, 3.

«словарный мир» всегда находится в движении, причем «в движении по пути все большего и большего совершенствования» (стр. 90). Он конкретизирует эти положения и указывает, в частности, на то, что лексическая полисемия — органическое свойство всех языков, на всех этапах их функционирования — имеет совершенно различный характер и неодинаковую типологию (это относится и к другим средствам дифференциации и группировки значений) в зависимости от общего уровня развития языка, от его общей культуры, от особенностей его письменной традиции (старой или молодой, однообразной или многообразной по жанрам)» (стр. 41). На большом фактическом материале автор показывает, что «полисемия современных языков качественно отличается от полисемии древних языков... Полисемия новых языков — шаг вперед по сравнению с полисемией старых языков» (стр. 42). «На смену „разбросанной“ полисемии старого языка приходит более „собранный“ полисемия нового языка» (стр. 60). Следует добавить, что лексико-семантические отношения в древних языках вообще, как правило, качественно и количественно отличны от аналогичных отношений в более поздние периоды, что, к сожалению, не всегда учитывается при конкретных семасиологических и этимологических исследованиях.

В плане изучения прогресса в языке Р. А. Будагов обращается также к проблеме смысловой дифференциации между разными, но сходными по употреблению словами и к проблеме дифференциации разных значений в пределах полисемантического слова. Он справедливо отмечает, что развитие значений слов не может быть случайным; кроме того, не подлежит сомнению, что «развитие лексики любого языка происходит по-своему так же закономерно, как и развитие его грамматики, его фонетики» (стр. 59). К признакам совершенствования лексики автор относит и принцип взаимодействия логического и чувственного «начал» в слове: «в процессе исторического развития языков мира в самих языках постепенно вырабатываются такие средства, которые в состоянии передавать не только логику и логические категории, но и все многообразие человеческого чувства и эмоций» (стр. 71).

Уже приведенные соображения автора ясно показывают, насколько ошибаются те исследователи, которые сводят процесс совершенствования лексики к механическому накоплению в языке новых слов (особенно заимствований) или к изменению значений старых слов. Дело в том, что не всякие новые слова действительно способствуют совершенствованию лексики. Что же касается семантики, то здесь необходимо учитывать не только опреде-

ленную лексико-семантическую «среду», в которой выступает данное значение, непосредственные импульсы внутри данной языковой системы, которые обусловили или могут обусловить именно данное семантическое движение, но и характер жизни, быта, культуры людей определенной эпохи, которые накладывают неизгладимый отпечаток на значение используемых в эту эпоху лексических единиц⁶. Изучение отдельных слов помогает выявить типы семантических преобразований, направление развития отдельных слов в определенную эпоху свидетельствует о направлении развития словарного состава языка в целом. Здесь проявляется неразрывное диалектическое единство отдельного и общего.

Необходимо вместе с тем отметить, что, как нам представляется, отдельные слова в языке могут обладать одним или несколькими индивидуальными признаками и одновременно подчиняться или не подчиняться (или частично подчиняться) общесистемным закономерностям. Наличие какого-либо признака или свойства само по себе еще ничего не говорит об онтологическом смысле того процесса, показателями которого они являются: один и тот же признак может быть показателем самых различных феноменов, а один и тот же феномен может реализовываться неодинаковыми показателями. Важно, с нашей точки зрения, иметь в виду и то обстоятельство, что в языке, наряду с вариативностью отдельных фонетических, грамматических и лексико-семантических реалей, наблюдается и вариативность целых групп элементов, сосуществующих и последовательных: одна и та же функциональная модель может быть представлена различными комбинациями одних и тех же или других элементов, а разные функциональные модели нередко реализуются в рамках внешне одинаковых комбинаций. При этом свобода и необходимости вариативности отдельных реалей, видимо, неотделимы от свободы и необходимости групповых функциональных моделей, в чем, в частности, и проявляется диалектика развития и синхронного сосуществования элементов языка. Весьма важно положение Р. А. Будагова о том, что понятия «конкретного» и «абстрактного» на одном этапе развития языка существенно отличаются от аналогичных понятий на другом этапе движения языка, так что в подобном процессе не следует, как это обычно делается, усматривать круговорот. Он пишет: «Языку так же нужны конкретные слова, как и абстрактные. Вопрос в том, что это за конкретные слова, что это за абстрактные слова, в одну эпоху в отличие от других эпох» (стр. 76).

⁶ Ср.: «Deutsche Wortgeschichte», 3-те Aufl., hrsg. von F. Maurer und H. Rupp, I-III, Berlin, 1974—1975.

В последующих главах своей книги Р. А. Будагов подробно рассматривает возможности совершенствования языка в области грамматики [он отмечает, в частности, что в процессе развития совершенствуются и уточняются грамматические ресурсы языка, причем успех оказывается «на стороне средств, обеспечивающих ясно выраженную дифференциацию особенно важных в функциональном отношении категорий» (стр. 102) независимо от их количества; «передавая определенные функции, ранее ей принадлежавшие, стилистике, грамматика точнее обрисовывается в своих контурах, в своих категориях» (стр. 117); грамматика имеет общественную функцию и не может рассматриваться как совокупность «чистых» абстрактных отношений и др.]. Далее анализируется прогресс языка в области научного стиля [справедливо подчеркивается, в частности, что «само историческое формирование научного стиля изложения, непосредственно связанное с формированием человеческой культуры, во многом было обусловлено отношением людей к окружающему их миру» (стр. 141), что развитие научного стиля изложения, который на протяжении ряда веков складывался как нечто сравнительно целостное, находится в зависимости от определенного воздействия писателей и ученых на язык и др.].

Весьма своевременны соображения автора относительно влияния на язык научно-технической революции. Он показывает несостоятельность вульгарного толкования такого воздействия, в соответствии с которым язык отождествляется с производством, как, в равной мере, и недопустимость противоположного — отрицания соотношения языка и действительности. В связи с наметившейся в последнее время тенденцией отождествлять язык с другими «знаковыми системами», подготавливать языковые явления под определенные заранее данные шаблоны Р. А. Будагов напоминает, что «в сходном (системные отношения в разных общественных явлениях) обычно имеется и несходное, специфичное для одной, более жесткой и одноплановой системы и неспецифичное, а иногда и явно нехарактерное для другой, гораздо более сложной, подвижной и многоплановой системы» (стр. 177—178). Автор выступает за строгое различие формализации языка и формализации приемов исследования языка, а также различие языковой и внеязыковой структуры. Он подчеркивает своеобразную неповторимость языковой структуры и, в частности, структуры отдельных конкретных языков и отдельных уровней этих конкретных языков (грамматики, лексики, фонетики).

Специальная глава рецензируемой книги посвящена эстетическим возможностям языка, под которыми автор имеет в виду

«осознательное отношение говорящего или пишущего не только к тому, что он говорит и о чем пишет, но и к тому, как говорит и как пишет» (стр. 196). При этом он различает эстетику языка (имеются в виду его ресурсы и возможности) и эстетику речи, имеющую дело с реализацией подобных ресурсов и возможностей в том или ином тексте, у того или иного писателя или просто пишущего человека, понимающего особенности родного или очень близкого ему языка.

Актуальность и своевременность предложенного Р. А. Будаговым подхода к лингвистике как к науке о человеке и для человека становятся особенно очевидными на фоне постулируемого структуралистами вневременного истолкования языка, противопоставления теории и истории, рассмотрения языка как замкнутой и обособленной от всего «внешнего» системы. Структуралистский подход к проблеме развития совершенно исключает из поля зрения лингвиста целый ряд центральных общезыковедческих вопросов, отражающих основные признаки и особенности языка. К таким относится, в частности, проблема *причинности* в языке: младограмматический принцип *post hoc, ergo propter hoc* давно скомпрометировал себя⁷, хотя он до сих пор остается методологической основой во многих фонетических (фонологических), семасиологических и этимологических исследованиях. Понятие порядка, играющее огромную роль в становлении, развитии и существовании языковых феноменов, к сожалению, почти не разработано⁸.

Вопросы первичного и вторичного в языке встают и при рассмотрении целого ряда других важнейших лингвистических проблем — изменения значений, звуковых переходов, заимствований, словообразования и др. — но к сожалению, нередко решаются в духе принципа *post hoc, ergo propter hoc*, т. е. произвольного истолкования языковых фактов, объявляющего развитием процессы, ничего общего не имеющие с эволюцией, и отрицающего развитие там, где оно действительно имело место. В этой связи важны точные формулировки Р. А. Будагова относительно принципа историзма в лингвистике: «Принцип историзма в лингвистике вовсе не означает, что любое явление, любой факт в языке сам по себе детерминирован исторически»⁹ (стр. 227). «Принцип

⁷ Ср. сб. «The nature of causation», ed. by M. Brand, University of Illinois Press, 1976.

⁸ Ср. сб. «The concept of order», ed. by P. G. Kuntz, Seattle — London, 1968.

⁹ В качестве примера можно указать на разного рода контаминации в языке (контаминацию слов и значений при переписке рукописей, контаминацию значений внешне сходных, но в действитель-

историзма означает другое. Язык как специфическое общественное явление возникает исторически, причем уровень его развития обуславливается уровнем развития общей культуры народа, говорящего на данном языке. Синхрония вырастает из диахронии, хотя на каждом этапе своего движения первая сохраняет известную самостоятельность по отношению ко второй (здесь-то и действуют такие виды причинности, как функциональная, структурная и др.)» (стр. 228), «Развитие — форма существования языка», а не внешний по отношению к языку фактор; законы языка «не могут быть отделены от его развития в такой же степени, как и от современного функционирования» (стр. 229—230).

Таким образом, основной пафос рецензируемой книги Р. А. Будагова состоит в противопоставлении неопровержимой

ности различных лексем, контаминацию слов с полярными значениями и др.). Ср.: A. E r n o u t, *Rencontres de sens*, «Philologica», II, Paris, 1957, а также статью Я. Малькиеля в «Revue roumaine de linguistique», 20, 1975, 4—5.

«Русский язык — язык межнационального общения и единения народов СССР». — Киев, «Наукова думка», 1976. 254 стр.

В рецензируемой коллективной монографии, выполненной отделом русского языка Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР совместно с Институтом русского языка им. А. С. Пушкина, Киевским и Черновицким госуниверситетами и Киевским педагогическим институтом, ставится задача творческого обобщения достижений современного отечественного языкознания в разработке проблемы функционирования русского языка как языка межнационального общения в нашей стране. Книга содержит также описание ряда полученных авторами общих и частных данных, относящихся к характеристике особенностей языковой ситуации в советском обществе.

Монография состоит из шести разделов, главы которых написаны разными авторами, но подчинены в основном единой концепции и служат реализации одной задачи — в свете ленинского учения о равноправии всех наций и языков охарактеризовать роль русского языка в развитии и упрочении единства социалистических наций.

В первом разделе «Ленинское учение о развитии национальных языков и его воплощение в жизни народов СССР» (автор — И. К. Белодед) характеризуется ленинская национальная политика, теория и практика национально-языкового

языковой реальности неопозитивистским и структуралистским концепциям, впрямую искажающим языковую реальность и вносящим большую путаницу в рассмотрение и без того сложного вопроса развития языка. В противоположность этим концепциям, нередко незаслуженно именуемым «современная лингвистика», Р. А. Будагов не только ставит факты «с головы на ноги» (он, в частности, подчеркивает недопустимость абсолютирования, гипостаивания тех или иных языковых явлений или процессов в ущерб другим), но и показывает бесперспективность исключения понятия развития при рассмотрении языка, ибо как раз это понятие и составляет сердцевину огромного числа языковых явлений.

Именно потому, что в рецензируемой книге Р. А. Будагова поднимаются и по-новому освещаются наиболее существенные процессы в жизни языка — органическая связь языкового развития и совершенствования, нередко игнорируемая или искажаемая, — эта книга, несомненно, вызовет живой интерес самых широких кругов лингвистов.

Маковский М. М.

строительства в социалистическом обществе. Указав на пристальное внимание классиков марксизма-ленинизма к проблеме развития языков в многонациональных и многоязычных государствах, на специальное изучение В. И. Лениным языковой ситуации в ряде многонациональных стран, автор отмечает, что борьба за свободное развитие национальных языков народов является одним из важнейших вопросов ленинской теории социалистической революции, что нашло свое фундаментальное отражение в программе Коммунистической партии по национальному вопросу (стр. 5).¹ Автор говорит о борьбе В. И. Ленина и Коммунистической партии «за престиж и права национальных культур (в ленинском понимании содержания культуры) и языков всех народов», подчеркивая, что при благоприятных условиях «эти языки могут достичь высокого уровня в своем развитии и быть орудием в борьбе за национальный прогресс» (стр. 8). Борьба украинского народа против паризма квалифицировалась В. И. Лениным как движение «к свободе и к родному языку»¹.

В то же время еще в дореволюционные годы В. И. Ленин обращает внимание на

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 30, стр. 190.

роль русского языка как языка межнационального общения в многоязычном государстве и борется за устранение препятствий, затрудняющих «великому могучему русскому языку доступ в другие национальные группы»², подчеркивает значение русского языка как средства единения народов в их борьбе за социальные и национальные права, роль этого языка в осуществлении культурной революции в России.

В результате осуществления ленинской политики языковая ситуация СССР отличается гармоническим сочетанием функций национальных языков и русского языка как языка межнационального общения и единения. Автор говорит об отражении этого положения в программе КПСС³ и в Конституциях СССР и союзных республик, о своеобразии единой советской социалистической культуры, об общенациональной и национальной гордости советских людей.

Действенным средством межъязыковой коммуникации является также общая письменность и общий для многих языков языковой фонд (например, социалистических интернационализмов).

Важнейшей особенностью современного процесса языкового развития является, по справедливому мнению автора, «консолидация национальных литературных языков, выработка монолитности их структуры... Одновременно в языках социалистических наций вырабатываются черты общности определенных компонентов их структуры и общественных функций». Этот процесс наблюдается и в развитии и взаимодействии других языков мира, однако «в социалистическом обществе он имеет целенаправленный характер, базирующийся на социальных и научных прогнозах развития многонационального общества» (стр. 16).

В заключительной части раздела И. К. Белодед, подчеркивая национальную специфику языков народов СССР, говорит о роли русского языка в качестве могучего фактора дружбы и единения всех социалистических наций СССР: «В языковой жизни социалистических наций и народностей СССР по добровольному желанию, по закону дружбы и сплоченности выработалось гармоничное двуязычие: действие функции русского языка как языка межнационального общения, дружбы и единения и многогранных функций языков народов СССР» (стр. 19).

Второй раздел «Роль русского языка в упрочении содружества и единения социалистических наций СССР» (автор — Г. П. Ижакевич) повествует о богатстве и выразительности русского языка, о роли русского языка в общественно-политиче-

ской и экономической жизни народов СССР, о взаимодействии русского языка с другими языками народов СССР в процессе развития единой социалистической культуры. Здесь также особо акцентируется значение русского языка в образовании общего лексического фонда языков народов СССР. При этом в разделе четко реализуется двусторонний — социальный и (во взаимосвязи с ним) лингвистический подход к рассмотрению вопроса о роли русского языка в советском обществе. Автор специально останавливается на вопросе о значении русского языка в общественно-политической и экономической жизни народов СССР, в частности украинского народа, говорит о роли русского языка в историческом развитии близкородственного украинского языка, акцентируя при этом внимание не только на социальных, но и собственно лингвистических факторах, обуславливающих влияние русского языка на украинский язык.

Напомнив слова В. И. Ленина о роли русского языка как могущественного проводника передовой и богатой русской культуры, автор говорит о своеобразии исторического развития русского языка, о сложных диалектических процессах, в результате которых русский язык «приобрел качества, поставившие его в ряд наиболее богатых и совершенных языков мира, вошел в ранг мировых языков» (стр. 22).

Охарактеризовав заслуги А. С. Пушкина, классиков русской литературы (Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова), выдающихся представителей русской революционно-демократической публицистики (В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена) в развитии русского языка, автор подчеркивает, что русский язык в ходе исторического развития «не только развил до совершенства свои стилистически-выразительные средства, но и выработал стройную систему лексических и структурно-синтаксических единиц» (стр. 25). Укреплению позиции русского языка как языка межнационального общения, — функции, прежде всего социально обусловленной, способствует сравнительная внутренняя однородность русского языка, которая «находит свое выражение в фактической монодиалектности языка, близости его разговорной и письменной речи, а также в незначительном расхождении между написанием и произношением» (стр. 31). В разделе подчеркиваются особенности советского общественно-политического и экономического строя, усилившего экономическую консолидацию братских народов нашей страны и вызвавшего рост их взаимного сотрудничества.

Главными условиями создания и развития единой социалистической культуры

² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 295.

³ «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1975, стр. 115.

советского народа являются общность экономического базиса, общественно-политической жизни и единая марксистско-ленинская идеология. Однако образование единой социалистической культуры народов СССР не означает отрицания в ней национального: «русский язык как язык межнационального общения народов Советского Союза не вытесняет, не ассимилирует языки национальных республик, а употребляется параллельно с ними и выполняет свои собственные общественные функции» (стр. 31—32).

Активное взаимодействие и взаимообогащение русского и национальных языков оказывает огромное положительное воздействие на формирование и укрепление единой социалистической культуры советского народа. Одним из важнейших последствий взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР является создание общего лексического фонда языков народов СССР, ведущая роль в формировании которого принадлежит русскому языку. Особый интерес представляет конкретизация понятия «общий лексический фонд языков», отнюдь не тождественного понятию «интернациональная лексика», которая хотя и входит основной своей частью в состав общего лексического фонда, однако ни в коей мере не совпадает с ним (стр. 51). Автор указывает, что общий лексический фонд гораздо богаче интернациональной лексики по своему качественному и количественному составу. Он перечисляет элементы общего лексического фонда языков народов СССР; это слова, характеризующие: 1) общественно-политический строй Советского Союза; 2) экономику СССР; 3) развитие науки и техники; 4) достижения единой по содержанию советской социалистической культуры; 5) международную жизнь; 6) быт. В состав общего лексического фонда включаются также топонимика, антропонимика, новейшая этнонимика, ономастика в целом.

В третьем разделе рецензируемой книги освещается вопрос о роли языков народов СССР в обогащении лексических и стилистически-выразительных средств русского языка. Автор раздела Г. П. Ижакевич говорит о том, что русский язык, являясь неисчерпаемым источником обогащения, особенно лексического, языков народов СССР и, в частности, украинского языка, «в то же время сам черпает из словесной сокровищницы национальных языков народов СССР необходимые ему лексические, фразеологические и стилистически-выразительные средства» (стр. 63). Автор справедливо указывает на двусторонний характер процесса обогащения языков народов Советского Союза.

В подтверждение тезиса о двустороннем характере процесса обогащения русского и украинского языков автор рассматривает стилистические особенности художественных произведений писателей

национальных республик. При этом отмечается, что «важным источником ... стилистического обогащения русского языка являются ... переводы национальных художественных произведений на русский язык, ... во многих случаях авторизованные» (стр. 78).

Особый интерес для современной социолингвистики и лингводидактики представляет четвертый раздел «Функционирование русского языка на Украине». В этом разделе рассматриваются особенности функционирования генетически родственного русского языка в общественно, культурной и языковой жизни Украины; здесь говорится также о перспективах дальнейшего развертывания научно-исследовательской работы по проблеме «русский язык в близкородственном языковом окружении». В разделе выделены два аспекта проблемы. Сначала характеризуется проблема культуры русской устной речи в условиях генетической общности русского и украинского языков на уровне орфоэпии, вокализма, консонантизма и синтаксиса, а также вопрос о формировании устной русской речи в начальной школе УССР.

В подразделе «Культура письменной речи» речь идет о своеобразии языка и стиля русской художественной литературы Украины. Авторы показывают на конкретном материале, что в советское время язык и стиль русской художественной литературы на Украине характеризуется двуаспектностью. С одной стороны, он развивается в общем русле основных тенденций и процессов, характеризующих стиль советской русской художественной литературы в целом. С другой стороны, «язык русской художественной литературы Украины, функционирующий параллельно и в тесном взаимодействии с языком украинской художественной литературы, имеет особенности, обусловленные тесной, неразрывной связью русской и украинской художественных литератур» (стр. 153).

В рецензируемой монографии значительный интерес представляет освещение вопроса о взаимодействии русского и украинского языков в процессе обучения. Особенности этого взаимовлияния обусловлены тем, что русский и украинский языки имеют общую генетическую основу, а также своеобразием дальнейших исторических контактов этих языков. Особо подчеркивается необходимость выработки умения сравнивать и различать сходные факты и специфические особенности в языковых системах и в речевом строе родственных языков. Выработка подобного умения должна «предостеречь от ... перенесения форм одного языка в другой», что психологически неизбежно (стр. 182). Важными аспектами работы при параллельном преподавании русского и украинского языков являются, по мнению авторов, изучение «взаимодействия

этих языков на протяжении всей истории их развития», воспитание «чувства любви и уважения к ним, ... чувства эстетики языка, понимания его силы и красоты, его музыкальности, ритма, мелодики, логики, умения свободно владеть и пользоваться им...» (стр. 189). Авторами отмечаются все более интенсивные и двусторонние русско-украинские лексические контакты советского периода, особенно в настоящее время, в эпоху научно-технической революции, — в области терминологии.

В пятом разделе «Роль русской лексикографии в создании словарей языков народов СССР (на материале украинской и белорусской лексикографии)» Г. К. Черторижская говорит о тесной связи украинской и белорусской лексикографии с русской лексикографией, о все более крепящихся взаимных контактах русского, украинского и белорусского языков, стимулирующая роль в которых принадлежит русской лексикографии. Ведущая роль русской лексикографии прослеживается на всем протяжении истории украинской и белорусской словарной работы, анализируются капитальные лексикографические труды, изданные на Украине и в Белоруссии. В итоге этого анализа делается вывод, что «русско-украинско-белорусские лексикографические взаимосвязи являются непреходящими и характеризуются стимулирующей ролью русской лексикографии. Эта роль, обусловленная внутри- и внелингвистическими факторами развития близкородственных языков, способствует постоянному совершенствованию теории и практики составления словарей в трех братских республиках» (стр. 228).

В шестом разделе говорится о мировом значении русского языка. Автор (В. Г. Костомаров) указывает, что русский язык постепенно укоренялся, особенно в XIX в., в системе образования различных стран мира, причем «в мировом общественном представлении русский язык все больше выступал в качестве важнейшего средства обогащения знаниями, орудия международных связей, а не просто средства для общения с русскими» (стр. 233).

Международное значение и распространение определенного языка складывается исторически, в длительном и сложном процессе. После победы Октябрьской революции наступил новый этап в росте мирового влияния русского языка. Это влияние усилилось в связи с торжеством социализма в СССР, когда русский язык оказался «источником распространения во всем мире идей и понятий новой государственности, интернационализма и брат-

ского единения разноязычных народов, дружной семьей идущих к коммунизму» (стр. 233).

В свете актуального интереса современной социолингвистики к «языкам мировой коммуникации» В. Г. Костомаров характеризует общие особенности мировых языков XX в., в том числе и русского языка, сводя эти особенности к трем основным параметрам, выделенным и в более ранних трудах автора: 1) глобальность распространения; 2) сознательность принятия; 3) специфика общественных функций.

Автор указывает, что статус мирового языка может приобрести лишь язык, обладающий общечеловеческой ценностью, язык, в формах которого обретается «максимальное количество общечеловеческой информации, добытой пользующимися этим языком (не только как родным), переведенной и переводимой на него с максимального числа других языков, необходимой для большинства народов земли. В наше время это должен быть язык международной науки и техники, наиболее прогрессивной идеологии, влиятельной культуры» (стр. 241).

В русле общей концепции коллективной монографии в разделе подчеркивается тот факт, что превращение русского языка «в один из ведущих языков широкого международного общения подготовлено и обусловлено не только социальными внеязыковыми, но и собственно лингвистическими структурными особенностями и факторами» (стр. 251). Это иллюстрируется автором путем перечисления различных свойств русского языка с четырех точек зрения: сравнительно-исторической, типологической, функциональной и ареальной.

В целом рецензируемая монография отличается широтой анализа привлекаемого материала, четкостью и убедительностью аргументации. Авторы книги стремятся дать определение ряда понятий из области рассматриваемых явлений, в том числе определение некоторых принципиально важных понятий социолингвистики (см., например, о «языке межнационального общения» на стр. 30—31, о понятии «мировой язык» на стр. 237, и др.). Однако надо заметить, что этому правилу следуют не все авторы. Так, на стр. 4 (в «Предисловии»), а также на стр. 89 (дважды) встречается словосочетание «язык республики», значение которого не раскрывается; добавим, что вызывает сомнение сама правомерность введения этого понятия.

Протченко И. Ф., Черемисина Н. В.

«Культура русской речи на Украине». — Киев,
«Наукова думка», 1976. 354 стр.

В своей работе «Развитие языков социальных языков наций СССР» (Киев, 1969) И. К. Белодед подчеркивает, что культура речи — один из наиболее актуальных вопросов общего культурного развития народа. И забота о дальнейшем повышении уровня этой культуры — почетная обязанность языковедческой науки. Эту почетную обязанность взял на себя коллектив научных сотрудников Института языковедения им. А. А. Потемки АН УССР и преподавателей кафедр русского языка ряда вузов Украины, подготовивший интересную монографию «Культура русской речи на Украине».

Появление монографии весьма своевременно. Проблема исследования культуры русской речи в нерусской среде приобретает в настоящее время, в условиях все возрастающей роли русского языка как средства межнационального общения народов нашей страны, особое значение — как теоретическое, социолингвистическое, для познания природы двуязычия и механизмов взаимодействия родного и русского языков в ситуации параллельного их функционирования, так и лингвометодическое значение в связи с задачами предупреждения и устранения интерференции, неизбежной при неполном субординативном двуязычии.

Общеизвестна тесная связь речевой культуры русского и украинского языков, обусловленная и генетически (родством этих языков и их многовековыми контактами), и характером советской социалистической культуры, и своеобразием процессов русско-украинского языкового взаимодействия на современном этапе.

Как известно, при изучении вопросов культуры речи возможно возникновение двух типов проблем — общих, характерных для всей территории распространения русского языка как средства межнационального общения, и специфических, связанных с конкретным национально-русским двуязычием. Монография интересна ориентацией на проблемы специфические, требующие конкретного анализа типологических сходств и различий контактирующих языков.

В монографии поставлена актуальная задача — «определить основные проблемы, а также пути и методы изучения наиболее важных вопросов культуры русской устной и письменной речи на Украине в условиях параллельного функционирования близкородственных украинского и русского языков» (стр. 3).

Говоря об основных проблемах изучения культуры русской речи в Украинской ССР, авторы справедливо исходят из указания Л. В. Щербы об участии многих представителей братских народов и народностей, входящих в Советский Союз, в строительстве нового русского ли-

тературного языка, в выработке «нового образцового русского произношения» (стр. 7). Авторы исходят из признания «обязательности нормы на всей территории распространения русского языка» (стр. 16) и в то же время подчеркивают роль языковой ситуации, определяющей своеобразие культуры русской речи в условиях взаимодействия национального и русского языков. Именно ориентация на языковую ситуацию определяет тот факт, что неотъемлемым компонентом разработки общей проблемы культуры русской речи на Украине становится исследование не только транспозиции в процессе русско-украинского взаимодействия и взаимообогащения, но и исследование явлений интерферирующего воздействия одного языка на другой, вызывающего отклонения от кодифицированной литературной речи, отклонений, особенно распространенных в области произношения, словоупотребления и синтаксиса. Кроме того, исследование интерференции дало авторам реальную возможность для выработки конкретных рекомендаций о путях устранения последствий ненормативного интерферирующего воздействия на русскую речь родной речи представителем различных социальных и национальных групп населения Украины.

К числу основных, требующих изучения проблем культуры русской речи в условиях Украины авторы относят проблему изучения различных видов и форм устной русской литературной речи и письменной литературной речи в ее разнообразных стилях и жанрах. В соответствии с намеченными проблемами в монографии получают дальнейшее специальное освещение вопросы культуры устной русской речи и стилистическая вариативность русской литературной письменной речи на Украине.

В главе «Устная русская речь» авторы анализируют природу и закономерности интерференции (при взаимодействии близкородственных языков) на всех уровнях языка, в том числе и на фонетическом (разделы «Вокализм», «Консонантизм», «Интонация»). При этом подчеркивается, что интерес к изучению характера интерференции при изучении неродственных языков возник давно, однако «совершенно очевидно, что процессы, возникающие при взаимодействии близкородственных языков, заметно отличаются от особенностей взаимодействия далеких по структуре и звуковому составу языков» (стр. 36).

В разделе «Вокализм» излагаются результаты экспериментально-фонетического исследования русской речи студентов I, II курсов украинского отделения филологического факультета Киевского Университета. Эти результаты свидетельству-

ют, что основная причина специфического акцента в русской речи украинцев — отклонения от нормативного произношения в системе вокализма.

Авторы рассматривают особенности гласных под ударением в русском и украинском языках, особенности системы безударного вокализма в предударных слогах, природа редукции которого в украинском языке иная, чем в русском языке: «...разница между системой вокализма первого слога и других предударных слогов, столь ощутимая в нормативном русском произношении, заметно меньше в русской речи украинского населения» (стр. 48) — под влиянием родного языка, «...в русской речи украинцев длительность предударных гласных во всех слогах больше, чем длительность их в нормативном русском языке» (стр. 49).

Что касается заударного вокализма, то в русском произношении украинцев сохраняется общая закономерность изменения гласных в заударной позиции, свойственная русскому языку, но «редукция не настолько велика, как в русском нормативном произношении» (стр. 50). Принципиально интересно, что «наблюдаемая редукция сводится в основном к количественным изменениям: заметно сокращается длительность гласного, но при этом сохраняется его основное качество» (там же). Эти черты акцента, интуитивно заметные носителю русского языка при восприятии русской речи на Украине, впервые получили аргументированную научную интерпретацию.

В разделе отмечается значительное влияние украинского языка на русское произношение и в области консонантизма. Правда, наблюдаемые отклонения относятся к ошибкам фонетического характера, не связанным с неправильным употреблением смысловых различительных единиц — фонем и не приводящим к ошибкам в искажении смысла высказывания или к затруднениям процесса коммуникации в целом.

Изучение системы консонантизма в русской речи населения Украины показало, что максимальное число отступлений от орфоэпической нормы устной речи наблюдается в области твердости — мягкости согласных. Из этого наблюдения авторы делают справедливый вывод о лингвометодической значимости системного описания языков: «...для усвоения нормативного произношения при контактировании близкородственных языков особенно важно сознательное противопоставление, сравнение фонетических систем этих языков в целом, а не отдельных их элементов» (стр. 65). Принципиально интересно, что авторы сосредоточивают свое внимание на анализе согласных звуков русского языка, не совпадающих с украинским на фонемном уровне и на уровне позиционных изменений.

В разделе «Интонация» говорится о

наличии общих структурных черт русского и украинского языков, являющихся генетически близкими, и о специфических особенностях интонационной нормы русского и украинского языков. Интонационные отклонения в русской речи украинцев касаются только тех особенностей русского интонирования, которые, по мнению авторов, не улавливаются при слуховом восприятии (последнее вряд ли справедливо).

В рецензируемой монографии впервые была сделана попытка сравнительного исследования интонационной организации русской речи украинцев с помощью экспериментально-фонетической методики. Поскольку русский и украинский языки генетически близкородственны, авторы предполагают, «что отклонения в тональной характеристике интонации русской литературной речи украинцев если и существуют, то преимущественно в глубокой структуре, т. е. отклонения могут быть связаны с некоторыми внутрислоговыми тональными изменениями (например, с уровнями, интервалами), не влияя на общий характер тонального контура фразы, свойственного тем или иным коммуникативным типам и видам предложения» (стр. 88).

Авторами был проведен сравнительный анализ частотного, временного и силового компонентов интонационной организации повествовательных фраз в произнесении русских дикторов и дикторов-украинцев. Хотя в произнесении всех дикторов в соответствии с общей типологической закономерностью, присущей всем славянским языкам, «конечный частотный уровень звучания фраз ниже начального» (стр. 89), однако в произнесении дикторов-украинцев стабильно наблюдаются отклонения, связанные с cadenciей. Сравнительная характеристика частотных уровней фраз свидетельствует также и об определенной тенденции к «произнесению русской фразы украинцами в несколько повышенном тональном регистре» (стр. 89).

Особое внимание уделено авторами частотным интервалам между слогами последнего слова, несущего на себе фразовое ударение. Интересно, что, по справедливому заключению авторов, отмеченные интонационные отклонения от русской интонационной нормы в речи украинцев (интонационная интерференция русской речи украинцев) не затрагивает фонологического уровня, интерференция реализуется на уровне просодической организации речи и является своеобразным по акценту вариантом произношения, не нарушающим коммуникативной функции высказывания.

Исходя из принципа системного типологического сопоставления языков, авторы характеризуют, и ритмико-интонационную структуру русской речи украинцев, подчеркивая, что ритмико-интонаци-

онное своеобразие русской речи определяется тремя ступенчатым различием гласных по степени редукции, тогда как в русской речи украинцев представлены только «д в е (разрядка наша. — Ч. Н., П. И.)» позиционные ступени — ударная и безударная, что отражает бинарные отношения во временной характеристике гласных в потоке речи в произносительной норме украинского литературного языка» (стр. 108).

В разделе «Формы словоизменения глагола», включенном в главу «Устная русская речь», автор исходит из указания А. М. Пешковского о том, что выразителем динамического признака предикативного ядра предложения является глагол (и его формы), который отличается от других морфологических категорий слов большей частотностью употребления в речи. Автор характеризует употребление глагольных форм и вариантных форм словоизменения глагола в русской устной литературной речи на Украине. Проведенное исследование привело автора к выводу (ясному, впрочем, априори из лингвистической литературы), что русские глагольные формы изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений в преобладающем большинстве соответствуют нормам украинского литературного языка. Сравнение форм словоизменения глагола в кодифицированном русском литературном языке и в устной речи показало, что набор морфологических средств словоизменения глагола у них близок к тождеству. «Он характеризуется идентичными формантами и функциями» (стр. 124).

Наряду с теоретическим освещением процесса освоения литературно-нормированной русской речи и описанием своеобразия отклонений от нормы на фонологическом, интонационном, морфологическом, синтаксическом и других уровнях устной литературной речи, монография включает практические рекомендации, которые могут способствовать устранению отклонений от нормы и повышению культуры русской речи в школах Украинской ССР. Этим рекомендациям посвящен раздел «Пути повышения культуры русской речи в школах УССР».

Методические рекомендации даются с ориентацией на особенности функционирования русской речи в условиях двуязычия. Отмечается, что преподаватель должен ставить перед собой не только две традиционные цели — образовательную и воспитательную, но и третью — повышение культуры речи школьников, причем эта цель «должна осуществляться постоянно, на каждом уроке, при изучении каждой темы» (стр. 126).

В главе «Стилистическая вариантность русской литературной письменной речи на Украине» рассматриваются вопросы русско-украинско-польских языковых связей и процесс формирования русского

литературного языка в период XVI — начала XVIII вв.; отражение в языке русских произведений Т. Г. Шевченко основных процессов развития русского литературного языка 40-х — начала 60-х годов XIX в.; специальный раздел посвящен описанию особенностей языка и стиля русской советской художественной и публицистической литературы на Украине.

Процесс становления общезыковой нормы, особенно в эпоху XVI—XVII вв., в эпоху усиления западных влияний и расширения сферы заимствований, до настоящего времени все еще мало изучен. Специфика указанного периода и основная трудность его изучения состоит в том, что заимствования XVI—XVII вв. «связаны с усилением контактов русского языка с некоторыми западноевропейскими языками, в частности, с латинским, носивших, однако, нередко опосредованный характер и осуществлявшихся через польско-украинское языковое посредство» (стр. 142).

Современное состояние лингвистической науки не позволяет определить в деталях характер и глубину влияния украинско-польских языковых связей на развитие русского литературного языка. Между тем характер заимствований, их роль в процессе оформления и выработки норм литературного языка в большой степени зависят от характера и типа самих языковых контактов. К тому же сложность рассмотрения данной проблемы состоит в том, что в научной литературе до сих пор исследовались в основном двуязычные контакты: польско-русские, польско-украинские, русско-украинские и т. д., а вопрос о польско-украинско-русских языковых влияниях почти не изучен (исключение составляют попытки изучения этих связей в работах Н. Смирного, Я. К. Грота и др., но работы эти представляли собой в основном лексикологические перечни заимствованных слов, прокомментированных в хронологическом и этимологическом планах).

Впервые цель раскрытия природы и своеобразия трехязычных, русско-украинско-польских языковых контактов на разных уровнях языковой системы (на уровне лексики, фонетики, морфологии, словообразования, синтаксиса) поставлена в соответствующем разделе рецензируемой монографии. Описание заимствований в хронологически ограниченных рамках функционирования русского языка (конец XVI — начало XVIII в.) осуществляется в синхроническом аспекте, не исключающем элементов диахронии: рассматриваются различные виды адаптации форм в указанных хронологических рамках и отражение этих процессов, «происходящих на уровне речи, в системе языка» (стр. 150). Кроме того, особое внимание обращается на вопрос о понятии нормы применительно к нацио-

дальному периоду развития литературного языка в аспекте выдвигаемой в современном языкознании теории культуры речи.

В разделе «Отражение в языке русских произведений Т. Г. Шевченко основных процессов развития русского литературного языка 40-х — начала 60-х годов XIX в.» авторы монографии говорят о словесно-художественной деятельности Т. Г. Шевченко как преобразователя украинского литературного языка на народной основе и об отражении в языке его русской прозы основных процессов развития русского литературного языка названной эпохи (его лексики, фразеологии и синтаксиса), — процессов, преломленных сквозь призму индивидуально-авторского восприятия русско-украинских языковых связей середины XIX в. (стр. 175).

В разделе «Особенности языка и стиля русской советской художественной и публицистической литературы на Украине» рассматривается лексический состав и синтаксическая структура ряда произведений русской художественной прозы и поэзии, созданных на Украине; выявляются некоторые тенденции развития языка русской художественной литературы на современном этапе. В разделе содержатся интересные данные об отличительных чертах языка и стиля русской художественной литературы на Украине, обусловленных параллельным развитием русской и украинской художественной литератур. Отмечена и специфика использования элементов украинского языка в проанализированных русских художественных произведениях.

Анализ текстов производится авторами в плане культуры речи, т. е. «фиксируются отдельные отступления от нормы главным образом с позиций художественно-эстетических ее критериев и намечаются оптимальные пути и способы преодоления этих отступлений» (стр. 227—228). В проанализированных художественных текстах зафиксирована и русская просторечная лексика, так как язык русской художественной литературы на Украине отражает тенденцию к демократизации, наметившуюся в 50—60-е годы в русском литературном языке, — тенденцию «...к некоторой раскованности в речевом использовании нелитературных слов и оборотов и, в частности, элементов просторечия» (стр. 242).

Говоря о своеобразии синтаксиса художественной литературы, автор исходит из признания функционально-стилистической многоплановости художественной речи, в которой представлены элементы разговорного синтаксиса «... наряду с другими стилевыми компонентами и общелитературными конструктивными явлениями» (стр. 254). Вот почему при изучении отражения особенностей разговорной речи в художественной литературе вни-

мание привлекается не только к синтаксическим построениям, специфическим для разговорной речи, но и к сопоставительному анализу фон циюнирования общих для книжной и разговорной речи явлений, что может содействовать установлению роли разговорного синтаксиса в развитии общелитературного языка.

Русская разговорная речь исследуется в ее литературной и нелитературной (в частности, территориально-диалектной) разновидностях «... для установления процессов интерференции, разграничения нормированного и ненормированного употребления и повышения культуры разговорной речи» (стр. 255). Особый интерес в этом разделе представляет, на наш взгляд, выделение конструкций, общих для русской разговорной речи и кодифицированного украинского языка (стр. 257), а также наблюдения над отклонениями в сфере глагольного управления и «синтаксическими украинизмами», намеренно введенными в художественный контекст для создания колорита украинской речи (в репликах персонажей). Принципиально интересен и лингвистически перспективен анализ имплицитных (основанных на принципе экономии) и эксплицитных (характеризующихся избыточностью) конструкций в разговорном синтаксисе, хотя термины «имплицитный» и «эксплицитный» представляются в данном контексте не совсем удачными. Не лучше было бы примеры типа «Песок он и есть песок» (стр. 261) интерпретировать, «эксплицитно» (прямо) ссылаясь на Ш. Балли, детально описавшего подобный феномен, в частности, в аспекте коммуникативного синтаксиса, применительно к синтаксису французской разговорной речи?

Авторы приходят к выводу, что «особенности разговорного синтаксиса, широко отраженные в художественно-литературных текстах, не представляют собой инородного тела в общей синтаксической организации речи, напротив, в творчестве лучших писателей они органически вливаются в арсенал многообразных средств и приемов построения, умело используются для точной и экономной передачи коммуникативного задания» (стр. 286).

В разделе «Синонимия причастных оборотов и придаточных определительных предложений» рассматривается взаимодействие близкородственных украинского и русского языков в плане изучения межязыковой синонимии причастных оборотов и придаточных определительных конструкций, широко используемых для выражения атрибутивно-предикативных отношений.

Особый параграф посвящен анализу особенностей языка и стиля русских переводов украинских художественных произведений, изданных на Украине. При оценке стиля переводов (стр. 299) авторы справедливо опираются на требование

«воссоздания в переводе общей семантики, значения языковых образов оригинала», на требование «стилистического соответствия оригиналу», «стилистического совершенства и изящества» (Б. Гавранек, см. стр. 301).

Анализируются особенности воспроизведения в переводе метафор, сравнений, эпитетов и других образных средств оригинала, в частности, интересен анализ фразеологических соответствий, поскольку в сфере фразеологии национальная специфика близкородственных языков проявляется особенно наглядно. Специальное внимание уделяется описанию неоправданных отклонений от стиля оригинала — упрощений, непущного многословия и даже прямых ошибок.

В разделе «Язык русских публицистических изданий» анализируется язык русских газетных изданий на материалах республиканских газет «Правда Украины», «Рабочая газета» и «Комсомольское знамя». Для характеристики современной языковой ситуации важен отмеченный в газетном языке активный рост разговорного влияния на книжную речь.

В приложении к монографии даны две инструкции: «Инструкция по сбору материалов русской разговорной речи» и «Инструкция по составлению „Словаря языка русских произведений Т. Г. Шевченко“» — материалы, которые раскрывают во многом лабораторию (методику и технику) проведенного исследования культуры русской речи на Украине и намечают перспективы дальнейших исследований и потому представляют самостоятельный научно-методический интерес.

В монографии определяются и характеризуются основные проблемы, аспекты и методы изучения важнейших вопросов культуры устной и письменной русской речи в условиях параллельного функционирования близкородственных украинского и русского языков. Книга представляет собою новый шаг на пути со-

циолингвистического изучения влияния двуязычия на культуру русской речи применительно к различным ее уровням (фонетико-интонационному, морфологическому, лексическому, синтаксическому и стилистическому) и может быть полезна как база для дальнейших социолингвистических исследований и для практической работы по совершенствованию культуры русской речи на Украине.

В заключение следует сказать, что рецензируемая книга — это по существу первая (и, безусловно, успешная) попытка выяснить и по возможности рассмотреть основные проблемы правильности и культуры русской речи в условиях близкородственного билингвизма, а также определить пути и методы последующего изучения этой важной проблематики.

Данный труд большого коллектива авторов заслуживает, на наш взгляд, высокой оценки, что не исключает возможности высказать некоторые пожелания для учета в дальнейшей работе по изучению еще малоосвоенных и в то же время актуальных вопросов. К их числу, например, относится недостаточное внимание, которое уделили авторы анализу языка газеты. В книге сочувственно цитируются слова нашего выдающегося языковеда В. И. Чернышева о том, что печать оказывает огромное воздействие на носителей языка, на уровень их речевой культуры, ибо «печать не ученица, а зрелая деятельница и в некоторой степени создательница языка» (стр. 310). Однако в книге мы находим лишь несколько заключительных страниц, посвященных данному вопросу («Язык русских публицистических изданий»). Достоинно сожаления и то, что в поле зрения авторов еще не попали театр, кино, радио, телевидение, играющие большую роль в языковых процессах нашего времени.

Протченко И. Ф., Черемисина Н. В.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

22—29 ноября 1977 г. в Москве в Институте востоковедения АН СССР проходил I Международный симпозиум ученых социалистических стран на тему «Теоретические проблемы восточного языкознания», созданный по инициативе ученых ряда соцстран и организованный АН СССР. Симпозиум был посвящен 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В работе симпозиума приняли участие делегации восьми социалистических стран: ВНР (глава делегации акад. Я. Харматта), ГДР (глава делегации проф. Э. Браунер), КНДР (глава делегации канд. филол. наук Ха Чхиджин), МНР (глава делегации чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэв), ПНР (глава делегации проф. В. Тылох), СРВ (глава делегации проф. Хоанг Туэ), СССР (глава делегации проф. В. М. Солнцев), ЧССР (глава делегации Й. Гензор). Всего на симпозиуме было заслушано свыше 180 докладов¹, из них — 44 ученых братских социалистических стран. Советские ученые представляли востоковедные центры Москвы, Ленинграда, Владивостока, ряда союзных и автономных республик.

Открывая симпозиум, председатель Оргкомитета проф. В. М. Солнцев приветствовал иностранных и советских участников симпозиума и подчеркнул, что проведение симпозиума в юбилейные дни является проявлением крепнущего научного сотрудничества ученых социалистических стран в области общественных наук. Он отметил также, что в настоящее время можно говорить о восточном языкознании как об отрасли науки

о языке, решающей важные теоретические и практические задачи. Во вступительном слове акад. А. Н. Кононова были освещены задачи, стоящие перед участниками симпозиума, и охарактеризованы основные теоретические проблемы современного восточного языкознания. А. Н. Кононов особенно подчеркнул важность филологического оснащения теоретических исследований в области восточных языков. В яркой приветственной речи председатель Комитета общественных наук СРВ, иностранный член АН СССР проф. Нгуен Кхань Тоан говорил о всемирно-историческом значении Великой Октябрьской социалистической революции, давшей толчок к освобождению народов Востока от угнетения и колониального рабства. Он подчеркнул важность координации усилий востоковедов соцстран для решения задач, стоящих перед восточным языкознанием.

На пленарных заседаниях (22 и 23 ноября) было заслушано 23 доклада. В первом коллективном докладе В. М. Солнцева, И. Ф. Вардуля, В. М. Алпатова, А. Е. Бертельса, Н. Н. Короткова, Г. Д. Санжеева, Г. Ш. Шарбатова «О значении изучения восточных языков для развития общего языкознания»² были охарактеризованы те теоретические проблемы, которые восточное языкознание ставит перед общим языкознанием, и намечены пути их решения. В докладе подчеркивалось, что многие общетеоретические вопросы (проблемы основных единиц языка, теории частей речи, синтаксиса, лексикологии, типологии и т. д.) не могут в настоящее время успешно решаться без данных восточного языкознания.

Четыре доклада были посвящены социалингвистическим проблемам. «Проблематика социалингвистических исследований в советском востоковедении» — тема доклада Л. Б. Никольского и Н. В. Охотиной. В нем определяется роль языка в афро-азиатских обществах и вы-

¹ К началу симпозиума были опубликованы «Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему «Теоретические проблемы восточного языкознания», ч. 1 и 2, М., 1977 (объем 18 печ. л.) и «Доклады советской делегации к Международному симпозиуму «Теоретические проблемы восточного языкознания», М., 1977 (объем 3,75 печ. л.).

² Доклад опубликован, см.: «Доклады советской делегации.», стр. 3—24.

деляются социальные функции языка³. З. Браунер (ГДР) в своем докладе дал обстоятельный анализ языковых и политических концепций революционных демократов в Африке. В докладе Мун Ен Хо (КНДР) «Об упорядочении корейской лексики» нашла отражение значительная терминологическая работа, которая в настоящее время ведется в КНДР. Проблема языка и общества рассматривалась на материале таджикского языка в докладе Н. А. Шаропова. Н. Н. Коротков выступил с докладом «Языкознание и диалектика», в котором обосновывал «зависимость решения сложных и во многом новых для теории языка проблем восточного языкознания от последовательного и творческого применения диалектико-материалистического метода». Акад. АН ВНР Я. Харматта в докладе о диахронии и синхронии в исторической реконструкции иранских языков рассматривал возможности реконструкции общепиранской праязыковой системы на основании заимствований из праиранского в другие языки, в частности, финно-угорские. И. Ф. Вардуль выступил с докладом «К типологии порядка слов», в котором обосновал выделение четырех типов языков в зависимости от маркированности или немаркированности членов их местом в предложении. А. Рона-Таш (ВНР) затронул некоторые теоретические проблемы взаимосвязи между языком и обществом. Алтайские, и особенно тюркские, языки, по мнению докладчика, позволяют выявить зависимость скорости языковых изменений от наличия интенсивных контактов между родственными народами. Хоанг Туэ (СРВ) свой доклад посвятил анализу значений слов-связок во вьетнамском языке. К. Фитце (ГДР) говорил о значении сопоставительных исследований по валентности в области азиатских языков. Исследованию типологии древнетюркских литературных языков посвятил свой доклад Э. Р. Тенишев, подчеркнувший необходимость изучения языков памятников не только в структурном отношении, но и в функциональном плане.

Кроме того, на пленарных заседаниях было заслушано 11 докладов о состоянии востоковедных исследований в отдельных странах: СССР — три доклада: коллективный доклад «Современное состояние восточного языкознания в СССР» Ю. Я. Плама, А. Г. Беловой, К. Н. Ереминой, Л. Р. Концевич, В. П. Липеровского, М. Н. Орловской, Н. В. Солнцевой, Е. В. Струговой⁴ и доклады акад. А. Н. Кононова о развитии советского тюркского языкознания, Н. В. Охотиной — об африканском язы-

кознании в Советском Союзе; ВНР — доклад акад. Я. Харматты; СРВ — доклад Хоанг Туэ; ГДР — доклад З. Браунера; КНДР — доклад Ха Чхиджина; МНР — доклад чл.-корр. АН МНР А. Лувсандэндэва; ПНР — доклад В. Тылоха; ЧССР — два доклада: П. Вавроушка (по Чехии) и Й. Гензора (по Словакии).

24, 25 и утром 29 ноября работа симпозиума проходила в семи секциях.

В секции № 1 (Общие проблемы восточного языкознания) было прочитано 29 докладов. Восемь докладов, посвященных фонетическим и фонологическим проблемам восточных языков, касались развития звукового строя языка, роли слога в тональных языках, типологии систем и т. д. М. Кюнстлер (ПНР) заострил внимание на необходимости употребления однозначной терминологии при фонологическом описании тонов и их систем в тональных языках с тем, чтобы эти системы могли быть сравнимы. В докладе Л. Г. Зубковой показано, что по степени дифференциации позиций отдельных классов фонем в рамках простого слова языки различных типов образуют достаточно строгую иерархию. Л. Г. Герценберг заметил, что типологически заманчиво объяснить многообразие различных фонетических процессов как трансмутации различительных признаков, переход их с уровня на уровень. М. К. Румянцев говорил о том, что моделирование звукового аспекта речи, в частности опыт синтеза китайских слогов, доказывает лингвистическую значимость так называемых фонетических характеристик. Изложив основные положения московской фонологической школы, Г. П. Мельников сделал попытку приложить их к звуковому строю китайского языка и внести уточнения в методику установления состава китайских фонем. В. Б. Касевич рассмотрел фонетическую и фонематическую сущность слога в неслоговых и слоговых языках и выделил слово в слоговых языках в качестве единицы особого уровня. М. И. Лескомцева представила интерпретацию типологического различия подсистем *tadbbhava* (исконного словаря) и *tatsama* (словаря, учитывающего и новые заимствования) на примере фонологической системы языка каннада. В докладе Ю. Л. Благоправовой сделана попытка ввести понятия фонологической изоляции и последовательно изолирующих языков.

Синтаксическая проблематика включала вопросы эргативности, порядка членов предложения, способов построения предложения, природы синтаксической межфразовой связи и др. Порядок слов в простых предложениях типа «сказуемое — подлежащее» во вьетнамском языке рассматривался в докладе Ли Тоан Тханга (СРВ). Эргативности, синтаксической и морфологической, были по-

³ Доклад опубликован, см.: «Доклады советской делегации...», стр. 52—58.

⁴ Доклад опубликован, см.: «Доклады советской делегации...», стр. 25—51.

священы два доклада. А. Е. Кибрик ввел определение эталонного типа эргативного языка, а также поминативного и активного, через понятие типовых «семантических ролей» актантов предложения, прежде всего агента и пациенса. В. П. Недялков показал морфологическую природу эргативности в чукотских языках, проанализировав соотношение эргативных и других видов субъектно-объектных согласователей в глаголе. Сопоставив материалы японского и русского языков, Э. М. Шалыпина сделала вывод, что в языках с фиксированным порядком слов система коммуникативной организации словосочетания играет более важную роль, чем в языках со свободным словопорядком. В основу реконструкции порядка слов типа глагол — субъект — объект в предложении австроазиатского праязыка И. Ш. Козинский положил сформулированные им две универсалии. Синтаксические и семантические отношения между двумя типами конверсивных рецессивных конструкций — конструкций с исходным и объектным глаголом и активной и пассивной конструкций — в армянском и русском языках рассматривались в докладе Н. А. Козинцевой. Соотношение бессвязочной и связочной предикативных структур современного китайского языка было рассмотрено в докладе Е. И. Шутовой. С. И. Гиндин высказал мысль, что синтаксическая связь на сверхфразовых уровнях осуществляется посредством соотнесения и согласования семантики связываемых единиц.

Третью группу составляют доклады, затронувшие разные теоретические проблемы восточных языков, как например, критерии выделения частей речи, вопросы теории слова, теоретические вопросы прикладной лингвистики и др. Четыре доклада были посвящены вопросу выделения частей речи. О критериях определения слова и частей речи в изолирующих языках говорил С. Е. Яхонтов. Подвергнув критике выявление традиционных частей речи в неиндоевропейских языках, В. М. Алпатов высказал свое понимание построения общей теории частей речи. В докладе Д. Мартоффи (ВНР) обсуждались различные концепции определения частей речи в восточных и некоторых европеийских языках и вопрос об универсальности грамматических частей речи. По мнению Динь Ван Дыка (СРВ), во вьетнамском, как и в других изолирующих языках, значения частей речи определяются взаимодействием лексического и синтаксического факторов. Отбор понятий, важных для построения теории слова, основанный на материале изолирующих и агглютинирующих языков Юго-Восточной Азии и прилегающих ареалов, представил Ю. К. Лекомцев. На материале новонидийских и ряда западных языков Ю. А. Смирнов пред-

ложил понятие «лингвистической миграции», или «динамической синхронии», учитывающей все динамические изменения единиц разных уровней от фонемы до слова, и дал характеристику пяти разновидностям миграции. Считая, что разграничение грамматических и неграмматических значений должно основываться не столько на формальных, сколько на содержательных критериях, В. С. Храковский обсуждал содержательные критерии отграничения глагольных грамматических значений от лексических. Явления флексии в агглютинативных языках рассматривал Д. Кара (ВНР). Принципы полевой семантики и конкретный метод полевой эксперимент для случая полисемии прилагательных и глаголов в иранских языках изложил В. Ю. Городецкий. О необходимости лингвистического и социолингвистического изучения условных языков, арго, жаргонов, распространенных в странах Востока, говорил А. Л. Хромов. О разработке метода формального анализа китайско-японских иероглифов, на основании которого дано описание законов структурной организации иероглифики, доложила С. М. Шевенко. В докладе Е. В. Маевского говорилось об эксперименте на длину знака (текста), написанного иероглифами, который показал резкое отклонение длины иероглифического знака в сторону увеличения от общего стандарта длины знака (текста), а также от силлабографического варианта иероглифа.

В секции № 2 (Семитские языки. Древние языки Передней Азии) состояло 17 докладов. Больше всего докладов было посвящено арабскому языку. В. Ройшел (ГДР) представил аналитический обзор исследований в области грамматики литературного арабского языка (начиная с XVII в. до наших дней). В докладе, посвященном методике прогнозирования развития современных арабских диалектов, Г. Ш. Шарбатов высказал мысль, что местные диалектные формы, наряду с литературным языком, окажут в будущем решающее воздействие на сложные процессы национально-языкового строительства внутри каждой отдельной страны. По мнению Э. Н. Мишкурова, рассмотревшего теоретические проблемы соотношения литературного и диалектных языков арабских стран, сохранение корреляции «литературный язык — диалект» объективно оправдано и структурно релевантно для описания языковой ситуации в арабских странах. А. Чапкевич (ПНР) в докладе «Фонологизация эмфатических вариантов некоторых согласных в современных арабских диалектах» рассмотрел тенденции типологической эволюции арабских территориальных диалектов в сравнении друг с другом и с арабским литературным языком. И. К. Шамс говорил

о решении в арабской грамматической традиции задачи моделирования реальных процессов говорения и слушания. В. М. Мамедалиев отметил, что понимание предмета сарф и нахв, существующее в традиционной арабской грамматической науке, далеко не всегда совпадает с нашим пониманием морфологии и синтаксиса. В. Д. Ушаков рассмотрел основные приемы средневековой арабской риторической поэтики. Н. А. Агаева представила результаты исследования принципов комментирования средневековых трактатов по теории языкознания (на примере сочинения азербайджанского ученого ал-Барда'и), А. Ю. Милитарев выдвинул тезис о специфической дуплаповости мифа: с одной стороны, он призван выявить причины явлений, а с другой — в известной мере оказывается объяснением значений слов.

Три доклада были посвящены древним языкам. П. Вавроушек (ЧССР) рассмотрел некоторые типы прономинальных наречий в хеттском языке и санскрите. Л. С. Баян говорила о результатах исследования именного склонения в хетто-лувийских языках в сравнительно-историческом аспекте. Изучение хурритских текстов, по мнению М. Л. Хачикяна, позволяет выделить три группы диалектов: «куркшский», «угаритский I» и «вавилонский»; к последнему, видимо, относятся и остальные, более поздние, диалекты. Переводческая тематика нашла отражение в докладе Э. Пабста (ГДР), который обсуждал проблему синонимов и дублетов при разработке терминологических словариков (на примере переводов «Капитала» К. Маркса на арабский язык).

В остальных докладах обсуждались морфологические категории. Я. Данецкий (ПНР) в докладе «Категория рода в литературном арабском языке» анализировал соотношение лексико-грамматических и согласовательных категорий рода, числа и одушевленности (лица) в системе имен. А. Г. Белова выявила две тенденции в развитии форм мн. числа в восточноаравийских диалектах: расширение суффиксального способа в ирановязвичном окружении и расширение некоторых моделей ломаного множественного в диалектах Месопотамии и Персидского залива. По мнению А. У. Каримова, фономорфологические союзные черты восточных и южных аравийских диалектов указывают на общность путей развития литературного арабского языка и диалектов в целом, а их особенности обособляют эти диалекты от других аравийских диалектов. С. Х. Кямилевым сделан вывод о том, что не только в связанном сообщении, но и в отдельно взятом семитском знаменательном слове обнаруживаются компоненты реализации трех основных видов смысла: «идея» — ее узловая манифестация — реляционные отношения.

В секции № 3 (Иранское языкознание) было заслушано 20 докладов. Пять из них было посвящено лексикографии. Ю. А. Рубинчик, обобщая опыт создания двухтомного персидско-русского словаря, отмечает, что теоретические основы персидской лексикографии остаются неразработанными до настоящего времени. Для персидского языка, по его мнению, одной из важнейших лексикографических проблем является проблема отбора лексики и фразеологии, которой и было уделено в докладе главное внимание. Анализируя опыт составления словаря языка дари, Л. Н. Киселева делает вывод, что построение словаря, принципы его организации должны отражать наиболее существенные стороны лексической структуры языка. Фарсиязычная лексикография Индии, зародившаяся в XI в. и достигшая особого развития в XVI—XX вв., по мнению В. А. Капранова, является ценным источником для лексикологических, этимологических и историко-лингвистических исследований. М. Г. Мамедова отметила, что ознакомление с опытом составления персидско-турецких словарей XVI в. дает возможность судить об уровне развития языкознания той эпохи. М. У. Хамоян изложил принципы создания курдско-русского фразеологического словаря. Историю иранских языков и сравнительно-историческое языкознание было представлено четырьмя докладами. Чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбов в докладе «Вторичные суффиксы в древнеперсидском» обратил внимание на возникновение в древнеиранских языках в определенных случаях серии новых словообразовательных морфем. Сравнительно-исторический анализ позволил Т. Н. Пашалиной внести коррективы в установившееся представление о системе вокализма переходного периода от древнек среднеиранскому, а также показать важность учета умлаута при исторической разработке морфологии. В докладе Д. И. Эдельман рассматривались основные объекты и методы фонологической реконструкции (празыковая система; система архаичного состояния какого-либо конкретного языка; система языка, дошедшего до нас в фрагментарных памятниках письменности). Р. Л. Цаболов высказался в пользу того, чтобы так называемые дифтонги курдского языка рассматривать как бифонемные сочетания. Три доклада носили обзорный характер. Отметив традиционно ведущее место советской афганистики в мировой науке об Афганистане, Н. А. Дворянков сказал, что на повестке дня стоит создание научной истории афганского языка, для чего представляется весьма важным широкое изучение письменных памятников духовной культуры афганского народа. Ш. Рустамов обрисовал состояние лингвистических исследований в Таджики-

стане. Дж. Ш. Гиунишвили представил обзор иранского языкознания в Грузии. Вопросам фразеологии было посвящено пять докладов. Ю. Ю. Авалиани в докладе «Сравнительно-типологическая валентность и сочетаемость в иранских языках» осветила процесс фразеологизации и генезиса ФЕ. В докладе А. Ганиева, основанном на опыте составления словаря глагольных фразеологизмов языка панито, обсуждались вопросы исследования глагольной фразеологии. С. В. Хушнова сообщила, что сопоставление отдельных явлений в сфере фразеологии таджикского и персидского языков, с одной стороны, и памирских, с другой, обнаруживает, наряду с общими, ряд отличительных структурно-функциональных и семантических свойств ФЕ западно-иранских и восточно-иранских языков, обусловленных прежде всего особенностями их атрибутивной конструкции. А. Каримова сделала вывод о том, что аналогичные по содержанию, структуре и составу соматизмов памирских и славянские ФЕ являются независимыми друг от друга эквивалентами разных языков. Р. С. Султанов рассмотрел сочинительные словосочетания в персидском языке и аргументировал наличие лексико-семантических взаимоотношений между их составными частями. В докладе Д. Карамшоева утверждается, что формы рода в памирских языках, наряду с функцией согласования, имеют особую лексико-семантическую и грамматическую нагрузку. Р. Гаффаров, представивший результаты сравнительно-сопоставительного изучения таджикских наречий, высказал мысль, что эта область науки о языке обладает своей проблематикой и требует особой методики. Р. Х. Додыхудоев считает, что в настоящее время для советского Памира возникают проблемы трилингвизма в связи с тем, что все большее значение приобретает русский язык как средство межнационального общения.

В секции № 4 (Индийское языкознание) было заслушано 11 докладов, в которых рассматривались вопросы типологии, морфологии, синтаксиса, лексикографии индийских языков. В докладе Е. М. Быковой говорилось о высокой степени сложности системы энгальского языка, обусловленной существованием в ней нескольких подсистем. Сопоставляя ведийский язык с другими языками индийской ветви, Т. Я. Елизаренкова выявила типологически сходные явления на синтаксическом и фонологическом уровнях. Г. А. Зограф уделил основное внимание определению понятий грамматического класса слов и грамматической категории как основных параметров и операционных единиц морфологического описания индийских языков. Конструктив-

ные особенности предложений с финитным глаголом инактивного залога были рассмотрены в докладе В. П. Липеровского. Б. А. Захарьин проследил процесс развития эргативности в дардских и индоарийских языках, обусловленный взаимными контактами языков Южной Азии. В. И. Фризен охарактеризовал формально-информационную роль глагола-предиката в предложении сантальского языка. Этимологию слов «гамиль-ский» и «дравидийский») был посвящен доклад М. С. Андропова. Процессы терминообразования в языке урду в Индии и Пакистане, развивающихся в разных социально-политических условиях, показал Т. Халмурзаев. О различных видах заимствования таджикской лексики в языке урду говорил А. Р. Усманов. На опыте составления исторического словаря иноязычных вхождений в южный хиндустан XIV—XVII вв. остановился А. Н. Шаматов. О принципах создания и построения санскритско-русского словаря докладывала В. А. Кочергина.

В секции № 5 (Алтайское языкознание) было прочитано 34 доклада. Об основных направлениях лингвистических исследований грузинских тюркологов сообщил И. Н. Джанашиа. М. З. Закиев затронул проблемы этногенеза тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья на основе лингвистических данных. На вопросах формирования корейского языка подробно остановился Ха Чхиджин (КНДР).

В четырех из пяти фонологических докладов обсуждался звуковой строй различных монгольских языков. П. Ц. Биткеев показал общие и сходные явления и отличительные особенности систем гласных фонем монгольского и калмыцкого языков. И. Д. Бураев изложил выводы о закономерностях позиционного употребления и особенностях сочетаемости согласных, сделанные на основе результатов машинной обработки бурятского языка. Вопрос о том, являются ли палатализованные согласные фонемами или аллофонами, обсуждался на материале различных монгольских языков в докладе Г. Д. Санжеева. Функции редуцированных гласных в калмыцком языке рассмотрел Д. А. Павлов. В. Зайончковский (ПНР) охарактеризовал изменения в фонетической системе языка добруджанских татар, появившиеся в результате контактов с соседними турецкими говорами.

Синтаксическая проблематика в докладах секции составила сравнительно небольшую часть. С. А. Соколов предложил определение понятия «асиндетов» применительно к тюркским языкам, и в частности к турецкому, как грамматического способа построения словосочетаний и предложений, характеризующегося отсутствием морфолого-синтаксических показателей связи. В докладе И. Ф. Вардула

и М. Н. Орловской рассматривались правила выбора словопорядка ПДС или ДПС, которые определяются потребностями супрасинтаксического яруса. И. В. Недялков рассмотрел значение и структуру атрибутивных причастных конструкций с двумя и тремя обязательными членами в ряде алтайских языков. Функциональное соответствие японского тематического показателя *га*, им., род., вып. падежам субъекта в простых и сложных предложениях монгольского языка показано в докладе Г. Жамбалсүрэн (МНР).

В остальных докладах грамматической тематикой обсуждались такие вопросы, как тюркское надежное склонение, грамматическая структура тюркских именных словоформ, грамматические категории глагола, классификация аналитических глагольных образований и др. Г. Ф. Благова изложила системный подход к изучению тюркского надежного склонения, который выявил четыре классификационных типа склонения в современных тюркских языках. Н. П. Голубева сделала попытку установить противопоставление нулевых и эллиптированных надежных форм и их отличие от несклоняемого имени. Отличное от традиционного морфемное членение и соответствие плана выражения плану содержания в турецкой именной словоформе предложил А. И. Барулин. М. С. Джакма говорила о возможности описания грамматической структуры словоформ современного турецкого литературного языка посредством ранговой грамматики. С. Кудайбергенов рассмотрел этимологию морфологической структуры числительных в алтайских языках. Ф. Ганиев говорил о необходимости включения аналитических средств в систему выражения различных грамматических значений. Явление сопряженности нескольких грамматических категорий на примере индикатива в тюркских языках исследовала Э. А. Грунина. Критерии выявления сложного глагола из общего явления глагольного словосложения в тюркских языках рассматривала З. И. Будагова. Вопросу квалификации единств, охватываемых деепричально-глагольными сочетаниями в монгольских языках, посвящен доклад З. В. Шверниной. Синтаксические и морфологические основания выделения наречия как грамматического класса слов в монгольских языках обсуждались в докладе С. Д. Чарекова. Г. Ц. Пурбеев говорил о способах выражения в монгольских языках устанавливаемых им трех степеней достоверности высказываемого. В докладе Н. А. Сыромятникова показано, что одной из движущих сил развития грамматического строя ново-японского языка является тенденция к смене семантически противоречивых форм непротиворечивыми.

Несколько докладов затрагивали отдельные вопросы исторической грамма-

тики. Развитие некоторых форм личных местоимений в памятниках старописьменного монгольского языка рассмотрел акад. АН МНР Ц. Дамдинсүрэн (МНР). С. Годзинский (ПНР) показал особенности выражения значения множественного числа существительных в среднемонгольском языке. Доклад А. Дубиньского (ПНР) был посвящен рассмотрению глагольных форм, употреблявшихся в качестве инфинитива в древних тюркских языках. Г. Мижиддорж (МНР) охарактеризовал четыре основных типа образования терминов путем гаплогонии в письменном маньчжурском и монгольском языках. Б. Сумъяабор (МНР) привел в докладе список малоизвестных официальных монгольских документов, переведенных на корейский язык и отпривленных из Монголии в Корею, и говорил о их роли для изучения истории среднемонгольского языка.

Вопросам лексикологии было посвящено пять докладов. Л. В. Дмитриева проследила основные пути возникновения тюркской пародной фитонимии. В докладе В. И. Цинциус и Т. Г. Бугаевой был подвергнут семантико-лексическому и лексико-морфологическому анализу ряд названий металлов и их суффиксов в алтайских языках. На вопросах, возникающих при фонетической, морфологической и семантической реконструкции основ (корней) параллельных глаголов речи в тунгусо-маньчжурских языках, остановился А. В. Столяров. О характере неологизмов в турецком языке говорила Р. Р. Юсипова. Метафорическое использование слов со значением цветов, камней, драгоценных металлов и т. п. и эмоционально окрашенных словосочетаний в средневековой тюркоязычной поэзии показал В. И. Аслапов.

В секции № 6 (Языки Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии) был прочитан 31 доклад, в которых рассматривались различные проблемы изучения китайского, вьетнамского, индонезийского, бирманского и других языков этого ареала, а также ряд общих проблем. Вопросам морфологической классификации и внутренней группировки языков было посвящено три доклада. Н. В. Солнцева проанализировала структуру ряда основных понятий морфологической классификации языков и предложила внести уточнения в традиционное понимание терминов «флексия», «агглютинация» и «изоляция». Ю. Х. Сирк рассмотрел методы и схемы внутренней группировки австронезийской семьи языков. Внутренняя классификация языков вет-мыонгской группы, сделанная на основании некоторых историко-фонетических критериев, предложена Н. К. Соколовской. Хоанг Ван Ан (СРВ) рассмотрел роль вьетнамского языка как языка межнационального общения в СРВ. Об осуществляемых в ЛО ИВ АН СССР главных

направлениях в изучении истории китайского языка, основанных на всесторонней лингвистической интерпретации письменных памятников, рассказала И. Т. Зограф.

Большинство докладов по фонологии были основаны на материале китайского языка. К. Кацен (ГДР) дал обзор различных систем описания звукового строя китайского языка, остановившись на вопросах, не получивших однозначной интерпретации. Фонологическая квалификация слога *er* в китайском языке как слога особой одноположенной модели предложена А. А. Москалевым. В докладе О. И. Завьяловой основное внимание было обращено на отражение среднекитайских заднеязычных пинциалей в современных северокайтайских диалектах (гуаньхуа). О способах организации слога и функциях звука в слоге в современном китайском языке говорил А. Я. Соколовский. Доклад М. В. Софронова был посвящен интерпретации и фонетической реконструкции слогов первого медиального класса рифм в тангутском фонетическом словаре «Море письмен». А. М. Карапетянц высказал предположение о принципиальном совпадении слова и слогоморфемы (иероглифа) в современном китайском языке. О реконструкции вьетнамского чтения китайско-вьетнамских иероглифов и некоторых вопросах фонетики среднекитайского языка говорил Нгуен Тай Кан (СРВ). И. И. Пейрос предположил существование развитой акцентной системы в сино-тибетском языке. О нормирующей роли китайского фонетического стандарта путунхуа в создании общенационального китайского языка говорила Татьяна Ао-шунан. Вопросы грамматической типологии были темой трех докладов. Н. Ф. Алиева изложила типологические наблюдения над эволюцией субъектных и объектных глагольно-именных отношений в индонезийских языках. Попытку проследить историю элементов именной конструкции в полинезийских языках сделал на материале 22 языков в. В. И. Беликов. С. Б. Янкивер стремилась показать, что расхождения в функционировании классификаторов в диалектах юэ (кантонские диалекты) и путунхуа можно объяснить влиянием тайских языков. В 11 докладах обсуждались разные вопросы грамматического строя языков Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Нгуен Ван Тхак (СРВ) высказался в пользу существования во вьетнамском языке морфем, которые своей самостоятельностью отличаются от омонимичных им слов. Во втором докладе Нгуен Ван Тхак показал особенности единичного счета во вьетнамском языке. Д. Газде (ГДР) говорил о логико-семантических и функционально-семантических категориях глагола в китайском языке. На некоторых вопросах формаль-

ного выражения грамматических значений в современном бирманском языке остановилась Н. В. Омелянович. А. К. Оглоблин анализировал формальную структуру глагола в индонезийских языках в свете задач общелингвистической теории. О несовпадении объема значений прилагательных во вьетнамском и русском языках доложил Хоанг Ван Хань (СРВ). Хоанг Туэ (СРВ) в так называемых словах-новторах выделил редупликацию и словосложение, которые рассматривал как способы словообразования во вьетнамском языке. Нгуен Тай Кан (СРВ) проследил в диахронии разграничение употребления служебных слов *du'o'c* и *bi*, *pha'i* для выражения пассивно-оценочного значения и модальных значений. Рассмотрев некоторые вопросы, связанные с подачей омонимов в китайско-японском фонетическом словаре Кураиси, А. А. Хаматова отметила достигнутый в данном словаре прогресс в решении проблемы тождества и отдельности слова в китайском языке. В. Ф. Щичко показал особенности функционирования субъектно-предикативной связи в простом предложении китайского и русского языков. К. Хубер (ГДР) говорил об употребительности залоговых форм актива и пассива в индонезийском языке в плане диахронии. В докладе Лонг Сема дава характеристика состава лексики древнекхмерского языка и обосновано существование двух диалектов в истории его развития. Е. Б. Астрахан утверждала, что основным районом формирования лексики путунхуа можно считать ареал, расположенный вдоль Великого Канала. Классификация выразительных средств и описание функциональных стилей современного китайского языка представлены в докладе В. И. Горелова.

В секции № 7 (Африканское языковедение) было заслушано 19 докладов. В докладе В. А. Виноградова, А. И. Коваль, В. Я. Порхоковского впервые в отечественной африканистической лингвистической литературе ставились вопросы социолингвистической типологии. И хотя доклад опирался главным образом на материалы по Западной Африке, авторам удалось сформулировать целый ряд положений, ввести и корректно обосновать понятия (например, понятие «коммуникативной среды»), которые могут быть использованы при рассмотрении языковой ситуации в аналогичных многоязыковых регионах мира. Доклад Р. Рихтер (ГДР), обсуждавший роль амхарского языка в процессе национального языкового развития современной Эфиопии, был весьма информативен благодаря материалам полевых исследований автора, проведенных в Эфиопии в 1975—1976 гг. Малоисследованные вопросы формирования и функционирования креольских языков Африки были затро-

пути в докладе М. В. Дьячкова. Обогащению лексики межэтнических языков (хауса и сомали) было посвящено два доклада. С. Пилашевич (ПНР) подробно остановился на способах ассимиляции и сферах функционирования арабских заимствований в языке хауса. Е. Н. Мячина и Л. Я. Шихова анализировали способы словообразования в современном сомали, отметив при этом, что некоторые из них стали особенно продуктивны в связи с изменением его коммуникативного статуса — провозглашения сомали с 1972 г. государственным языком и введением письменности.

Типологическую проблематику представляли доклады, посвященные языкам банту и фула. Н. В. Громова предложила принципиально новое решение спорной проблемы соотношения категорий класса и числа в языках банту, констатируя здесь три фазы становления числа как грамматической категории. Процессы десемантизации и формализации систем согласовательных классов, а также образования некоторых новых, типологически не свойственных языкам банту грамматических категорий (например, одушевленность/неодушевленность), имеющих место в языках, коммуникативный статус которых можно назвать межэтническим, рассматривала Н. В. Охотина. На обширном материале языков банту И. Н. Топоровой удалось установить как максимальную систему дифференциации значений указательных местоимений (пять ступеней), так и минимальную, ограничивающуюся двумя ступенями противопоставления. Описание некоторых аспектов семантики и формальной характеристики систем согласовательных классов в малоисследованных младописьменных языках банту нашло отражение на материале языка курия в докладе И. С. Аксеновой и на материале диалектов языка ганта — в докладе И. С. Рябовой. Асимметрии способов выражения категорий деминутива и аугментатива и месту их в именной системе языка фула был посвящен доклад А. И. Коваль. Выводы, к которым приходит автор, по-видимому, могут быть проецированы и на другие языки с развитой системой согласовательных классов.

Обсуждалась на секции и сравнительно-историческая проблематика. Так, А. Заборский (ПНР) посвятил свое выступление вопросам реконструкции кушитской глагольной системы и предложил относительную хронологию для основных этапов ее развития. В докладе О. В. Столбовой приводились результаты реконструкции фонетики западночадских языков, сделанной как на уровне подгрупп, так и для всех западночадских языков с привлечением материала семитских и других афразийских языков. Доклад В. В. Наумкина и В. Я. Пор-

хомовского, рассматривающий проблемы исторической типологии цветообозначений в афразийских языках, содержал впервые вводимые в научный обиход материалы по сокотрийскому языку, полученные в результате полевых исследований. Новая внутрэнная генетическая классификация на основе сравнительно-этимологического анализа тридцати языков манде была предложена в докладе К. И. Позднякова. Сообщение И. М. Дьяконова и В. Я. Порхомовского содержало отчет о состоянии работы над этимологическим словарем афразийских языков, в которой участвуют сотрудники Ин-та языкознания АН СССР, Ин-та востоковедения АН СССР и Ленинградского отделения Ин-та этнографии АН СССР. Экспериментальные методы исследования системы вокализма в языке йоруба (спектральный анализ и синтез речевого сигнала) рассматривались в докладе М. И. Каплуна. О некоторых грамматических особенностях языка йоруба, выражаемых лексическими средствами, рассказала в своем сообщении В. А. Майяц. Проблемы и перспективы создания трехязычного словаря (фула-русско-французского) обсуждались в сообщении Г. В. Зубко.

29 ноября, вечером, состоялось заключительное пленарное заседание симпозиума, на котором отчеты о работе секций представили руководители секций: Г. Д. Санжеев, Ю. Я. Плам, Г. Ш. Шарбагов, Н. А. Дворянков, М. С. Андронов, Н. В. Охотина и И. Ф. Вардуль.

В заключительном слове акад. А. Н. Кононов подвел основные итоги работы симпозиума, выделил первоочередные задачи исследований в области азиатских и африканских языков. А. Н. Кононов отметил активную и плодотворную работу на симпозиуме делегаций братских социалистических стран. От имени оргкомитета он выразил благодарность всем участникам симпозиума. По поручению зарубежных гостей выступил В. Тылох (ПНР), который поблагодарил за хорошую организацию симпозиума и от имени польской делегации внес предложение следующий симпозиум (через три года) провести в Польше. Затем был единогласно принят итоговый документ I Международного симпозиума ученых социалистических стран. Закрывая симпозиум, В. М. Солнцев еще раз подчеркнул, что общее языкознание не может плодотворно развиваться без учета данных восточного и африканского языкознания. От имени всех присутствующих он выразил благодарность польским ученым за согласие принять на себя организацию следующего симпозиума.

Шевверина З. В., Охотина Н. В.,
Галимова Г. А. (Москва)

CONTENTS

Articles: B u d a g o v R. A. (Moscow). System and anti-system in the science of language; **Discussions:** K l i m o v G. A. (Moscow). Common Indo-European and Kartvelian (on the typology of case-systems); S c h ö n f e l d H. (Berlin). Some aspects and problems of language communication in socialist industry; Š ě r b a k A. M. (Leningrad). Ways of formation and historical precedence of morphologic elements in the Turkic languages; A n i ĉ e n k o V. V. (Gomel). Development of the Byelorussian literary language in the 18-th century; **Materials and notes:** N e r o z n a k V. P. (Moscow). Hesych's glossary as source for the study of surviving ancient Indo-European languages; G r i n b a u m N. S. (Kishinev). From the history of the ancient Greek literary language; A l p a t o v V. M. (Moscow). On the specific features of the Japanese linguistic tradition; S a n i d z e A. G. (Tbilisi). On the etymology of the words *Kartil-i* («Georgian») and *kartvel-i* («a Georgian»); P a u l i n i E. (Bratislava). A model of language communication and correlation of phonemes and sounds; V i š n i a k o v a O. V. (Moscow). On problems of paronymy; K u z' m i n V. V. (Brest). Syntactic correlation (with reference to object constructions); S m o l i c k a j a G. P. (Moscow). Toponymic area and problems of reconstruction of lexical system of a language (with reference to Slavonic languages); **Surveys:** K o d u x o v V. I. (Leningrad). A journal of Byelorussian linguists; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: B u d a g o v R. A. (Moscou). Système et anti-système dans la science de la langue; **Discussions:** K l i m o v G. A. (Moscou). L'indoeuropéen commun et le kartvélien (pour une typologie des systèmes de cas); S c h ö n f e l d H. (Berlin). Quelques aspects et problèmes de communication linguistique dans la sphère de l'industrie socialiste; Š ě r b a k A. M. (Léningrad). Moyens et distance historique de la formation des éléments morphologiques dans les langues turques; A n i ĉ e n k o V. V. (Gomel). Développement du biélorussien littéraire au XVIII siècle; **Matériaux et notices:** N e r o z n a k V. P. (Moscou). Glossaire de Hesych en tant que source pour l'étude des anciennes langues indoeuropéennes dont il ne s'est conservé que quelques traces; G r i n b a u m N. S. (Kichinev). Matériaux pour l'histoire de la formation du grec ancien littéraire; A l p a t o v V. M. (Moscou). Traits spécifiques de la tradition linguistique japonaise; S a n i d z e A. G. (Tbilissi). Sur l'étymologie des mots *Kartil-i* («Géorgie») et *kartvel-i* («le géorgien»); P a u l i n i E. (Bratislave). Modèle de communication linguistique et corrélation entre phonème et son; V i š n j a k o v a O. V. (Moscou). Quelques problèmes de la paronymie; K u z' m i n V. V. (Brest). Problèmes de la corrélation syntaxique (étudié à partir des constructions objectivales); S m o l i c k a j a G. P. (Moscou). Aréal toponymique et problèmes de la reconstruction du système lexical de la langue (à partir des langues slaves); **Aperçus:** K o d u x o v V. I. (Léningrad). La revue linguistique de Biélorussie; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах).

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Неприятые рукописи, как правило, не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28.04.78. Подписано к печати 03.07.78 Т-08555 Формат бумаги 70×108^{1/16}
Высокая печать Усл. печ. л. 14.0 Уч.-изд. л. 15,4 Бум. л. 5 Тираж 7100 экз. Зак. 444

Издательство «Наука». 103717, Москва, Подосенский пер., 21,
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10